САША ЧЕРНЫЙ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

САША ЧЕРНЫЙ

Советский писатель





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

ЛЕНИНГРАД * 1960

САША ЧЕРНЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья и общая редакция
Корнея Чуковского

Критико-биографический очерк,
подготовка текста и примечания
Л. А. Евстигнеевой

САША ЧЕРНЫЙ

1

Сотрудники «Сатирикона», молодого журнала, одно время были неразлучны друг с другом и всюду ходили гурьбой. Завидев одного, можно было заранее сказать, что сейчас увидишь остальных.

Впереди выступал круглолицый Аркадий Аверченко, крупный, дородный мужчина, очень плодовитый писатель, неистощимый остряк, заполнявший своей юмористикой чуть не половину журнала. Рядом шагал Радаков, художник, хохотун и богема, живописно лохматый, с широкими, пушистыми баками, похожими на петушиные перья. Тут же бросалась в глаза длинная фигура поэта Потемкина, и над всеми возвышался Ре-ми (или попросту Ремизов), замечательный карикатурист — с милым, нелепым, курносым лицом.

Вместе с ними, в их дружной компании, но как бы в стороне, на отлете, шел еще один сатириконец, Саша Черный, совершенно непохожий на всех остальных. Худощавый, узкоплечий, невысокого роста, он, казалось, очутился среди этих людей поневоле и был бы рад уйти от них подальше. Он не участвовал в их шумных разговорах и, когда они шутили, не смеялся. Грудь у него была впалая, шея тонкая, лицо без улыбки.

Даже своей одеждой он был непохож на товарищей. Аверченко в преувеличенно модном костюме, с брильянтом в сногсшибательном галстуке производил впечатление моветонного щеголя. Ре-ми не отставал от него. А на Саше Черном был вечно один и тот же интеллигентский кургузый пиджак и обвислые, измятые брюки.

Он чувствовал себя в «Сатириконе» чужаком и, помню, не раз говорил, что хочет уйти из журнала. Целый год, а пожалуй, и дольше, тянулись его распри с редакцией, и в конце концов он покинул ее.

Между тем сатириконский период был самым счастливым периодом его писательской жизни. Никогда, ни раньше, ни потом, стихи его не имели такого успеха. Получив свежий номер журнала, читатель прежде всего искал в нем стихов Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть.

Но меньше всего походил он на баловня славы: очень чуждался публичности, жил (вместе с седоватой женой) в полутемной петербургской квартирке, как живут в номере дешевой гостиницы, откуда собираются завтра же съехать. Кроме книг (а он всегда очень много читал), там не было ни одной такой вещи, в которую он вложил бы хоть частицу души: шаткий стол, разнокалиберные гнутые стулья. С писателями он почти ни с кем не водился, лишь изредка бывал у Куприна и Леонида Андреева, которые душевно любили его. Да и там при посторонних все больше молчал, и было в его молчании что-то колючее, желчно-насмешливое и в то же время глубоко печальное. Казалось, ему в тягость не только посторонние люди, но и он сам для себя.

Из его писем ко мне, относящихся к этому времени, у меня сохранилось всего лишь одно, где он между прочим пишет:

«...в общем, так измотался, что минутами хочется уже никогда ничего не писать, не издаваться... плюнуть на все и открыть кухмистерскую в Швейцарии».

Его самого удручал сумрачный тон его первых «Сатир». В том же письме говорится:

«Книжка висит над головой и положительно мешает думать и работать — хочется уже выйти из круга ее мотивов, в нем становится тесно, но чтобы прислушаться к новым голосам в самом себе — надо хоть иллюзию спокойствия».

Но никакого спокойствия в его характере не было.

Даже знаменитое имя свое, которое было в ту пору у всех на устах, сильно раздражало его.

— Здравствуйте, Саша, — сказал ему на Невском один журналист.

— Черт меня дернул придумать себе такой псевдоним! Теперь всякий олух зовет меня Сашей.

Вообще он держал себя гордо и замкнуто. Фамильярничать с собой не позволял никому. Поэтому велико было мое удивление,

когда в одно из воскресений на Крестовском в летний, горячий день я услыхал десятки голосов, звонко кричавших ему: «Саша, Саша, скорее сюда!», и увидел, что он не только не чувствует себя оскорбленным, но охотно откликается на эти призывы. Он сидел полуголый в лодке, взятой, очевидно, напрокат, и его черные глаза маслянисто поблескивали. Лодка была полна малышей, лет семи или немного постарше, которых он только что прокатил до моста и обратно, и теперь его ждали другие, столпившиеся неподалеку на сваях: «Саша, сюда, сюда!» Он бережно высадил одних пассажиров и, наполнив свою лодку другими, тотчас же пустился в новый рейс.

Все это были дети из прибрежных дворов, незнакомые дети, которых он прежде никогда не видал, да и они знали про него лишь одно: что он — Саша. Обычно они околачивались на берегу целый день и безнадежно кричали каждому из проплывающих в лодке: «Дяденька, прокати!» Но те даже не глядели в их сторону. На этот раз мальчишкам посчастливилось: нашелся такой удивительный «Саша», который услыхал их мольбу, и по лицу его я не мог не заметить, что здесь, на природе, среди детей, он совершенно другой. Волосы у него растрепались, плечи молодо выпрямились, трудно было поверить, что этот беззаботный гребец еще так недавно твердил в отчаянно-горьких стихах, что его —

...так и тянет из окошка
Брякнуть вниз на мостовую одичалой головой.

2

Я хорошо помню то мрачное время: 1908—1912 годы. Обычно, вспоминая его, говорят о правительственном терроре, о столыпинских виселицах, о разгуле черной сотни и т. д. Все это так. Но к этому нужно прибавить страшную болезнь, вроде чумы или оспы, которой заболели тогда тысячи русских людей. Болезнь называлась: опошление, загнивание души, ибо наряду с политической реакцией свирепствовала в ту пору психическая; она отравила умы и чудовищно искалечила нравы. Тяжелее всего поразила она так называемых «культурных людей» — тех самых, кого в девятьсот пятом году взметнуло кверху революционной волной, а теперь бросило в глубь обывательщины — к «мелким помыслам, мелким страстям».

Никогда еще обширные слои интеллигенции не были так оторваны от народных интересов и нужд:

Отбой, отбой!
Окончен бой! —

на все лады повторяли они про революцию девятьсот пятого года, и многими из них этот отбой ощущался как жизненный крах. Начались повальные самоубийства: что ни день, в одном лишь Петербурге люди стали десятками вешаться, стреляться, топиться, и это сделалось бытовым, заурядным явлением, ежедневной рубрикой газет. Смерть оказалась излюбленной темой тогдашних повестей и романов, ее воспевали в восторженных гимнах, из нее создавали культ. Наряду с этим — как проявление того же отрыва от идеалов «гражданственности» — небывалый расцвет порнографии, повышенный интерес к эротическим, сексуальным сюжетам:

«Проклятые» вопросы,
Как дым от папиросы,
Рассеялись во мгле.
Пришла Проблема Пола,
Румяная фефела,
И ржет навеселе.

И — как апогей обывательщины — эпидемия утробного смеха: вдруг в литературу проник целый отряд смехачей-балаганщиков, появилось множество хихикающих, зубоскалящих книжек, и на фоне массовых виселиц, самоубийств, расстрелов их жирный, обывательский смех зазвучал особенно зловеще, очень внятно свидетельствуя о духовном оскудении громадного слоя «культурных людей».

Все мозольные операторы,
Прогоревшие рестораторы,
Остряки-паспортисты,
Шато-куплетисты и бильярд-оптимисты
Валом пошли в юмористы.
Сторонись!

Против этой-то мрачной эпохи и восстал тогда в своих сатириконских стихах Саша Черный. Он не только проклинал ее, не только издевался над нею, но мало-помалу нашел другой, более

действенный метод сатиры: надел на себя самого маску ненавистного ему обывателя и стал чуть не каждое стихотворение писать от имени этой отвратительной маски.

Едва только в стихах Саши Черного возник этот сатирический образ, перед читателями впервые раскрылась вся самобытная сила поэта, и читатели впервые полюбили его. Именно с этого времени началась для него всероссийская слава. Он попал, так сказать, в самый нерв эпохи, и эпоха закричала о себе его голосом. Этот голос был так своеобразен, так непохож ни на чей, что мы сразу узнавали его, стоило нам прочитать любую строку Саши Черного.

Если читать его сатиры одну за другой, покажется, что перед тобою дневник растленного интеллигента той эпохи, где отразился до мельчайших подробностей весь обиход его жизни.

Такие сатирические маски создавались в нашей литературе не раз: вспомним Козьму Пруткова, созданного Алексеем Толстым и Жемчужниковыми, а также горбуновского генерала Дитятина. У Саши Черного, как и у тех литераторов, подлинная личность писателя подменена такой маской.

Когда мы читаем у него, например: «В зеркало смотрю я, злой и невеселый», или: «Я как филин на обломках», или: «Я живу как темный вол», или: «У меня голова как из олова», или: «Зачем я, сын культуры, издерганный и хмурый?» — мы понимаем, что эти «я» и «меня» принадлежат не поэту, но созданному им персонажу.

Поэт отчетливо видит полную оторванность «издерганного» интеллигента от жизни народа. Героика народничества ушла в невозвратимое прошлое. Устарелой и развенчанной легендой оказалось интеллигентское хождение в народ — и вот с каким чудовищным цинизмом трактовали эти интеллигенты новейшей формации столь желанное для прежних поколений слияние с народными массами:

Квартирант и Фекла на диване.
О, какой торжественный момент!
«Ты — народ, а я — интеллигент, —
Говорит он ей среди лобзаний. —
Наконец-то здесь, сейчас, вдвоем,
Я тебя, а ты меня — поймем...»

Такой же потрясающей пошлостью, судя по стиховому дневнику Саши Черного, отмечен каждый шаг интеллигента, перерож-

денного столыпинской реакцией. Вся его жизнь осуществляла собою программу политического ренегатства, индифферентизма и трусости:

Отбой, отбой,
В момент любой
Под стол гурьбой.
В любой момент
Индифферент:
Семья, горшки,
Дела, грешки.
Само собой —
Отбой, отбой, отбой!
«Отречемся от старого мира...»
И полезем гуськом под кровать.

Давайте спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать...

Вообще Саша Черный был мастером издевательских слов. Вот какими словами он исхлестал, например, престарелых мещанок, съехавшихся на модный курорт:

Навстречу старухи, *мордастые, злобные,*
Волочат в песке одеянья суконные,
Отвратительно старые и *отвисло-утробные,*
Ползут и ползут, словно оводы сонные.

Вспоминаю, что Маяковский (позднее, в девятьсот пятнадцатом году) повторял эти стихи наизусть, не оттого ли, что учуял в них свое — свою манеру обличать и ненавидеть. Мне уже случалось говорить в другом месте, как сочувствовал Маяковский стихам Саши Черного. Однажды я спросил у него, кого он больше любит: Полонского, Майкова или Фета. Он засмеялся и сказал: Сашу Черного. Из его стихов молодой Маяковский чаще всего декламировал — наряду со своими стихами, с такой же интонацией, с тем же издевательским пафосом — «Мясо», «Обстановочку», «Колыбельную», «Всероссийское горе» и «повесть» про Арона Фарфурника — «Любовь не картошка».

Нарисовав тогда же мой портрет, Маяковский написал на нем несколько строк из Саши Черного:

Спи, мой мальчик, спи, мой чиж,

и т. д.

(Теперь портрет в Москве — в музее Маяковского. На портрете отчетливо видна эта надпись).

Я и сейчас, когда перечитываю стихи Саши Черного, слышу громыхающий бас Маяковского, произносящий их с суровой гадливостью:

В лакированных копытах
Ржут пажи и роют гравий,
Изгибаясь, как лоза, —

На раскормленных досыта
Содержанок, в модной славе,
Щуря сальные глаза.

В своей биографии Маяковский, говоря об «уроках мастерства», сообщает, что в юности Саша Черный был для него «почитаемым поэтом».[1] В статье «Живопись сегодняшнего дня» он дважды подкрепляет свои мысли стихами из «Сатир» Саши Черного. Насколько я мог заметить, Маяковскому были больше всего по душе те из стихов поэта, в которых проклятие прогнившему строю выражалось не в декларациях и возгласах, а в бытовых зарисовках, доведенных до гротеска и шаржа. Больше всего привлекала его образность этих стихов. Чеканить образы Саша Черный умел превосходно. Вся его ставка была на колоритный, динамический образ, властно подчиненный лиризму. Он был мастер быстрого рисунка, иногда изумляющего своей неожиданной меткостью. Однажды мы пришли с ним к издателю Гржебину и увидели сибирского кота, дремавшего на письменном столе. Поэт взглянул на него и сказал, усмехнувшись:

— Толстая муфта с глазами русалки.

Эта нечаянная метафора была так верна и точна, что впоследствии мы часто повторяли ее, всякий раз когда нам попадался на глаза этот кот. Теперь, найдя ее в одном из позднейших стихов Саши Черного, я обрадовался ей как старой знакомой. Или вот, например, его зарисовка цветущей черемухи:

Черемуха *пеной курчавой* покрыта;

и дачного куста при дороге:

---

[1] В двух первых публикациях автобиографии Маяковского (журнал «Новая русская книга», Берлин, 1922, № 9 и «13 лет работы», т. 1, М., изд. Вхутемас, 1922) было «читаемый», но уже в «255 страницах Маяковского» (М., 1923) появилось «почитаемый». Возможно, первый случай не вариант, а опечатка. Если же это исправление сознательное, оно говорит о желании Маяковского подчеркнуть свое отношение к Саше Черному.

Измученная пыльная сирень;

и морского прибоя на острове Капри:

..новые волны *веселыми* мчатся *быками;*

и до чего тонко подмечено им, что на выставке картин одинокие посетители бродят

С видом слушающих птиц;

и что дирижер, управляя оркестром,

Талантливо *гребет* обеими руками;

и что на петербургских кустах и деревьях во время изморози висят

Кисти страусовых перьев.

Из стихов Саши Черного Маяковский, помнится, любил повторять такие — действительно очень экспрессивные — строки:

Губернатор едет к тете.
Нежны кремовые брюки.
Пристяжная на отлете
Вытанцовывает штуки.

Было невозможно не радоваться силе и меткости выразительной речи сатирика. Особенно энергичной становилась она, когда он говорил о неприятных, отталкивающих вещах и явлениях:

На улице *сморкался* дождь *слюнявый*;

или:

Как *пальцы мертвецов*, брящают счеты.

В то время для него было очень характерно такое, например, густое скопление недобрых и брезгливых эпитетов:

Безбровая сестра в *облезлой* кацавейке
Насилует *простуженный* рояль.

В самом их изобилии чувствовалась концентрированная, страстная ненависть к торжествующей пошлости, которую он любил воплощать в монументальном образе омерзительно-наглой и уродливой женщины:

Лиловый лиф и желтый бант у бюста,
Безглазые глаза — как два пупка.

Недаром Маяковский с таким горячим сочувствием писал об «антиэстетизме» Саши Черного. Эти отталкивающие, внушающие отвращение образы лучше всего выражали непримиримо-враждебные чувства сатирика к окружавшей его обывательщине.

В ту пору только такие — отвратные — образы возникали у него перед глазами. Саша Черный и сам говорил, что ему

Словами свирепо-солдатскими
Хочется долго и грубо ругаться.

И обзывал своих современников «жабами», «гиенами», «макаками», «кастратами», «гадами», «прыщами», «шулерами», «кретинами», «тупицами», «баранами», «кильками», «ящерицами», и эта изобильная брань лишь потому не казалась безвкусным излишеством, что вся она была художественно подкреплена и оправдана горячей эмоциональностью автора. Создавалось впечатление, что ненавистные ему «гиены» и «кастраты» своим физическим и духовным уродством беспощадно терзают его и что он нигде не находит спасения от них. О чем бы он ни писал в своей книге: о «петербургской даче», об «окраине Петербурга», о «службе сборов», о «редакции толстого журнала», о трамвае, о ресторане, о театре — всюду преследовали его «мясомордые» монстры.

8

Это было в порядке вещей. Ведь для той маски обанкротившегося интеллигента, от имени которого Саша Черный написал свой сатирический цикл, чрезвычайно характерно представление о мире как об отвратительной и грязной дыре, где копошатся какие-то «гады» и «жабы».

Но, с другой стороны, он и сам в ту пору не раз поддавался соблазнам такого же мрачного восприятия жизни. Это стало мне особенно ясно после одного памятного свидания с ним. Как-то зимою, в морозный и ветреный день, он, возвращаясь в Питер после поездки в Финляндию, иззябший, усталый и как будто больной, заехал ко мне в Куоккалу и, греясь у печки, признался, что водопад Иматра нагнал на него смертельную скуку и что бывали минуты, когда ему страшно хотелось броситься туда вниз головой.

Вскоре он недвусмысленно выразил те же самые чувства в стихах:

Был на Иматре, — так надо.
Видел глупый водопад.

Постоял у водопада
И, озлясь, пошел назад.

Мне сказала в пляске шумной
Сумасшедшая вода:
«Если ты больной, но умный —
Прыгай, миленький, сюда!»

И тогда я увидел, что это нисколько не маска, что это — он сам, Александр Михайлович, говорит о себе, о своем. И в других стихах, где он с язвительной брезгливостью пишет:

Васильевский остров прекрасен,
Как жаба в манжетах, —

тоже слышится его собственный голос, тот, какой мы нередко слыхали тогда у него самого.

Или прочтите, например, его «Кумысные вирши», его «Послания», его стихи о Гейдельберге, о Киеве, о Тбилиси, о Заозерье, о Берлине, о Ницце, о Париже, о Риме — всюду он сам, Саша Черный, без всякой личины. Это его стихотворный дневник, летопись его скитаний по свету, и часто случалось, что он в этой летописи выражает те же чувства и мысли, какие выражал от лица своей маски. То, что мы считали пародией, не раз оказывалось его собственной, подлинной лирикой.

И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая.
О боже! Я, раненный насмерть, играл,
Гладьятора смерть представляя.

(Г. Гейне)

Значит, он создавал свою маску совсем иначе, чем создавались такие же маски Жемчужниковыми, Алексеем Толстым, Горбуновым. Козьма Прутков ни единой чертой не похож на своих литературных родителей. Генерал Дитятин — антипод Горбунова. Но в Саше Черном было много такого, что роднило с ним его героя. Когда читаешь, например, в его стихах:

Старый месяц! Твой диск искривленный
Мне сегодня противен и гадок, —

убеждаешься в тысячный раз, что многими своими чертами он и его герои очень близки. Маска, которую он надел на себя, бывала в иные минуты прозрачна, и тогда сквозь нее просвечивало его собственное изнуренное хандрою лицо.

Но, конечно, было бы нелепо твердить о полном тождестве поэта и созданного им персонажа. Прежде всего потому, что поэт, который способен с таким мастерством отразить и выразить в своем творчестве пусть и вялые чувства своих современников, сам должен быть очень сильным, энергичным художником, мускулистым кователем слов.

Тот, кто воскликнул в стихах:

Давайте спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать! —

уже потому не может быть сопричислен к тем безвольным и немощным людям, которые придерживаются этого жалкого лозунга, что у них никогда не хватило бы сил для создания такой крылатой, динамической формулы. Даже для изображения немощи нужна большая творческая мощь.

Когда поэт говорит о себе, что он

Как семьсот аллигаторов, зол;

или что в гости к нему пришел человек,

Чужой, как река Брахмапутра, —

самая неожиданность этих озорных и энергичных сравнений — а их у Саши Черного великое множество — свидетельствует, что наряду с негодованием и болью его творчество обильно питается юмором, а юмор есть жизнеутверждающая, победоносная сила, несовместимая с душевной депрессией.

Конечно, нельзя не жалеть человека, которому приходится сказать о себе:

Как молью, изъеден я сплином.
Посыпьте меня нафталином!

Но опять-таки энергичная выразительность этих стихов, а также присущий им юмор убедительно говорят нам о том, как непохож их создатель на «слизняков и мокриц», от лица которых он пишет подобные строки.

Кроме того, в душевном облике молодого поэта бросалось в глаза еще одно великолепное качество, резко выделявшее его из среды изображаемых им нравственно шатких людей: требовательная, суровая честность, не знающая никаких компромиссов. Именно поэтому он так часто порывал с редакциями, в которых ему приходилось сотрудничать. Уйдя из «Сатирикона», он перешел в «Солнце России», но вскоре покинул и этот журнал и перешел в «Современник», откуда тоже счел необходимым уйти из-за несогласия с редакцией, потом перекочевал в «Современный мир», с редакцией которого порвал очень скоро. Так же поступил он и с «Русской молвой» и т. д., и т. д., и т. д. И это не потому, что у него был неуживчивый, сварливый характер, а потому, что превыше всего он ставил свои строгие литературные принципы. Помню, и из «Шиповника», где его очень любили, он то и дело порывался уйти, и Вере Евгеньевне Беклемишевой (которая была душою издательства) потребовалось много усилий, чтобы удержать его там.

И с людьми он рвал так же круто. Не признавал половинчатых отношений, бесстрастно-корректных и ровных. На первых порах между нами стала было намечаться какая-то душевная близость. Но в 1909 году я напечатал о нем небольшую статью, где, приветствуя его дарование, высказал — довольно неуклюже — ту, как мне кажется, справедливую мысль, что его сатиры, воплощая в себе громкий протест против тогдашней действительности, сами являются в известном смысле ее порождением. Хотя я тут же указал на очень четкую грань между подлинной личностью автора и его героем, статья моя, к немалому моему огорчению, так сильно задела поэта, что он прекратил всякие отношения со мной и высмеял меня в злой сатире «Корней Белинский», которую и напечатал в журнале «Сатирикон». Мы разошлись, не встречались года два или три, и я не думал, что когда-нибудь нашим добрым отношениям суждено возродиться.

Все же мы встретились снова, и помирили нас малые дети. Ибо почти одновременно он сделался детским писателем, а я — редактором детских альманахов и сборников.

Уже по первым его попыткам я не мог не увидеть, что из него должен выработаться незаурядный поэт для детей. Самый стиль его творчества, насыщенный юмором, богатый четкими, конкретными образами, тяготеющий к сюжетной новелле, обеспечивал ему успех у детворы. Этому успеху немало способствовал его редкостный талант заражаться ребячьими чувствами, начисто отрешаясь от психики взрослых. Поэтому, когда в 1912 году издательство «Шиповник» предложило мне составить альманах для детей «Жар-

птица», я одновременно с Алексеем Толстым и Сергеевым-Ценским привлек к участию в альманахе и его, Сашу Черного.

Он прислал мне два стихотворения — «Приставалку» и «Баю, кукла, баю-бай». Все же отношения у нас оставались натянутыми. Это смущало меня — тем более, что стихи его были не лишены недостатков, которые в качестве редактора я считал необходимым устранить. При тех отношениях, какие установились у нас в прежнее время, это было бы очень нетрудно, но теперь я долго колебался, прежде чем дерзнул написать ему о замеченных мною изъянах. Советуя ему внести в стихотворения кое-какие поправки, я просил его не сетовать на меня за эти советы, ибо они вызваны исключительно интересами дела. Его ответ очень обрадовал меня. Оказалось, отстаивая текст «Колыбельной», он вполне согласился со мною по поводу своей «Приставалки» и коренным образом переделал ее: сильно сократил и отчеканил.

«Я не только «не сержусь», — писал он, — но очень рад, что есть живой человек, который вместо отметок «хорошо — плохо» интересуется работой и по существу, и в деталях».

В окончательном варианте «Приставалка» и сейчас восхищает меня своим лаконизмом и безупречно изящной структурой.

Впоследствии Саша Черный с таким же беззлобием принял мои редакторские замечания о стихотворении «Цирк».

«Эпитет «шершавой» промокашки, — писал он, — очень трудно заменить. Если хотите, пусть будет «чернильной» (как вы и подсказали), — пожалуй, так лучше.

Насчет ударения в слове «волше́бство» разрешите так:

Пупс не волшебник, господа,
Не бойтесь! Он, понятно,
Ее без всякого вреда
Сам выплюнет обратно.

Заключительную строфу к «Цирку» вместо старой я вам пришлю».

К сожалению, письмо запоздало, и «Цирк» был напечатан без авторской правки.

В 1916 году я, по приглашению Горького, редактировал сборник «Елка», для которой Александр Михайлович написал стихотворение «Трубочист». Мне оно показалось растянутым, о чем я написал ему со всей откровенностью.

«Относительно «Трубочиста»,— ответил он,— буду спорить: если вы после первых пяти строф напечатаете непосредственно послед-

нюю, будет голова на ногах, без туловища... Я хотел немного приоткрыть дверь в таинственную (для детского глаза) жизнь трубочиста: у него *тоже*, как и у всех, есть дети, и не черные, как бы полагалось ему иметь, а «беленькие»; конечно, надо изменить: «спят, как два комочка». Может быть: «как два щеночка»?

...Сказать просто, что он не страшный — мало. Ребенок не поверит.

Может быть, мне мало удалось то, что хотелось сказать.

Во всяком случае, середины не выбрасывайте: лучше не печатайте совсем. Мне тема очень по душе, и я бы ее как-нибудь иначе обернул потом».

Это стихотворение и нынче печатается в первоначальной редакции. Мне кажется, оно скорее дошло бы до русских детей, если бы по прихоти автора трубочист не был изображен иностранцем с привычками заграничного жителя:

Рано утром, на рассвете,
Он встает и кофе пьет,
Чистит пятна на жилете,
Курит трубку и поет.

Странно читать про этого несомненного немца, что дети его спят на печи, словно в российской деревенской избе.

В 1917 году, когда мне привелось редактировать выходящий приложением к «Ниве» журнал «Для детей», я привлек Александра Михайловича к участию в этом журнале.

«Дай вам бог сто лет жизни за вашу затею!» — писал он в ответ на мое приглашение. Прислал для журнала загадки с такой покладистой и благодушной припиской:

«Если пригодятся — хорошо, нет — бросьте под стол».

Наши отношения к тому времени сгладились, и мало-помалу его письма ко мне утратили прежнюю сдержанность.

«Прочел недавно «Человека из Сан-Франциско» Бунина, — писал он мне в 17-м году, — и чуть не заплакал от радости. Вот вещь! После такого рассказа все Борисы Лазаревские должны поступить в кассы мелкого кредита».

Прочтя в моем журнале рассказ Куприна «Козлиная жизнь», поэт отозвался о нем так:

«Рассказ Куприна милый, но есть вялость, и козел как-то все топчется на одном месте, *точно мокрой ваты наелся*».

Но тут же поспешил приписать:

«Если увидите его (Куприна), поклонитесь от меня. Я его очень

люблю — и хорошего, и нехорошего, — как могут только любить хронические сатирики и так называемые пессимисты».

Передавая привет одному работнику издательства, он с тем же добродушием заметил:

«Из всех крокодилов, пожирающих писательское мясо, это самый симпатичный».

4

Казалось, что теперь, когда мы сблизились вновь, у нас впереди много дружной и веселой работы — особенно по созданию советской литературы «для маленьких», но он куда-то надолго исчез, а потом до его петроградских друзей дошли слухи, которым они долго не хотели верить, будто он эмигрировал в чужие края. Вскоре эти слухи подтвердились.

В 1923 году в Берлине вышел третий том его стихотворений, знаменательно озаглавленный «Жажда» (то есть жажда вернуться на родину). Перечитывая теперь эту грустную книгу, я не мог отвязаться от мысли, что вряд ли в русской зарубежной литературе тех давних времен был хоть один поэт, который с такой лирической силой выразил бы мучительное чувство эмигрантского сиротства на чужбине. Чуть только он оторвался от России, с ним произошел переворот, нередко наблюдавшийся в среде эмигрантов: он какой-то новой любовью, неожиданной для него самого, полюбил все русское, решительно все — даже то, что еще так недавно коробило и раздражало его. Нам, знавшим его «Сатиры» 1908—1912 годов, даже как-то странно читать, в каком поэтическом ореоле встали перед ним те люди, пейзажи и вещи, к которым, судя по его старым стихам, он относился в лучшем случае с иронией. Он и сам отметил в себе эту новую черту своей лирики:

> И встает былое *светлым раем*,
> Словно детство в солнечной пыли.

Теперь под «чужим солнцем», на далекой чужбине он с самой нежной любовью вспоминает и русские баранки, и русские валенки, и самовары, и гармонику, и куклу Матрешку, и клодтовских коней на Аничковом мосту, и золоченого орла на Крестовской аптеке (возле которой он жил до войны), и бумажного змея, и Гатчину, и Невский, и Псков, и русские деревья, и русские травы — и тем еще больнее растравляет незаживающую душевную рану.

При этом никаких связей — ни литературных, ни политических,

ни просто житейских — он не завязал ни в одной из тех стран, по которым довелось ему скитаться. Всюду оставался посторонним, или, по его выражению, «тайным соглядатаем жизни». До чего доходило его сиротство, видно из таких, казалось бы, нисколько не печальных стихов, написанных им в Булонском лесу:

Мальчишка влез на липку —
Качается, свистя...
Спасибо за улыбку,
Французское дитя!

Каким нужно быть неприкаянным, бесприютным, отверженным, чтобы благодарить... за улыбку.

Чужбина явно обескровила его дарование. Все чаще и чаще его стихи (которые, кстати сказать, он писал тогда в большом изобилии) стали сводиться к простой регистрации зорко подмеченных вещей и явлений. И прежде у него встречалось немало стихов, состоявших из вереницы разрозненных образов, которые следовали один за другим, но тогда эти образы были нанизаны на единый лирический стержень, и все они вместе и каждый в отдельности выражали то или иное настроение поэта, подсказанное ему уродливой общественной жизнью («Мясо», «Обстановочка», «Немецкий лес» и другие), а теперь у него стало появляться все больше стихов, где образы не имеют никакого подтекста, а существуют сами по себе — для себя: зарисовки ради зарисовок. Было похоже, что он навсегда потерял свою тему и начал неразборчиво писать обо всем, то есть, по существу, ни о чем.

Этого никогда не бывало с ним раньше. В 1905 году, когда он в боевых, оппозиционных листках и журналах обличал ненавистный народу царизм, он чувствовал себя выразителем дум и стремлений бесчисленного множества своих современников. Эпоха реакции тоже, как мы видели, внушила ему исторически ценную тему. Первые годы эмиграции, годы тоски по России, опять-таки внесли в его образы очень определенный подтекст. Но вскоре эта тема не то чтобы иссякла, но сделалась привычной, хронической, как застарелая боль, и уже не вдохновляла его. Все чаще и чаще писательство стало превращаться у него в «описательство», в изображение «предметов предметного мира», лишенное какого бы то ни было пафоса:

Листья желтые платанов
Тихо падают на шляпу
И летят вдоль сизых улиц
По воздушному этапу.

Это хорошо, это метко. В этой стиховой зарисовке — и в сотне других, подобных — чувствуется та же рука умелого и опытного мастера, но это стихи без адреса, стихи «в никуда». Нечего было и думать, чтобы такие стихи вызвали в читательских массах тот взволнованный, сочувственный отклик, какой когда-то вызывали молодые стихи Саши Черного, воплощавшие его гневный протест против антинародной интеллигенции «десятых» годов. Его — недавно столь крепкая — связь с читательскими массами распалась, да и массы эти в революционной России уже заменились другими, которым понадобились другие глашатаи.

Можно себе представить, как горько было ему превращаться в пассивного созерцателя жизни, которому доступны лишь поверхностные, внешние приметы явлений, ибо он так и не вошел в эту жизнь и она осталась для него чужой навсегда.

Конечно, и теперь у него бывали удачи в тех редкостных случаях, когда беглые его зарисовки проникались эмоциями жалости, боли и гнева. Из этих зарисовок больше всего очаровало меня стихотворение «Собачий парикмахер», которое по мастерству, по благородству поэтической формы и, главное, по своей глубокой душевной тональности напомнило мне блоковские «Вольные мысли». Его подспудная, но явственная тема: обида на бессмысленно-жестокую жизнь, которая, без разбора калеча людей, заставила, например, величавого старца с лицом мудреца и поэта отдать свои предсмертные годы унизительной стрижке собак:

Или в огромной жизни
Занятия другого не нашлось?
Или рулетка злая
Подсовывает нам то тот, то этот жребий,
О вкусах наших вовсе не справляясь?

Здесь совершенно новый — негромкий и сдержанный — голос, какого у Саши Черного до той поры никогда не бывало. Нет прежней погони за эффектными «бенгальскими» образами, краски целомудренны и просты...

Такой же гуманистической нотой звучат написанные в тот же период стихотворения «Ошибка», «С холма» и некоторые другие, в которых Саша Черный опять воскресает как юморист и сатирик, печально усмехающийся над злыми гротесками жизни.

Но таких стихотворений было мало. Преобладали стихи-однодневки смертельно усталого, обнищавшего духом поэта — газетнофельетонные, мелочные и мелкие. И прежде у него было немало

фельетонных стихов, но теперь они хлынули неудержимым потоком, грозящим затопить все остальное.

Для него осталось последнее прибежище — дети. Едва лишь очутившись на чужбине, он принялся с увлечением писать для детей и вскоре стал одним из любимейших детских писателей. Его прелестное стихотворение «Мой роман» внятно говорит о той радости, какую в его сиротскую жизнь вносило общение с гармоническим миром ребенка. Среди стихов, которые в этот период были написаны им для детей, встречается немало превосходных («Хрюшка», «Попка», «Гиена», «Больная кукла» и многие другие), но мы оказали бы ему плохую услугу, если бы вздумали дать современным читателям полное собрание его детских стихов, ибо наряду с крепкими, отлично сработанными он нередко создавал скороспелые, рыхлые, порою даже безвкусные опусы. Все чаще стали у него появляться неверные метафоры, неточные образы, например:

Целый день *как юла*
Я *качаюсь* на гибких лианах.

И таких стихотворений с каждым годом становилось все больше. То время, когда он написал «Приставалку», «Поезд», «Костер», «Про Катюшу», осталось далеко позади.

Его трагический отрыв от читательской массы стал ощущаться и здесь. Русская детвора в эмиграции к середине двадцатых годов уже не представляла собою монолитного целого. Она была распылена по всему свету и быстро ассимилировалась в иноязычной среде. Поэт очутился в безвоздушном пространстве — без читателей, без будущего, с одним только прошлым.

Этим прошлым он мог гордиться — особенно тем кратким периодом, когда вступил в схватку с реакционной эпохой и наносил ей удар за ударом своим убийственно-насмешливым стихом.

Корней Чуковский

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПУТЬ САШИ ЧЕРНОГО

1

Александр Михайлович Гликберг, известный в литературе под псевдонимом *Саша Черный*, родился 1 октября 1880 года в Одессе. В городе Белая Церковь прошли годы его раннего детства. Учился Гликберг в Житомире, куда вскоре переехала вся семья на постоянное жительство. Гимназическое образование пришлось прервать на шестом году обучения. Помешала закончить гимназию, должно быть, беспросветная нужда, пришедшая на смену привольному детству, необходимость самому зарабатывать на жизнь. В эти годы Гликберг зачастую даже не мог выйти из дому, так как не имел собственной пары сапог.

Вероятно, в тот же период у Гликберга проявилась склонность к литературе. Первые стихи, написанные им в Житомире, были неумелыми и наивными. Поэтическая деятельность привлекала юношу, но реальной возможности зарабатывать на жизнь литературным трудом пока не предвиделось. В Житомире Гликберг устроился мелким чиновником на работу в Службу сборов. Будничные балансы, счеты, канцелярская канитель заполнили жизнь. И все же мечта о творчестве не покидала его. По собственному признанию, в канцелярии он исподтишка наблюдал типы «для драм и очерков своих»:

Духовной жаждою томимый,
Он грыз перо по вечерам...
Язык мечты невыразимый
Мешал балансу и счетам...

Утратив сон, худой и бледный,
Он стал хулить весь божий свет,
А про него шептались: «Бедный,
Плохой конторщик и поэт».[1]

В 1904 году в застойной жизни провинциального Житомира произошло большое событие: с 1 июня стала выходить ежедневная политическая и литературная газета «Волынский вестник». В списке сотрудников, помещенном в первом номере газеты, упоминался и Гликберг. В редакцию «Волынского вестника» молодой автор принес несколько произведений, подписанных псевдонимом: «Сам по себе». Эти произведения были приняты и напечатаны. Самое значительное из них — хроника «Дневник резонера». Знаменательно, что обзор житомирской жизни в этой хронике начинался словами Гоголя: «Скучно жить на этом свете, господа!». Основной темой обзора было разоблачение бесцельного, мещанского существования большей части жителей Житомира, занятых обывательскими сплетнями и пересудами. Присматриваясь к окружающей жизни, автор всюду замечал духовную смерть, подкрадывающуюся к людям незаметно, в тине будничных мелочей. «Ничего нового, — писал он, — это незаметная, но неотразимая, как сама смерть, судьба человека, который еще, по-видимому, живет, рассуждает, ходит в гости, сплетничает, но человек этот мертв и заражает все, к чему ни прикоснется его бессильная, дряблая рука».[2]

Издательница «Волынского вестника» М. П. Лобановская не обещала сотрудникам гонорара. Будучи пайщицей местного оперного театра, она расплачивалась с ними контрамарками на галерку. Возможно, что в связи с этим в «Волынском вестнике» появилось несколько театральных рецензий Гликберга.[3] Со временем он сделался главным сотрудником газеты. Его статьи, заметки, а позднее и стихи (главным образом басни: «Моралист», «Вор и собака», «Баснописец» и другие) заполняли почти целиком номера «Волынского вестника». Гликберг помещал свои произведения под разными псевдонимами: «Сам по себе», «Жеронимо», «Мечтатель».

Условия работы в «Волынском вестнике» были трудные. Главному сотруднику приходилось самому вертеть колесо типографской машины и самому же мыть после работы шрифт, чтобы газета могла

---

[1] А. Гликберг. Разные мотивы. СПб., 1906, стр. 11.

[2] «Волынский вестник», 1904, № 2.

[3] См., например, статью «„Аида" в Житомире» в № 18, от 22 июня 1904 г.

выходить вовремя. Так началась литературная деятельность Гликберга. Вскоре «Волынский вестник» прекратил свое существование, а Гликберг переселился в Петербург.

Шел 1905 год, наступили тревожные дни первой русской революции. Поражение в войне с Японией и кровавое 9 января вызвали массовые стачки и демонстрации. События развивались с необычайной быстротой. «В столице 9 января грянул первый гром революционного выступления пролетариата, — писал В. И. Ленин. — Раскаты этого грома пронеслись по всей России, подняв с невиданной раньше быстротой свыше миллиона пролетариев на гигантскую борьбу».[1] Массовые стачки и демонстрации приблизили страну к всенародному вооруженному восстанию. Казалось, что царизм должен был неминуемо пасть. Начались так называемые «дни свободы».

В это бурное время необыкновенно пышно расцвела, особенно в Петербурге, политическая сатира. Журналы-однодневки и многие солидные периодические издания заполнялись злыми карикатурами; сатирические стишки, частушки, песенки в огромном количестве ходили по рукам и распевались в народе.

Сразу же после выхода царского манифеста о «даровании» конституции стало ясно, что он является лицемерной уловкой, под прикрытием которой правительство повело активное наступление на революцию. 14 октября 1905 года всюду расклеен был приказ диктатора Д. Ф. Трепова: «Холостых залпов не давать, патронов не жалеть». Петербург был объявлен на военном положении. Атмосфера для существования сатирической литературы складывалась самая неблагоприятная. Но поток новых сатирических журналов все возрастал. Жизнь их, как правило, была очень коротка, полиция преследовала газетчиков, отнимала и жгла «крамольные» номера журналов, а они всё продолжали появляться: «Зритель», «Молот», «Пулемет», «Сигнал», «Жупел» и другие.

Задача, которую ставили перед собой эти сатирические журналы, была довольно отчетливо сформулирована в редакционной статье одного из них: «Теперь мы получили право смеяться и будем смеяться смело, громко и беспощадно. И пусть всякий, кто владеет этим тонким и острым оружием, приходит к нам и смеется вместе с нами. Будь то слово или рисунок, страницы нашего журнала к его услугам».[2]

На призыв откликнулись многие, и в том числе Александр Глик-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 4-е, т. 9, стр. 308.
[2] «Паяц», 1905, № 1, стр. 3.

берг, который к тому времени уже попробовал свои силы в сатирических жанрах. Он стал сотрудником одного из лучших сатирических журналов 1905 года — «Зрителя», выходившего в Петербурге с 5 июня под редакцией Ю. К. Арцыбушева. Идейная направленность «Зрителя» сразу же насторожила цензурное ведомство и министерство внутренних дел. О первом номере цензор сообщил: «Журнал имеет задачи политические, и притом в направлении не только вредном, но гнусном».[1] По характеристике Трепова, «это издание задается целями антиправительственной пропаганды и развития революционного настроения в народной массе».[2] К моменту выступления Гликберга в «Зрителе» журнал уже неоднократно подвергался репрессиям. В августе 1905 года № 17 «Зрителя» был конфискован, и журнал не выходил в течение месяца. Дело о нем, возбужденное цензурным комитетом, было прекращено лишь в связи с появлением манифеста 17 октября.

И вот 27 ноября в № 23 «Зрителя» появилось стихотворение «Чепуха», под которым стояла подпись, до того времени не известная читателям: Саша Черный. На первый взгляд это была довольно безобидная пародия на общеизвестную обывательскую песенку «Чепуха-чепуха, это просто враки. . .». Однако содержание пародии было далеко не безобидным. В пестром калейдоскопе имен мелькали знакомые всей России фамилии видных сановников и генералов (Витте, Трепов, Дурново, Безобразов, Алексеев, Стессель, Линевич), были задеты кровавые усмирители Минска и Одессы — Курлов и Нейдгарт, реакционный церковник Иоанн Кронштадтский.

Автор не ограничился разоблачением этих столпов режима. Жало его сатиры коснулось самого царя и царской семьи. В феврале 1905 года в Москве был убит И. П. Каляевым великий князь Сергей Александрович, и Саша Черный пророчил такую же судьбу самому Николаю II:

Разорвался апельсин
У Дворцова моста... —
Где высокий господин
Маленького роста?

Это был прозрачный намек. Большинство сатирических журналов из номера в номер изображало Николая II в образе маленького

---

[1] В. Боцяновский и Э. Голлербах. Русская сатира первой революции. 1905—1906. Л., 1925, стр. 179.
[2] Там же, стр. 176.

уродца с большой шишкой на темени. Намек на царя дополнялся словами: «Сей высокий человек едет за границу», — именно в это время Николай II собирался ехать в Бьёрк для свидания с Вильгельмом II.

В последних четверостишиях «Чепухи» намеки более завуалированы, но читатели и их разгадали без особого труда. Например:

Появился Серафим —
Появились дети.

В 1903—1904 годах в придворных кругах много шуму было по поводу открытия «мощей» Серафима Саровского, которого по настоянию фанатичной царицы объявили святым. Объясняя это, С. Ю. Витте писал: «Говорят, что были уверены, что саровский святой даст России после четырех великих княжен наследника».[1] Царица действительно родила мальчика.

Наконец, последние строки «Чепухи» имели в виду намечавшийся сговор стран Антанты в целях подготовки мировой войны: «Высшей милостью труха Хочет общей драки».

Конечно, «высшей милостью труха» не могла простить подобного кощунства автору юмористического стихотворения. Номер «Зрителя» со стихами Саши Черного сразу же был конфискован за «подрыв государственных устоев и оскорбление личности государя».[2]

«Чепуха» явилась одной из последних капель, переполнивших чашу терпения цензурного комитета. «Зритель» решено было окончательно закрыть; на № 25-м издание прекратилось. Объясняя причину закрытия журнала, министр внутренних дел А. Г. Булыгин докладывал Сенату: «Дерзость журнала доходит до того, что он не стесняется избрать предметом своего таерства и глумления даже священную особу государя императора».[3]

После запрещения «Зрителя» его сотрудники некоторое время пытались издавать журнал под другим названием. В конце 1905 года как отклик на события декабрьского вооруженного восстания в Москве они выпустили пробный номер под заглавием: «Журнал» и с подзаголовком: «Великая Москва». А. Гликберг поместил в нем

---

[1] С. Ю. Витте. Воспоминания, т. 1. Л., 1924, стр. 221.

[2] Центральный Государственный исторический архив СССР в Ленинграде, ф. 777, оп. 25, № 919. Далее ссылки на этот архив даются сокращенно: ЦГИАЛ.

[3] В. Боцяновский и Э. Голлербах. Русская сатира первой революции. 1905—1906. Л., 1925, стр. 201.

«Песню на улицах» («Пусть злое насилье царит над землей...»), прозвучавшую как вызов самодержавной власти:

Пусть много нас пало — другие придут
И дело святое к концу приведут...

«Журнал» просуществовал недолго: он был закрыт на втором номере, и одной из причин запрещения были стихи Саши Черного «Новогодние предсказания» и «К празднику». В первом из них автор опять исподтишка коснулся «личности государя императора» («Вправо, влево, как волчок, Будешь прыгать, дурачок»), во втором — зло осмеял министра внутренних дел П. Н. Дурново.

Почти в то же время Гликберг становится участником сатирического журнала «Молот», на страницах которого помещает стихотворения «Военные круги» и «Словесность», а после запрещения «Журнала» вместе с другими его сотрудниками пытается создать первый толстый сатирический журнал — «Альманах». Это опять-таки было замаскированное другим названием продолжение «Зрителя». Здесь Саша Черный опубликовал три стихотворения. В одном из них («Балбес») усмотрели намек на великого князя Владимира Александровича. За помещение этого стихотворения книжка «Альманаха» была арестована, а редактор-издатель, художник С. В. Чехонин, привлечен к судебной ответственности.

Казалось бы, все пути для продолжения журнала были отрезаны. Но «Зритель» возродился снова, теперь уже в виде еженедельника под названием «Маски», выходившего с 1 февраля 1906 года. Еженедельник оказался несколько долговечнее своих предшественников. В вышедших номерах «Масок» Саше Черному удалось поместить шесть стихотворений, в том числе свою вторую «Чепуху» («От российской чепухи черепа слетают...») и злободневные сатиры «Две думы», «День монсеньёра», «Вывеска и собака». В последнем стихотворении цензура усмотрела «оскорбление чести мундира» [1], и запретила «Маски».

Позднее Саша Черный участвовал в сатирических журналах «Леший» и «Скоморох». Здесь он выступил против ренегатски лицемерного поведения кадетов в I Государственной думе, обрушился на реакционнейшего представителя верхушки русского духовенства — архиепископа Антония Волынского. В это же время в творчестве поэта возникла тема разоблачения русского обывателя, «запутавшегося» в сложностях идейно-политической борьбы («Жалоба обывателя»).

[1] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 7, ед. хр. 578.

В 1906 году некоторые произведения Саши Черного вошли в состав нескольких сборников, изданных радикально-демократическими кругами («Вольница», «В борьбе», «Песни борьбы» и «Вперед»). Но более значительным событием в его жизни явился выход в свет небольшой книжки стихотворений под заглавием «Разные мотивы» (СПб., 1906).

Это были действительно разные мотивы. Наряду с гражданской лирикой («1906», «Пусть злое насилье...», «От русского флота остались одни адмиралы...» и другими) в сборник вошли первые опыты литературной сатиры («Правовед») и автобиографические произведения («Скверная история», «Роман»). Большинство стихотворений сборника были подражательными. В них нетрудно различить влияние поэзии Крылова и Пушкина, Лермонтова и Кольцова, Некрасова и даже Надсона. И все же в сборнике заметно сказывалось стремление автора выработать собственный голос и найти свою поэтическую тему. Так, интересно по замыслу довольно слабое в художественном отношении стихотворение «Кровь ударяет горячей волною в виски...». Оно сопровождалось посвящением: «Всем нищим духом...». В этом стихотворении наметилась ставшая центральной для всего творчества Саши Черного тема обличения трусливого обывательского существования. Отвергая с презрением серую действительность, в которой он видел лишь «мертвую жизнь без значенья, холод души, пустоту», поэт призывал «всех нищих духом» скорее выбрать свою дорогу:

Время торопит решеньем, дерзко врывается в дверь.
Что же, решай, малодушный: иль никогда, иль теперь!
Люди восстали и ропщут, люди к свободе идут,
Вышли живые на битву, мертвые в ямах гниют.
С смелой призывною речью к братьям восставшим иди!
Честный решает недолго, — честный всегда впереди...

Значительную часть стихотворений сборника предположительно можно датировать 1904—1905 годами. Это первые поэтические опыты молодого Гликберга. Однако не они, а именно политические стихотворения 1905—1906 годов, помещенные в начале сборника, делали его боевой, наступательной книгой. «Разные мотивы» заканчивались «Лунными рассказами», в одном из которых («О чем трещит сверчок в лунную ночь») говорилось о необходимости соединить хотя бы слабые силы одиночек, чтобы победить «тишину и темень». «Лучше честно погибнуть на своем посту, — писал Саша Черный, — чем умолкнуть и не исполнить до конца своего дела... Пусть каж-

дый делает свое дело!»[1] Так определял он свое отношение к общественной и политической реакции.

Не следует, однако, переоценивать разоблачительную силу поэзии Саши Черного. Как типичный буржуазный радикал, он не поднимался до критики всего общественного режима в стране. Ему всегда не хватало широты политического кругозора и понимания перспектив освободительной борьбы. Поэтому, несмотря на дерзкий, эпатирующий характер своих сатирических произведений, Саша Черный впадал зачастую в мелочное зубоскальство.

Сказанное можно распространить и на прозаическое творчество Саши Черного. Если не считать юношеских опытов, в качестве прозаика он начал выступать с 1906 года, когда в журнале «Маски» появились его небольшие афоризмы и шутки, объединенные под общим заглавием: «Деликатные мысли». Тематика «Деликатных мыслей» была разнообразна, но общая их направленность соответствовала задачам журнала — разоблачению реакционной политики царизма и соглашательского поведения буржуазно-либеральных партий. В 1908 году раздел «Деликатных мыслей» Саша Черный перенес в возобновленный «Зритель», где они стали еще более неделикатными по отношению к правящей верхушке, а в 1909—1911 годах он вел подобный фельетон в газете «Новый день», в «Сатириконе», в «Современнике».

Выступив как политический сатирик в журналах 1905—1906 годов, Гликберг приобрел в официальных кругах репутацию человека «политически неблагонадежного», доставляющего много хлопот чиновникам цензурного ведомства. Сборник Гликберга «Разные мотивы» был арестован. Петербургский комитет по делам печати усмотрел в книжке все «признаки преступления» и постановил привлечь автора к судебной ответственности.[2] Поэт избежал репрессии лишь благодаря своевременному отъезду за границу: он намеревался прослушать курс лекций в Гейдельбергском университете.

Результатом пребывания Гликберга за рубежом явилась серия лирических стихотворений, часть которых позднее была включена в сборник «Сатиры и лирика». Там же он начал писать цикл «У немцев», основной темой которого было разоблачение немецкого филистера и его убогих идеалов.

В Германии Гликберг провел два года и вернулся, когда в России окончательно победила реакция. Условия творчества в 1908 году для поэта-сатирика коренным образом изменились.

---

[1] А. Гликберг. Разные мотивы. СПб., 1906, стр. 42.
[2] ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 11, ед. хр. 141.

2

По улицам шляется смерть. Проклинает
Безрадостный город и жизнь без надежд,
С презреньем, зевая, на землю толкает
Несчастных, случайных невежд.

А рядом духовная смерть свирепеет
И сослепу косит, пьяна и сильна.
Всё мало и мало — коса не тупеет,
И даль безнадежно черна.

Так писал Саша Черный, вернувшись в Петербург. Более 7000 виселиц, свыше 600 погромов, жестокие расправы и расстрелы рабочих, разгром революционных организаций — вот что ожидало поэта в России. Наступила столыпинская реакция.

«Успокоение» России, которое обещал Столыпин, вступая на пост министра внутренних дел, было достигнуто с помощью жесточайших репрессий и «столыпинских галстуков». В одном из выступлений в III Думе он пытался оправдать правительственный курс и, обращаясь к правым, заявил: «Вы, конечно, сумеете распознать кровь, о которой здесь так много говорилось, кровь на руках палачей, от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные меры с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить трудно больного».[1]

Ответом Саши Черного на это выступление Столыпина было стихотворение под многозначительным заглавием «Успокоение» и с посвящением «русским Бисмаркам»:

Больной спокоен. Спрячьте в шкап лекарства и посулы!
Зрачки потухли, впала грудь и заострились скулы.
Больной лойялен... На устах застыли крик и стоны,
С веселым карканьем над ним уже кружа́т вороны...

«Больная» Россия, действительно, была «успокоена» обильным кровопусканием. В это время в творчестве Саши Черного на первый план выдвигаются новые темы — разоблачение пресловутой третьеиюньской «конституции» и высмеивание буржуазно-либеральных деятелей. Образовавшиеся в годы первой русской революции партии

[1] «История СССР», ч. 3. М., 1946, стр. 517.

октябристов и кадетов в эпоху столыпинской реакции окончательно выявили свою антинародную сущность.

В стихотворении «Невольное признание», остроумно пародирующем речи лидеров кадетской партии Милюкова и Гессена, поэт высмеивает лицемерные заигрывания кадетов с народом, их попытку посеять в массах «конституционные» иллюзии, убедить их, что Дума — не пособница самодержавного строя, а орган народного представительства. В других стихотворениях того же периода Саша Черный разоблачает октябристов —

...двоедушных,
Теплых, ласковых, послушных,
С гуттаперчевой спиной,
Не отдавших в пользу ближних
Даже пары старых нижних
И сочащих сладкий гной...

Позиция этой буржуазной партии, отбросившей свойственные кадетам претензии на «демократизм», очерчена здесь очень метко.

В политической сатире Саши Черного, разоблачающей всякого рода пустопорожнее фразерство, хорошо показано единство всех реакционных сил — от октябристов до открытых погромщиков из «Союза русского народа». Так, в «Балладе» Саша Черный иносказательно говорит о том, как исчез пирог (обещанная конституция) в чреве жадного бюрократа в то время, как октябрист и «союзник» пытались раздобыть этот пирог, причем «союзник», не дойдя до финиша, променял конституцию на деньги, добытые грабежом.

Большое место занимает в тогдашних сатирах Черного разоблачение деятельности III Государственной думы, открывшейся после третьеиюньского контрреволюционного переворота. Поэт ядовито высмеивает думскую деятельность — пустую игру в законодательство, создающую видимость серьезного и важного дела. Как известно, характерной чертой III Думы было рассмотрение большого числа малозначительных вопросов и принятие различных мелких бюрократических законов («законодательной вермишели»). Выражаясь языком одной большевистской листовки того времени, деятельность Думы свелась к обсуждению вопроса о том, «как одеть полицейских и сколько светлых пуговиц должно быть на мундире пристава».[1]

---

[1] Ф. И. Калиничев. Государственная дума в России. М., 1957, стр. 246.

В удачном стихотворении «Пьяный вопрос» Саша Черный высмеивает думское обсуждение «вопроса о мерах борьбы с пьянством», которое длилось с 1907 по 1910 год:

Мужичок, оставьте водку,
Пейте чай и шоколад.
Дума сделала находку:
Водка — гибель, водка — яд.

Специально образованная комиссия из 22 депутатов на многочисленных заседаниях Думы предлагала «рациональные» меры искоренения пьянства: например, понизить крепость водки до двадцати пяти градусов и т. д. Как иронизирует Саша Черный, «мудрым» депутатам не пришло в голову лишь позаботиться об улучшении условий жизни народа:

Мужичок, оставьте водку.
Может быть (хотя навряд),
Дума сделает находку,
Что и голод тоже яд!

В других стихотворениях Саша Черный касается происходившего в Думе обсуждения вопроса о просвещении. Столыпин на первом же заседании III Думы в ультимативной форме потребовал: «Начала порядка, законности и внутренней дисциплины должны быть внедрены и в школе...» [1] Вновь назначенный министр просвещения реакционер Шварц, неуклонно выполняя это указание, отдал высшую школу под надзор полиции, упразднил все студенческие «свободы». Саша Черный высмеял подвиги Шварца в сатирах «Дерзкая задача», «Экспромт», «Платоническое утешение» и других. В общей форме политика правительства в области просвещения была охарактеризована им в стихотворении «Там внутри».

Сатира Черного коснулась и отдельных, наиболее «выдающихся» черносотенцев — Дубровина, Пуришкевича, Крупенского, Маркова 2-го. В стихотворении «Что можно с Маркова взыскать?..» поэт дал меткую характеристику всего черносотенного лагеря.

Таким образом, в первые годы столыпинской реакции сатири-

---

[1] Ф. И. Калиныче в. Государственная дума в России. М., 1957, стр. 398.

ческое творчество Саши Черного еще держалось на довольно высоком политическом уровне. В это же время его привлекла тема борьбы с духовным падением и ренегатством русского буржуазного интеллигента, открыто заявившего о своем отказе от идеалов революции.

С 1908 года Саша Черный стал постоянным сотрудником нового журнала — «Сатирикон». Здесь еженедельно появлялись его стихотворения, высмеивающие идейное банкротство и пошлость быта той части буржуазной интеллигенции, которая охотно погружалась в обывательское, мещанское болото.

«Сатирикон» начал выходить в тот период, когда реакция восторжествовала. Это сказалось на облике журнала. Политические памфлеты уже не могли войти в его программу. «Сатирикон» ставил перед собой более скромную задачу — «морального исправления» общества путем сатиры на нравы. Так как открытые политические выступления представлялись невозможными, объектом обличений нередко оказывались в «Сатириконе» очень мелкие явления, вроде «Лиги свободной любви». Видное место в журнале заняли шаржи, но уже не на представителей правительственных кругов, а на литераторов и актеров.

Стихи Саши Черного, печатавшиеся в «Сатириконе», стали заметным общественно-литературным явлением и принесли автору всероссийскую известность. «Величайшей заслугой «Сатирикона», — писал впоследствии А. И. Куприн, — было привлечение Саши Черного в редакционную семью. Вот где талантливый, но еще застенчивый новичок из «Волынской газеты» <«Волынского вестника»> приобрел в несколько недель и громадную аудиторию, и широкий размах в творчестве, и благодарное признание публики... Она с бережной любовью поняла, что в ее душевный обиход вошел милый поэт, совсем своеобразный, полный доброго восхищения жизнью, людьми, травами и животными, тот ласковый и скромный рыцарь, в щите которого, заменяя герольда, смеется юмор и сверкает капелька слезы. И дружески интимной, точно родной стала сразу читателям его простая подпись под прелестными юморесками — Саша Черный» [1].

В 1910 году поэт объединил в несколько циклов стихи, опубликованные в «Сатириконе» и в других журналах, и издал их отдельной книгой под названием «Сатиры». В первом цикле книги, «Всем нищим духом», давался обобщенный портрет русского обывателя эпохи реакции. Автор выступал от первого лица; как бы

---

[1] А. Куприн. Саша Черный. «Возрождение», 1932, № 2625.

перевоплощаясь в своего героя, он высмеивал его «верования» и «идеалы», его убогие радости и мелкие печали. Второй цикл, «Быт», раскрывал обстановку жизни обывателя, пошлость, окружающую его в повседневной жизни. В третьем цикле, «Авгиевы конюшни», критике была подвергнута ограниченность буржуазного литературного мирка, тем более нетерпимая, что мирок этот претендовал на роль законодателя вкусов в обществе. Цикл «Невольная дань» касался политической жизни столыпинской России.

Весь сборник «Сатир» был проникнут одним господствующим настроением, одним лирическим мотивом — жалобой на мелочность, однообразие и пустоту окружающей жизни. Посвятив свою книгу «всем нищим духом», Саша Черный «как бы взял на себя печальную миссию глашатая безверия, беспринципности и грядущей беспочвенности».[1] Однако он вовсе не включал себя самого в число «нищих духом». Во вступительном стихотворении «Критику» он предостерегал читателя от ошибки спутать образ автора с образом его героя.

В эпоху реакции растерявшийся русский интеллигент оказался в плачевном положении. Первым его побуждением было спрятаться, уйти подальше от какой бы то ни было борьбы. Один из сатирических журналов того времени выходил под характерным названием «Отбой», а в редакционной статье его провозглашалось:

Мирным трудом и любовью
Надо бороться с судьбой.
Счастье не купится кровью,
Братья! трубите «отбой!»

Гибель в семейном раздоре,
Кончим скорее же бой!
Чувствуя родины горе,
Мы возвещаем: «Отбой!»

Этого позорного поведения Саша Черный не прощал растерявшемуся интеллигенту. Отповедью ренегатскому поведению буржуазной интеллигенции звучат стихи, напечатанные в 1908 году:

---

[1] Л. Н. Войтоловский. Саша Черный. «Киевская мысль», 1911, № 327.

Вечная память прекрасным и звучным словам!
Вечная память дешевым и искренним позам!
Страшно дрожать по своим беспартийным углам
Крылья спалившим стрекозам!

В эти годы большие общественные вопросы, поднятые в литературе революционного времени, сменились засильем дешевого декаданса и мистицизма, порнографии и «богоискательства»:

Разорваны по листику
Программки и брошюры,
То в ханжество, то в мистику
Нагие прячем шкуры.

Славься, чистое искусство
С грязным салом половым!
В нем лишь черпать мысль и чувство
Нам — ни мертвым ни живым.

Буржуазно-либеральные краснобаи, вовлеченные в революционные события 1905 года, пытались представить себя чуть ли не героями освободительного движения. Теперь же, после разгрома революции, они доказали всю свою несостоятельность и неустойчивость. Отвернувшись от борьбы, они погрузились в мистику, в созерцание «чистого» искусства и в омут порнографии. Рисуя портрет буржуазного либерала, вчера еще чувствовавшего себя «героем» освободительного движения, а сегодня растерявшегося и отказавшегося от всякого протеста, Саша Черный изображал его сладко спящим в непогоду на мягком диване, отдыхающим от... недавней суматохи:

Повернувшись спиной к обманувшей надежде
И беспомощно свесив усталый язык,
Не раздевшись, он спит в европейской одежде
И храпит, как больной паровик...

...Были яркие речи и смелые жесты,
И неполчых желаний шальной хоровод.
Я жених непришедшей прекрасной невесты,
Я больной, утомленный урод.

Отныне весь мир сосредоточен для такого либерала в его собственном «я», переживания и мелкие горести которого заслонили от него жизнь. Примирившись с торжеством реакции, он принял новую фальшивую позу «мученика», человека, «уставшего» от разочарований и якобы рухнувших надежд.

По словам одного тогдашнего критика, «когда взволнованная стихия отпрянула назад, когда на затихшем побережье те же интеллигенты, вчерашние витии и борцы, врассыпную, как раки на мели, попятились к своим старым норам, Саша Черный обиделся и вознегодовал. Гнев свой он всею тяжестью обрушил именно на рядовую интеллигентскую массу, такую блистательную вчера и такую растерянную и раскисшую сегодня». [1]

Сатирическое обличение ренегатствующей интеллигенции особенно ядовито и уничтожающе в цикле «Всем нищим духом». Герой цикла — пессимист и скептик, он мелочен и неврастеничен, целиком погружен в созерцание своего страдающего пошленького «я». Мир кажется ему безобразным домом сумасшедших:

Петр Великий! Петр Великий!
Ты один виновней всех:
Для чего на Север дикий
Занесло тебя на грех?
Восемь месяцев зима, вместо фиников — морошка.
Холод, слизь, дожди и тьма — так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой...
Негодую, негодую... Что же дальше, боже мой?!

Саша Черный высмеивает пустое времяпровождение интеллигента, его вечную болтовню и бесплодные «искания» («Культурная работа», «Искатель», «Споры», «Зеркало»). Оглянувшись в канун нового года, герой Саши Черного не может припомнить ни одного сколько-нибудь значительного события в своей жизни:

Двенадцать месяцев опять
Мы будем спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать.

У него нет даже самой «куцой» веры, а все «идеалы» давно свелись к проповеди безнадежной усталости и пессимизма:

---

[1] В. П. Кранихфельд. Литературные отклики. «Современный мир», 1910, № 5, стр. 86.

Но кто еще, как прежде,
Пойдет кутить к надежде?

Герой Саши Черного безмерно боится потерять самого себя, смешаться с миллионами «одинаковых сереньких масок» и тем самым обесцветить свою личность. Обрести индивидуальность он стремится в вульгарно понятой ницшеанской философии с ее культом «сильной личности», возвышающейся над толпой. Эгоизм и индивидуализм вместо сознания гражданского долга, увлечение мистикой и «чистым искусством», половая распущенность как средство «внутреннего освобождения» — вот к чему сводятся такие поиски («Крейцерова соната», «Песня о поле», «Ламентации», «Мы сжились с богами и сказками...»).

Другой путь — это нарочитое опрощение, отказ от культуры, отчасти характерные для индивидуалистической философии Кнута Гамсуна. Эти идеи пользовались большой популярностью в русской буржуазно-интеллигентской среде начала XX века.

Саша Черный отрицательно относился к такого рода теориям «возрождения» личности. На эту тему им написаны стихотворения «Отъезд петербуржца», «Все в штанах, скроенных одинаково...» и многие другие:

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!
Я завидую каждой отдельной букашке,
Я живу, как последний дурак! —

истерически кричит герой Саши Черного, но оказывается, что это — опять-таки поза. Поистине привлекательной ему кажется лишь спокойная и обеспеченная жизнь, да изредка — возможность пощекотать нервы очередной модной «проблемой».

Духовный упадок буржуазной интеллигенции в годы реакции особенно отчетливо выразился в том, что она безудержно потянулась к своей, казалось бы, вечной противоположности — мещанской обывательщине. Не случайно в творчестве Саши Черного такое заметное место заняла тема пошлости — самовлюбленной, наглой и самодовольно-ограниченной. Пошлость — исконный враг Саши Черного. Ее проявления он замечает и разоблачает всюду — в политике и в литературе, в любви и в быту («Гармония», «На открытии выставки», «Мухи», «Обстановочка», «В гостях» и многие другие).

Наблюдая за «худосочным, жиденьким и гадким обывате-

лем», Саша Черный признается, что ему хочется «словами свирепо-солдатскими долго и грубо ругаться». И в самом деле, для его сатирического стиля характерны нарочито резкие, подчеркнуто грубые словосочетания.

Духовное падение интеллигенции в представлении Саши Черного тесно связывалось с оживлением разного рода упадочнических течений в литературе и искусстве. Сатиры, объединенные этой темой, составили цикл «Авгиевы конюшни» (в последнем издании — «Литературный цех»). В своих пародийных сатирах поэт высмеивал «словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы» декадентов, их выспренние рассуждения о том, что писать нужно не для толпы, а для избранных, умеющих понимать туманный язык символов:

Кто не понял — невежда. К нечистому! накося — выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу...

Не менее значительна и другая группа сатир — «Юмористическая артель», «Песня сотрудников сатирического журнала», «Бодрый смех». В них поэт разоблачает еще одно порождение реакции в литературе — плоскую уличную юмористику, пришедшую на смену боевой революционной сатире 1905 года.

3

Читатель приветливо встретил первую книгу сатир Саши Черного. Несколько сочувственных откликов появилось в печати. Все критики единодушно сходились в оценке силы и оригинальности дарования Саши Черного. «Такого оригинального, смелого, свободного, буйного лирика-юмориста, такой мрачно-язвительной, комически-унылой, смешно-свирепой стихотворной маски не появлялось на российском Парнасе со времен почти что незапамятных», — писал А. Амфитеатров.[1] «Саша Черный — несомненно талантливый поэт. У него звучные стихи, удачные рифмы, живой темперамент, а главное — сердце поэта, горячее, чуткое, негодующее», — отметила Е. Колтоновская.[2] «Не всегда ровные, не всегда выдержанные, иногда даже излишне грубоватые, сатиры Саши Черного убеждают нас в том, что мы имеем дело с настоящим поэтом, овладевшим

---

[1] А. В. Амфитеатров. Записная книжка. «Одесские новости», 1910, № 8152.

[2] Е. А. Колтоновская. Критические этюды. СПб., 1912, стр. 190.

всеми тайнами стиха», — отозвался В. Кранихфельд.[1] И, наконец, интересную мысль высказал Л. Войтоловский: «Саша Черный как бы рожден актером. Природа наделила его всеми дарами, необходимыми в этой области. И прежде всего — поразительной силой перевоплощения. Он с замечательной легкостью проделал всю минорную гамму интеллигентских переживаний. В этой отрицательной чуткости — проклятие и сила его язвительной лирики».[2]

Успех книги «Сатир» критики объясняли как талантливостью поэта, так и сатирической остротой и актуальностью его творчества.

Признавая общественно-литературную ценность сатир Саши Черного, многие критики, однако, споткнулись на одной важной проблеме. Они, в большинстве случаев, не замечали разницы между высказываниями литературного героя сатир и взглядами самого автора. Вопрос этот и в самом деле был не из простых: между героем сатир и образом автора не было четкой границы. Не случайно, конечно, большинство критиков встретило книгу Саши Черного с некоторым недоумением. «У Саши Черного нет больше ни надежд, ни иллюзий, — уверял Л. Войтоловский. — Он никуда не зовет и ничего не обещает. Он лишь резюмирует собою все ничтожество своего времени». Не находя у автора никаких политических идеалов, критик делал вывод: «Иными словами, это все то же вино политического безверия, индифферентизма и политической бесхарактерности, перелитое в новенькие меха блестящего сатирического таланта».[3] А. Амфитеатров, проанализировав основные произведения Черного, задавал скептический вопрос: «Есть ли у него самого что сказать печальному веку, разложение которого он высмеивает?»[4]

И лишь в оценке В. Кранихфельда прозвучала мысль об общественной направленности сатир Черного: «При полном отрицании современности, при явно враждебном к ней отношении, он в то же время как будто до краев переполнен тем чувством здоровой жизнерадостности, которое одно таит в себе могучие ростки будущего. Современность отрицается не потому, что ей противопоставляется

---

[1] В. П. Кранихфельд. Литературные отклики. «Современный мир», 1910, № 5, стр. 84.

[2] Л. Н. Войтоловский. Литературные силуэты. «Киевская мысль», 1910, № 148.

[3] Там же.

[4] А. В. Амфитеатров. Записная книжка. «Одесские новости», 1910, № 8152.

одетое в романтический ореол прошлое, а потому, что она засорена пережитками прошлого, которые и мешают ей развить заложенные в нее возможности».[1]

Действительно, отрицание современности не было у Саши Черного пустым фразерством. И вместе с тем пассивному мещанскому недовольству своего героя поэт не мог противопоставить никакой конкретной общественной программы. Поэтому так единодушны, в сущности, были все приведенные высказывания критиков. Они совпадали в главном: в признании абстрактности гуманистических идеалов Саши Черного, в указании на отсутствие у него ясных общественных убеждений («Он никуда не зовет и ничего не обещает»).

В стихотворении «В пространство» Саша Черный откликнулся на суждения своих критиков:

В литературном прейскуранте
Я занесен на скорбный лист:
«Нельзя, мол, отказать в таланте,
Но безнадежный пессимист».

Несомненно, поэт не считал себя пессимистом. Напротив, здоровая жизнерадостность все больше пробивалась в его произведениях, но характерно, что эта душевная бодрость звучала у него в стихах чисто лирического характера, лишенных общественной проблематики.

Лирические стихотворения, пейзажные и бытовые зарисовки «с натуры» начинают занимать все большее место в творчестве Саши Черного:

Хочу отдохнуть от сатиры:
У лиры моей
Есть тихо дрожащие, легкие звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу,
Пою и в такт головою киваю.

Характерно, что второй том стихотворений Саши Черного вышел в 1913 году уже под названием «Сатиры и лирика». Тяго-

---

[1] В. П. Кранихфельд. Литературные отклики. «Современный мир», 1910, № 5, стр. 85.

тение сатирика к «чистой» лирике, конечно, было неслучайным. Со временем становилось все заметнее, что болезнь века наложила отпечаток не только на героев Саши Черного, но и на самого автора. Е. А. Колтоновская справедливо заметила, что у Саши Черного начали проявляться «те именно черты, которые он высмеивает в своем интеллигенте: неврастеничность и мелочность».[1] Если в первом цикле «Сатир» образ поэта отличен от созданной им сатирической маски, то к концу книги эти образы все больше начинают срастаться, и все чаще в лирических раздумьях Саши Черного слышится ворчливое брюзжание осмеянного им пресыщенного интеллигента.

В поэтической декларации, открывающей второй сборник Саши Черного («В пространство»), он еще воинственно утверждал свое право бичевать зло и высмеивать пошлость. Не видя в жизни ничего, кроме мрака реакции, он признавался, что «ловит минусы одни», так как «мир бурьяном зла зарос». Первый цикл нового сборника так и назывался: «Бурьян». В нем частично повторялись мотивы первой книги.

Однако появились и новые темы: трагическое противопоставление мечты поэта и окружающей действительности, размышления о своем творчестве и его значении. С горечью поэт сознавался, что «тучи реакции сползаются все гуще» и как никогда «говорят мечте цинично: нет!». Поэтому сатирическая струя его поэзии в сборнике «Сатиры и лирика» приобрела саркастический оттенок. Обращаясь к киевским медичкам в стихотворении «Бодрый смех», Саша Черный писал о том, как много вокруг подлости и пресмыкательства, казнокрадов-патриотов, разнузданных интеллигентов, повторяющих: «чем хуже, тем лучше». Все это не позволяло ему оставаться беззаботным и веселым юмористом: желчь преобладает в его стихах, а смех заглушается злостью.

Еще отчетливее эта мысль выражена в стихотворении «Книжный клоп, давясь от злобы...»:

Кто не глух, тот сам расслышит,
Сам расслышит вновь и вновь,
Что под ненавистью дышит
Оскорбленная любовь.

С желчным, язвительным смехом издевался Саша Черный над засильем религиозно-пропагандистских лекций («Бирюльки»),

---

[1] Е. А. Колтоновская. Критические этюды. СПб., 1912, стр. 198.

над пошлостью обывательского мирка («В Пассаже», «Праздник», «Русское»), над вывертами модернизма в искусстве («Трагедия», «Рождение футуризма»).

Эти же чувства побудили поэта создать цикл «Горький мед», в котором развенчивается мещанская любовь. Здесь опять кое-где мелькает знакомая читателю маска интеллигентного обывателя. Нищета его духа показана в области интимнейших человеческих отношений. Оказывается, что в любви он такой же духовный банкрот, как и в политике, как и в искусстве («Страшная история», «Так себе», «Прекрасный Иосиф», «Наконец»). «Разрешитель проблем мировых» выродился в пошляка-обывателя — вот основной вывод цикла «Горький мед».

По замыслу Саши Черного тесно связана с «Горьким медом» группа стихотворений, объединенная под заглавием «У немцев». Эти стихи были напечатаны одновременно с сатирами «Горького меда» — в 1910—1911 годах, хотя в основу их легли впечатления, полученные Сашей Черным в Германии в 1906—1907 годах. Поэта возмущает узость филистерской морали, торговля народной славой на могилах Шиллера и Гёте, скучное, казарменное однообразие жизни немецких обывателей. Подводя итог длительного обзора человеческой пошлости, Саша Черный разоблачает ее внешнюю приличность, показывая глубины мещанского сердца и мещанской души («Факт», «Корпоранты», «Философы»).

Итак, во всех сатирах двух своих сборников Саша Черный отрицает и высмеивает современную ему обывательщину в разных сферах политической, общественной и частной жизни. Развенчивая русского буржуазного интеллигента или немецкого филистера, он сделал посмешищем «его печали и радости, его измены, объятия, поцелуи и дружбу, его притворство, пороки и добродетели, и тупое веселье, и ночные похождения в харчевнях и публичных домах, и холодную, мертвую, беспробудную лень».[1]

Что же мог противопоставить Саша Черный своему отрицанию? В «Сатирах и лирике» поэт не только поставил этот вопрос, но и попытался разрешить его. Все чаще возникала у него мысль, что бесплодна та критика общественных нравов, которой он отдает всего себя:

Сорвавши белые перчатки
И корчась в гуще жития,

---

[1] Л. Н. Войтоловский. Саша Черный. «Киевская мысль», 1911, № 327.

Упорно правлю опечатки
В безумной книге бытия.

В поэзии Саши Черного возникает мотив усталости. Насмотревшись на бесконечную мерзость обывательской жизни, поэт хочет уйти подальше от людей, «жить на вершине голой» или уснуть и «проснуться лет чрез сто» («Два желания»).

Это был своего рода кризис в творчестве Саши Черного. Отчаявшись исправить зло мира, он пытается, теперь уже на новом этапе, найти свою положительную программу. Одна из таких попыток выразилась в стремлении поэта как-то приобщиться к жизни народа.

Лето 1910 года Саша Черный провел в Заозерье. Свои впечатления он выразил в стихах «Северные сумерки», «Пища», «В деревне». Его радуют теплая приветливость и добродушие крестьян, восхищает ширь полей, красота лесов. Но на этом фоне еще больше поражает поэта нищета и темное бескультурье крестьянской жизни. Жестоки правдивые образы, созданные Сашей Черным: серая изба «с очами тифозного сфинкса», «пьяный, беззубый забор» вкруг огорода, «рахитичная вороная», на которой пашет мужик, чтобы добыть «пищу» для господ:

Я спросил у мужичонки:
«Вам приятен этот труд?»
Мужичок ответил тонко:
«Ваша милость пожуют» —

так иронически рассказывает Саша Черный о своей неумелой попытке найти общий язык с крестьянином. Поэт болезненно чувствует, что от этих людей, называющих его барином, его и в самом деле отделяет целая пропасть.

В 1911 году Саша Черный совершил другую поездку в деревню. Она подробно описана им в рассказе «Первое знакомство»[1] и отразилась в некоторых стихотворениях. Стараясь проникнуть в мысли и чувства крестьян, поэт все же, по собственному признанию, не выдерживает «скуки» и «консерватизма» деревенской жизни. Попытка общения с народом не удалась: поэт не видел, с какой стороны подойти к мужику, не знал его настоящих интересов, его жизни.

---

[1] См. сборник «Земля», кн. 8. М., 1912.

Что же оставалось в положительной программе Саши Черного? Свои верования он попытался сформулировать в стихотворении «Больному»:

Есть горячее солнце, наивные дети,
Драгоценная радость мелодий и книг.
Если нет — то ведь были, ведь были на свете
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ.

Есть незримое творчество в каждом мгновеньи —
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь творцом! Созидай золотые мгновенья —
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз.

Под влиянием этих мыслей Саша Черный создал цикл радостных, прочувствованных стихотворений о природе и детях («Иные струны», а позднее — «Хмель»). Здесь поэт любуется жизнью, солнцем, нехитрыми радостями бытия; он признается, что в душе его растаял «лед скептического зелья». В общении с природой, детьми и искусством находил он истинную радость и красоту.

Все это было не ново. Абстрактно-гуманистические идеалы Саши Черного всегда были далеки от конкретных задач освободительного движения. Абстрактность положительных идеалов поэта связывает его творчество с идеологией буржуазной интеллигенции, которую он сам же предавал анафеме и осмеянию. В стихотворении «Больному», призывая своего героя не уходить из жизни, поддавшись мгновенному пессимизму, он пишет:

Оставайся! Так мало здесь чутких и честных...
Оставайся! Лишь в них оправданье земли.
Адресов я не знаю — ищи неизвестных,
Как и ты, неподвижно лежащих в пыли.

Это откровенное и горькое признание: «Адресов я не знаю» — говорило о наметившемся разрыве Саши Черного с передовым общественным движением. Он сам заблудился в потемках столыпинской реакции, сам утратил веру в будущее, не видел сил, способных изменить жизнь.

К 1914 году Саша Черный оказался на пороге духовного и идейного кризиса. Его мысли и переживания отразились в наибо-

лее крупном произведении того периода — поэме «Ной».[1] Перелагая библейскую легенду о всемирном потопе, Саша Черный изложил свои размышления о судьбах современного ему поколения людей. По замыслу автора всемирный потоп должен был олицетворять революционную стихию, а ковчег Ноя — символизировать обновление жизни. Бог послал людям за их преступления и грехи священное бедствие — всемирный потоп, чтобы очистить землю для новой, прекрасной жизни. Но в ковчеге Ноя — этой клетке будущего мира, из которой должны были развиться лучшие поколения людей, — уже зарождаются все пороки и преступные страсти старого мира: зависть жен, разврат, свирепая злоба Хама, измена Иафета и скопидомство алчного Сима. При виде всего этого, в порыве отчаяния, Ной решает уничтожить ковчег той же самой секирой, которой некогда строил его. Образ Ноя в изображении Саши Черного является воплощением высшей мудрости и справедливости. И вместе с тем в нем поэт выразил существенные черты своего мироощущения — чувство одиночества и безнадежности. По его мнению, люди так злы и порочны, что их не исправишь никакими социальными переворотами. Моря крови ничему не научили людей: жестокие остались жестокими, а кроткие вечно будут страдать «в ярме под свистящим бичом». Центральная идея поэмы — утверждение бесплодности каких бы то ни было перемен в человеческом обществе. Философия безнадежного пессимизма пронизывает это произведение от начала до конца. Правда, она несколько смягчается финалом поэмы: крик проснувшегося ребенка прерывает тягостные мысли Ноя. Нетленная, туманная надежда на далекое и прекрасное будущее, которое, может быть, когда-нибудь увидит плывущий в ковчеге ребенок, удерживает его от решения пустить ковчег ко дну.

Финал поэмы со всей очевидностью обнажил незрелость мировоззрения Саши Черного накануне первой мировой войны. Оторванный от народа и его освободительной борьбы, поэт не верил в возможность создания нового общества на обломках старого. Слишком велики в его глазах были силы зла, чтобы их могла смести с лица земли даже мощная революционная стихия. Лучшее будущее представлялось ему очень далеким, почти сказочной мечтой. В свете этой социальной психологии становится понятной та роль, которую в творчестве поэта стала играть детская тема. Своеобразный мир детских чувств и переживаний с его нравственной чистотой и светлой наивностью, свежестью и яркостью ощущений стал не только

[1] Альманах «Шиповник», кн. 23. СПб., 1914.

важной областью творчества Саши Черного, но и воплотил его эстетическии идеал прекрасного «естественного» человека, человека будущего, свободного от пороков буржуазного общества. В этой теме, таким образом, нашел логическое завершение абстрактный гуманизм Саши Черного, тесно связанный с идеями социального пессимизма.

4

Ко времени выхода в свет второй книги «Сатиры и лирика» в жизни Саши Черного произошли события, способствовавшие углублению его душевного кризиса. Уже в 1909 году наметился конфликт с редакцией «Сатирикона». Журнал все больше мельчал, приобретая облик юмористического, а не сатирического издания. К этому добавилось и недовольство внутриредакционным положением. В апреле 1909 года Саша Черный писал сотруднику «Сатирикона» К. Р. Миллю: «Остальные ваши вещи, кроме «О г-не Пустозвоне», которая уже пошла, по справке у г. Аверченко <редактора «Сатирикона»>, «не подошли». Между нами говоря, удивительного в этом ничего нет: г. Аверченко сам так много пишет, что для стороннего материала, даже самого интересного, нет просто места. De facto — ему приходится редактировать главным образом свои собственные произведения, и говорить нечего, что каждая строка, написанная им, будет всунута в номер... Думаю, что для Вас это не новость».[1]

В 1911 году положение Саши Черного в «Сатириконе» еще более осложнилось. «Я почти задыхаюсь, но держусь крепко до весны, — опять писал он К. Р. Миллю. — С весны я больше не „сатириконец“».[2] И, наконец, сообщил ему же 17 апреля 1911 года: «От «Сатирикона» я эмансипировался, стихотворение «Колумбово яйцо» — последнее! Ура и — „Вперед, без страха и сомненья!“»[3]

Решив «эмансипироваться» от «Сатирикона», Саша Черный еще с 1909 года ищет возможности сотрудничать в других периодических изданиях. Некоторое время он ведет отдел «Маленький фельетон» в только что открывшейся газете «Новый день» и помещает в ней политические сатиры «Там внутри», «Невольное при-

---

[1] Архив К. Р. Милля. Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома); в дальнейшем обозначается сокращенно: ПД.

[2] ПД, архив К. Р. Милля.

[3] Там же.

знание», «Всё то же» и другие. С начала 1910 года он становится постоянным сотрудником журнала «Современный мир», где, однако, помещает лишь лирические стихотворения («У Балтийского моря», «В чаще», «Дождь», «Томление»).

Саша Черный сотрудничает также в провинциальной прессе: с середины 1910 года его стихотворения периодически появляются в газетах «Киевская мысль» и «Одесские новости».[1]

С ноября 1910 года в Петербурге стал выходить литературно-художественный журнал «Солнце России», в котором с первых же номеров публикуются стихотворения Саши Черного, а позднее и его рассказы. Направление журнала было безобидно-развлекательным, и поэт должен был к этому приноравливаться. «Там всё просят попроще», — писал Черный К. Р. Миллю о редакции «Солнца России».[2] Действительно, если просмотреть последовательно появлявшиеся в журнале произведения самого Черного, не трудно заметить, как снижается их идейный и художественный уровень, как сатира подменяется бытовыми зарисовками («Три тактики», «Два сюртука», «Летнее») или легковесными юморесками («Страшная ошибка», «Глаза», «Из самонаблюдений одной музыкальной натуры»).

Это вынужденное приспособление к запросам развлекательной журналистики причиняет поэту много огорчений. Пытаясь найти подходящий для себя литературный орган, он отдает стихи во многие издания, однако почти сейчас же отказывается от сотрудничества.[3] Несколько более прочной оказалась связь с редакцией альманаха «Шиповник», где он в 1910 году помещает стихотворения «Прекрасный Иосиф» и «На пчельнике». Приблизительно в то же время он пытается устроиться в качестве «гастролера» в большой газете «Русское слово» («Очень было бы хорошо, ибо толстые журналы ничего, кроме чести, не приносят»).[4] И, наконец, в начале 1911 года Черный соглашается сотрудничать в журнале А. В. Амфитеатрова «Современник», где на первых порах помещал свои произведения М. Горький.

---

[1] Все прочие произведения в «Далекой окраине», «Омском вестнике», «Восточной заре», «Сибирской мысли» и «Рыбинском вестнике», подписанные псевдонимом «Саша Черный», принадлежат Александру Васильевичу Соколову (см. «Необходимое разъяснение» в «Сатириконе», 1910, № 51, стр. 6).

[2] ПД, архив К. Р. Милля.

[3] Так, во «Всеобщем журнале» (выходил с декабря 1910 г.) появляется всего лишь одно его стихотворение «Из психологии творчества».

[4] ПД, собрание А. Е. Бурцева.

В «Современнике» был заведен постоянный сатирический отдел «Сверчок», одним из участников которого явился Саша Черный. Большинство сатир «Сверчка» появлялось без подписи, поэтому часто невозможно выделить среди них произведения Саши Черного. Но его меткая и злая ирония явственно слышится во многих поэтических и прозаических разделах «Сверчка». «Сверчок» не ограничивался шаржами на литераторов и художников («Профан», «Наивные слова»), с третьего номера в журнале начинают появляться политические пародии. Наиболее удачными из них были сатирические отчеты о заседаниях III Государственной думы в ноябре 1911 года.

Все это были лишь небольшие крупицы сатиры, в целом же журнал становился все более безликим. Вскоре после заявления М. Горького о выходе из «Современника» отказывается от работы в нем и Саша Черный.

Опять начинается хождение по редакциям толстых журналов. В «Русском богатстве» отказываются принять лирические стихи поэта, сославшись на то, что в них изображен не русский, а немецкий пейзаж; срывается издание нового журнала «Колос ржи», куда Саша Черный послал свое стихотворение «Летом»,[1] и, наконец, назревает разрыв с «Современным миром».

Из переписки Саши Черного с одним из редакторов «Современного мира» В. П. Кранихфельдом видно, в каком тягостном положении очутился поэт к концу 1912 года. «Все у меня незадача с «Современным миром», — жалуется он в одном из писем, — многого даже не пойму. Говорил о сатире, — нельзя, традиция не позволяет, потом решили, что одно стихотворение не определяет лица автора, нужен «цикл». Потом решили, что «цикл» — слишком много и не надо вовсе «сатиры». С юмором (в стихах) то же: юмор причислен ко второму сорту поэзии, но юмор в прозе почему-то в журнале допустим. Переводов из Гейне тоже нельзя, хотя некоторые старые переводы оскорбительны по безграмотности».[2]

Обещание редакции как-то наладить сатирический отдел журнала не осуществилось. Оставалось одно — «лирические описания четырех времен года», как грустно заметил Саша Черный. Однако и здесь его постигла неудача: вернули стихотворение «Зирэ», в котором усмотрели «личный элемент».

---

[1] См. его письмо к П. И. Карпову. Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

[2] ПД, архив В. П. Кранихфельда.

Возмущенный поэт упрекает редакцию «Современного мира» в том, что она «исключает из поэзии как раз тот элемент, который составляет и всегда составлял душу поэзии. Откиньте его, и что останется от лирики: пейзажи четырех времен года и географическая поэзия описаний... Как развернуться дарованию индивидуально и полно, когда будут ставить ему рогатки и признавать в нем только то, что звучит «как у всех»? Ведь это к «благонамеренности» стиля какой-то сведется, зачем тогда и писать?» [1]

Саша Черный упорно борется за то, чтобы оставаться в журнале самим собой, но все больше убеждается, что это невозможно. Теперь он считает, что заниматься в тысячный раз разоблачением кадетов и пуришкевичей — это значит топтаться на месте. «Не в кадетах и не в Пуришкевиче же дело в конце концов, — пишет он Кранихфельду в октябре 1912 года. — Такие мотивы тем более меня удивили, что когда шла речь о широких общественных и литературных темах, мне ответили отказом (неоднократным). Неужели обличение Пуришкевича более к лицу «толстому» журналу?» [2]

В 1912 году Саша Черный решил уехать за границу, в Италию. Лето он провел на Капри, в дружной компании художников и литераторов, постоянно общаясь с А. М. Горьким, который писал М. М. Коцюбинскому, что мрачный и желчный сатирик Саша Черный «оказался очень скромным, милым и умным человеком». [3] В другом письме Горький отзывался о нем в таких выражениях: «...это скромный, серьезный и приятный человек. Он гораздо интереснее и талантливее своих двух книжек и кажется мне способным написать превосходные вещи. Задачи у него — чудесные, и это настоящий литератор, с большой любовью к делу. Я — рад, конечно». [4] Об этом времени поэт впоследствии вспоминал с большой теплотой (см. стихотворение «Литераторы на Капри» и серию лирических стихотворений, созданных там же).

В это лето на Капри много говорилось о реорганизации журнала «Современник», руководство которым от А. В. Амфитеатрова перешло к Е. А. Ляцкому. С осени 1912 года Горький пытался изменить направление журнала; одним из методов оживления «Современника» он считал создание хорошего отдела юмора и сатиры.

---

[1] ПД, архив В. П. Кранихфельда.
[2] Там же.
[3] А. М. Горький. Собрание сочинений, т. 29. М., 1955, стр. 253.
[4] «Архив А. М. Горького», т. 7. М., 1959, стр. 111—113, 206.

По замыслу Горького сатира должна была касаться важных общественных и политических вопросов. Так, он писал в тот период начинающему фельетонисту Н. Иванову: «Позвольте предложить Вам попробовать Ваши силы на серьезной общественной и политической сатире. Желательно иметь небольшие очерки, которые могли бы печататься в отделе юмора и сатиры журнала «Современник», который ныне реформируется».[1]

Нужно думать, что с программой новой редакции был знаком и Саша Черный. Уже в декабрьском номере «Современника» были помещены три его стихотворения: «Бездарность» и «Обыкновеннейшая история» (в разделе сатиры) и лирическое стихотворение «Летом». В первом номере обновленного журнала за 1913 год появились еще две сатиры Черного, написанные на злобу дня. В одной из них («Дежурное блюдо») автор протестовал против недостойного смакования в прессе многочисленных случаев самоубийств, а другая была посвящена разоблачению новомодных течений в живописи. Всевозможные «измы», претендующие на новаторство в искусстве, вызывали у сатирика резкий протест.

Стихотворные циклы Саши Черного продолжали и в дальнейшем появляться в «Современнике» («Проект», «Раздавателю венков», «Табу», «Непоследовательность» и другие). Однако «Современник» не оправдал надежд, возлагавшихся на него передовыми литераторами. С мая 1913 года Горький перестал сотрудничать в «Современнике»; тогда же на страницах журнала появилось и последнее произведение Саши Черного — «Элегическая сатира в прозе».

В 1913 году поэт вновь попытался наладить связь с «Русским богатством». Об этом свидетельствует сохранившееся в архиве журнала письмо Саши Черного, датированное 1913 годом: «Очень прошу редакцию сообщить мне о судьбе посылаемых стихотворений. А. Черный — прежде Саша Черный».[2] Речь, по-видимому, шла о стихотворениях цикла «В деревне», появившихся в первом номере «Русского богатства» за 1914 год. В том же году Саша Черный думал об участии в журнале «Северные записки», предполагая послать туда один из своих рассказов.[3]

Уйдя из «Современника», поэт в течение нескольких месяцев помещал свои стихи в новой газете «Русская молва». Здесь по-

---

[1] А. М. Горький. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1934, стр. 278.

[2] ПД, архив «Русского богатства».

[3] См. письмо к Л. Я. Гуревич в ПД.

явились его злободневные шаржи («Упущение», «Правила для родителей», «Новая славянская песня»), а также несколько лирических и бытовых стихотворений.

К 1914 году Саша Черный все чаще задумывается о необходимости расширить рамки своего творчества. Он выступает и как прозаик, и как переводчик, и как детский писатель.

На страницах журналов и раньше появлялись небольшие рассказы, литературные пародии, политические памфлеты Саши Черного (в «Зрителе»: «Вечер юмора», «Бюджет холостого чиновника», «Как студент съел свой ключ» и другие; в «Сатириконе»: «Ауто-да-фе», «Присуждение пушкинских премий в 1911 году», «Обратно» и т. д.). Но в период разрыва с «Сатириконом» он всерьез обращается к прозаическому творчеству. Первой крупной работой его в этой области явился рассказ «Люди летом», опубликованный в «Современном мире» (1910, № 9). В 1912 году в сборнике «Земля» был напечатан рассказ «Первое знакомство», а в 1914 году появилось еще несколько рассказов — «Друг», «Храбрая женщина» и другие (в «Солнце России») и «Мирцль» (в «Русской мысли»).

Рассказы в большинстве были мелкотемными и не поднимались над уровнем безобидно-развлекательной литературной продукции. Лишь последний представлял собой опыт психологической прозы. Героиня рассказа — певичка из немецкого варьете Мирцль — влюбляется в русского студента и надеется связать с ним свою жизнь. Рухнувшие мечты она оплакивает во взволнованном лирическом письме, написанном после разлуки с любимым (отсюда первоначальное заглавие рассказа — «Письмо Мирцль»). «Я немного задержал «Письмо Мирцль», — сообщил Черный в редакцию «Русской мысли», — простите, но очень было мне трудно. Немного это не мое дело женские письма писать, и, ей-богу, больше никогда не буду».[1] Как видно, работа в области прозы на этом этапе тоже не принесла писателю внутреннего удовлетворения.

Другой попыткой найти новые пути в творчестве явились произведения для детей. В 1911 году Саша Черный написал свое первое детское стихотворение «Костер». За ним последовали другие: «Трубочист», «Летом», «Бобина лошадка», «Поезд» и т. д.[2] В 1912 году, по инициативе Горького, приступили к выпуску сборника «Голубая книжка», куда вошли сказки и песенки для де-

---

[1] ПД.

[2] В 1913 году некоторые из них были включены в небольшой сборник Саши Черного «Тук-тук!».

тей. Здесь впервые Саша Черный показал себя мастером детской прозы, создав увлекательную сказку «Красный камешек», где были описаны забавные прогулки по саду маленького мальчика, неожиданно получившего дар понимать птичьи и звериные разговоры. В том же году он принял участие в детском альманахе «Жар-птица» (под редакцией К. И. Чуковского). Поэт хорошо видит то, что по-настоящему интересует ребят, и, не рисуясь, сам живет их маленькими печалями и радостями. Должно быть, поэтому так умело и тонко воспроизводит он разговоры и игры детей, их нехитрые забавы («Поезд», «Приставалка», «На коньках»).

В 1913—1914 годах Саша Черный создал одно из наиболее значительных своих произведений в этом роде — «Детскую азбуку», художественное пособие для обучения детей грамоте.

В 1917 году Саша Черный сотрудничал в журнале «Для детей» (выходил в качестве приложения к «Ниве»). И все же в целом творчество его как детского писателя развернулось главным образом после революции.

К последним предреволюционным годам относится и переводческая деятельность Саши Черного. Серьезно заниматься переводами немецких классиков он начал с 1911 года, хотя еще в начале своего творческого пути переводил стихотворения Л. Фульда и К. Генкеля. В апреле 1911 года Саша Черный писал К. Р. Миллю: «Для упражнений в немецком языке и для отдыха головы, сердца и пр. — сажусь теперь за переводы немецких юмористов (и я тоже!)».[1]

Первым из «немецких юмористов» был самый любимый поэт Саши Черного — Генрих Гейне. Часть его переводов из Гейне была опубликована тогда же в «Сатириконе» и «Киевской мысли», а в конце года они были собраны в учебном пособии по иностранной литературе: «Генрих Гейне. Книга песен. Избранные стихотворения», вышедшем под редакцией Саши Черного. Некоторые из них (всего пять) поэт включил в состав сборника «Сатиры и лирика» (1913).

Приблизительно в те же годы Саша Черный подготовил к печати сборник избранных произведений другого немецкого юмориста, Сафира («Избранные рассказы Сафира» под редакцией Черного вышли в свет в 1912 году). В 1912—1913 годах он перевел несколько стихотворений Рихарда Деммеля, Грилльпарцера, Лилиенкрона, а также рассказ Кнута Гамсуна «В клинике» («Русская молва», 1913, № 158).

---

[1] ПД, архив К. Р. Милля.

Лето 1914 года было последним спокойным периодом в жизни Черного. Он жил в Шмецке (Усть-Нарова) и писал оттуда Л. Я. Гуревич: «Здесь очень тихо, зелено, стихи выползают из каждой кочки, но лень писать».[1] Первая мировая война застала его врасплох — в хаосе мыслей, без каких-либо прочных связей с литературной средой.

Вихрь событий подхватил Сашу Черного: он добровольцем ушел на фронт.

До конца войны поэт сражался на передовой. Ему было тогда не до стихов. В годы войны имя Саши Черного не появлялось на страницах печати. Только в журнале «Русская мысль» под общим заглавием «В снегах» были опубликованы его старые стихотворения («На пруду», «Сумерки», «Белая колыбель»). Однако военная тема оставила заметный след в творчестве Саши Черного. В 1922 году, готовя к печати сборник «Жажда», поэт привел в порядок свои фронтовые записи и объединил все созданные им за эти годы стихи в цикле «Война». Стихотворениям Саши Черного о войне совершенно чужд воинственный пафос и угар шовинизма, охвативший многих русских поэтов из круга символистов и акмеистов. Война в стихах Черного показана во всей ее неприглядности и жестокости. Окопную грязь, бессмысленный ужас кровавой бойни, развал фронтов и позор отступления — все это Черный испытал на себе. В его произведениях развертываются перед читателем впечатляющие по своей реалистичности картины тяжелого фронтового быта.

Цикл «Война» с полным правом можно назвать «Будни войны». Это подчеркнуто даже названиями его произведений: «Привал», «Пленные», «В операционной», «В штабе ночью», «Отступление». Но в этих серых буднях Саша Черный сумел подметить и передать волнующую теплоту человеческого чувства («Письмо из дома», «Сестра», «Чужая квартира»). В цикле «Война» раскрывается новая сторона дарования Черного: здесь он выступает не как сатирик, а как спокойный и трезвый наблюдатель. Пожалуй, лишь в двух стихотворениях цикла, «В штабе ночью» и «Ревизия», звучит голос прежнего насмешливого и злого поэта-карикатуриста.

На этом обрывается дореволюционный период его творчества. Как мы уже знаем, к революции Саша Черный пришел в состоянии душевного надлома. Идеи социального пессимизма, получившие особенно благодарную почву в трудные годы реакции, оказали на него слишком глубокое влияние.

---

[1] ПД.

5

Как и многие представители буржуазной интеллигенции, Саша Черный не понял и не принял Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Растерявшийся, не нашедший себе места в новой действительности, в 1920 году он эмигрировал — вначале в Литву, а потом переехал в Берлин. Начинается третий период его творчества — сложный и тяжелый, исполненный глубоких противоречий.

С первых же дней эмиграции поэт больно переживал свою оторванность от родины. До самой смерти он так и не почувствовал себя «своим» под чужим небом, под чужим солнцем. «И холмы, и дорога, и скамья, и стол, и закат» — все кажется ему холодным, чужим; чувство оторванности от родины тесно сплетается с ощущением безысходной тоски и одиночества. Образ России постоянно присутствует в лирике Черного («Платан», «Черный дрозд» и другие). Картины русской жизни расцветают в воображении поэта далекими и прекрасными «миражами».

Очутившись за рубежом, Саша Черный, как и раньше, оставался «сам по себе». Он не примкнул ни к одной из сложившихся в эмиграции политических группировок. Правда, некоторое время поэт сотрудничал в правокадетской газете «Руль», занимавшей злобную антисоветскую позицию. Но даже там для него были характерны такие стихотворения, как «Голос обывателя» или «Эмигрантское». В первом из них было выражено действительно обывательское отношение к революции, свойственное в тот период самому Черному, а во втором — высказано желание отмежеваться от всяких политических программ и направлений и жить Робинзоном на тихом необитаемом острове. Это «робинзонство» стало одной из самых характерных черт последнего периода творчества поэта.

В годы эмиграции, особенно в первые пять лет, Саша Черный обращается преимущественно к детской тематике. Первым эмигрантским журналом, в который послал свои произведения Саша Черный, был детский журнал «Зеленая палочка». Он выходил в Париже в 1920—1921 годах при участии таких крупных писателей, как А. И. Куприн, И. А. Бунин, А. Н. Толстой. Саша Черный помещал в «Зеленой палочке» свои стихи и рассказы («Рождественское», «Пещера храбрых», «В саду», «Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях»). В то же время он участвовал в издании детского сборника «Колокольчики» (Юрьев, 1921), а

также редактировал несколько томов серии избранных произведений русских классиков для детей. [1]

Самым значительным произведением Черного в эти годы явилась большая книга детских стихотворений, изданная в Данциге в 1921 году. Книга носила знаменательное название — «Детский остров». «Саша Черный, — отмечали в печати, — спрятался на время на детский остров и сам стал ребенком, ребенком, который и прост и ясен, и не умеет еще болеть взрослыми болями». [2] В сборник вошли почти все детские стихотворения, написанные Черным до 1921 года и сгруппированные в три цикла: «Веселые глазки», «Зверюшки», «Песенки».

«Книжка удалась автору, — писал рецензент «Русской книги», — она подлинно детская, не надуманная, не вымученная, светлая, добрая, ласковая, такая нечаянная радость. Самый придирчивый взгляд не подметит в ней ни одного деланного жеста, ни одного пусто звучащего слова: детский мирок полно отразился в ней, нетронутый и свой, особенный». [3]

Успех этой книги способствовал дальнейшей работе Черного в области детской литературы. В 1922 году он выпустил составленный им сборник «Радуга», куда вошли лучшие произведения, созданные русскими классиками для детей. В том же году поэт написал пьеску «Возвращение Робинзона», опубликовал небольшой сборник стихов «Вспомни», сказку «Первый грех» и рассказ «Наша Ганя» (в сборнике «Цветень»). В следующем, 1923 году, вышли его переводы волшебных сказок: «Маленький король» Ф. Остини, «Гелокандр» В. Руланда, «Волшебный соловей» Р. Демеля. Появилось и новое издание популярной «Живой абзуки».

Однако творческая деятельность Черного в эти годы не ограничивалась детскими произведениями. Он сотрудничал в ряде эмигрантских изданий — в литературно-художественных журналах «Сполохи» (Берлин, 1921—1923), «Жар-птица» (Берлин — Париж, 1921—1925), «Воля России» (Прага), в разных газетах и альманахах. Кроме того, он подготовил новое, расширенное издание «Сатир и лирики» (книга первая — «Сатиры» — вышла в начале 1922 года, книга вторая — «Сатиры и лирика» — в середине того же года).

---

[1] В 1921—1922 годах под его редакцией вышли сочинения Тургенева, Жуковского и Чехова.

[2] — в. Саша Черный. «Детский остров». «Русская книга», 1921, № 2, стр. 10.

[3] Там же.

Новое издание свидетельствовало о большой редакционной работе, проделанной автором: многие циклы были перестроены, дополнены стихотворениями, написанными после 1913 года, и даже переименованы. Приноравливаясь к новым условиям, Саша Черный исключил из книги наиболее острые политические сатиры, изъял шаржи из цикла «У немцев». Все же, по-видимому, и в таком виде издать свои книги удалось ему с большим трудом. Третья книга, под названием «Жажда», вышла в свет в Берлине в 1923 году уже как «издание автора».

«Жажда» подвела итог первых лет эмигрантской жизни Саши Черного. Название сборника звучало символически. Поэт говорил о трудной и горестной судьбе эмигрантов под «чужим солнцем». Прежний мир, безвозвратно потерянный ими, окрашивался в стихах Черного поэтическим ореолом мечты, безумной жаждой вновь обрести родину — но не новую Россию, которой поэт не знал, а старую. Теперь, когда пройдены многие дороги, а позади «отгремел девятый вал», прошлое кажется Черному дорогим и милым:

О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это всё, что здесь мы сберегли...
И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли... —

писал Саша Черный во вступлении к циклу «Русская Помпея».

Поэтому сплошь и рядом он впадает в идеализацию прошлого, и даже многое из того, что он раньше осмеивал, становится теперь предметом его любования. Таковы сценки старой России в сборнике «Жажда» — весна на Крестовском в Петербурге, гостиный двор в Пскове, полтавский садик и т. д. Тогда же Черный написал первую редакцию поэмы «Дом над Великой».[1] Действие поэмы происходит в Пскове в годы первой мировой войны, но сюжет играет в ней второстепенную роль. Главное для автора — детальное описание мелочей русского быта, любование этими мелочами. На это указывает и подзаголовок поэмы («Картины из русской жизни»), и откровенно сформулированная мысль автора:

---

[1] В 1928 году Черный вернулся к работе над поэмой; несколько отрывков ее второй редакции были опубликованы в газете «Последние новости».

Любой пустяк из прежних дней
Так ненасытно мил и чуден...
В базарной миске средь сеней
На табурете стынет студень.
Янтарно-жирный ободок
Дрожит морщинистою пленкой,
Как застывающий прудок
Под хрупкой корочкою тонкой...

К 1924 году круг литературной деятельности Саши Черного сильно сузился. Запас старых сюжетов и тем иссякал, многие образы зачеркнула жизнь, иные потускнели вдали от родной почвы. Духовное банкротство эмигрантской литературы стало особенно ощутимо. В Берлине одно за другим закрывались русские издательства, прекратились почти все приемлемые для Черного журналы и газеты.

В 1924 году Саша Черный уехал из Берлина. Последним его произведением, созданным в Германии, была детская книжка «Сон профессора Патрашкина», в увлекательной форме повествовавшая о фантастических приключениях уснувшего профессора.

Вначале Черный перебрался в Рим, где написал цикл стихотворений, навеянных римскими впечатлениями. Позднее они были частично опубликованы под общим заглавием «Из римской тетради»; намерение поэта издать их отдельной книгой так и не осуществилось.

В конце 1924 года Саша Черный уехал во Францию и поселился в Париже. А. И. Куприн писал впоследствии: «Я помню, как Александр Михайлович Гликберг приехал из Берлина в Париж. Ох, уж это время! — неумолимый парикмахер. В Петербурге я видел его настоящим брюнетом, с блестящими черными непослушными волосами, а теперь передо мной стоял настоящий Саша Белый, весь украшенный серебряной сединой. Я помню его тогдашние слова, сказанные с покорной улыбкой: «Какой же я теперь Саша Черный? Придется себя называть поневоле уже не Сашей, а Александром Черным». Так он и стал подписываться: А. Черный».[1]

В Париже А. Черный пережил некоторый творческий подъем. По мере сил и возможностей он пытался бороться против денационализации русской эмигрантской литературы. Его возмущало пресмыкательство эмигрантских литераторов, с готовностью отка-

[1] А. Куприн. Саша Черный. «Возрождение», 1932, № 2625.

зывающихся ради «хлеба насущного» от русского языка, от русской культуры, да и вообще от принадлежности к русской нации. «Не потрафляй, даже если ты можешь рассчитывать на восемнадцать изданий», — писал он когда-то.[1] Это осталось его твердым убеждением. Потеряв всякую связь с родиной, он настойчиво напоминал своими произведениями: «помните о России», «любите Россию!». Сашу Черного беспокоило, что дети русских эмигрантов растут вне родной культуры, не зная и не любя ее. Ежегодно участвуя в праздновании «Дня русской культуры», он обращался ко всем русским писателям с призывом прививать детям любовь к родной стране и ее культуре.[2]

С той же целью А. Черный организовал в 1928 году выпуск альманаха для юношества «Русская земля». Задачей редакции было — рассказать детям эмигрантов о России и ее великих людях: Ломоносове, Пушкине, Петре I (стихи И. А. Бунина, «Завирайка» А. И. Куприна, «Ломоносов-отрок» А. Черного и т. д.). Характерно стремление А. Черного заинтересовать детей произведениями русского народного творчества. «Как народное зодчество и обиходное кустарное искусство, как народные напевы, так и художественное слово — народная русская лирика — образуют единый круг бесценной русской Красоты», — писал он в предисловии к помещенным в сборнике историческим песням о Петре I.[3]

В 1928—1929 годах А. Черный принимал участие в подготовке изданий для детей русских народных сказок и песен. Сам он в середине 1929 года издал в Белграде две новые книги: «Серебряная елка» (для детей младшего школьного возраста) и «Румяная книжка» (для детей среднего возраста). К этому времени появилось еще несколько книг Черного, предназначенных для детского чтения: «Дневник фокса Микки», рассказ «Кошачья санатория» (1928), большая повесть «Чудесное лето» (1929).[4]

---

[1] С — а Ч. Наивные слова. «Современник», 1911, № 2.

[2] См. его статью «Наши дети» в приложении к «Возрождению», 1927, № 736.

[3] «Русская земля». Париж, 1928, стр. 82.

[4] «Рассказывая о замысле этого произведения, Черный писал: «В повести «Чудесное лето», помимо внешних событий и приключений, меня занимала внутренняя, как бы подводная ее тема: захотелось вырвать эмигрантского мальчика, совсем еще детеныша, из городской квартирной клетки, освободить его от эмигрантских будней, среди которых всякое детство гаснет... Лето в усадьбе под Парижем и месяц у моря в Провансе окружают маленькое, уже рассуждающее создание хороводом ясных, насыщенных радостью дней. Каждая собака, мул, котенок становится другом.

В стихах Черного этих лет часто появляются образы рядовых русских эмигрантов, живущих на чужбине безрадостной, трудной жизнью («Парижское житье», «Предпраздничное», «Парижские частушки» и другие). Он не идеализирует их быта, объективно рассказывая о нищете, лишениях и моральном унижении, через которые приходилось пройти почти каждому из них. Единственное, о чем мечтает поэт, — чтобы не обезличивалась душа эмигрантов, не порывалась бы их внутренняя связь с родиной. Эта мысль наиболее отчетливо прослеживается в стихотворении «Иван Петрович», изображающем трудовой день русского эмигранта.

В 1931—1932 годах Саша Черный пишет поэму «Кому в эмиграции жить хорошо». Героями ее являются три русских журналиста. Заставляя своих «правдоискателей» повидаться со многими эмигрантами и расспросить их о жизни, Черный в конце поэмы показывает, наконец, единственного, «без примеси» счастливого эмигранта — маленького Мишутку, безмятежно спящего в своей кроватке. Все это говорило о трагедии поэта, осознавшего всю тягостность своего положения и вместе с тем не умеющего найти какой-либо выход из тупика.

Изображение французской жизни тоже занимает в поэзии Черного заметное место и дается оно по преимуществу в жанре поэтической «акварели». Через все его стихотворения проходит образ автора — одинокого странника, — шагающего по чужой земле с палкой и почти пустой котомкой за плечами («Прогулка в Кабассон», «В пути», «Без вакансий», «Городок»). Однако нигде поэт не выступает в роли равнодушного и безучастного созерцателя происходящего. Внимание его всегда останавливается на картинах бедности и унижения человеческого достоинства, а глаза поэта замечают и нищету рыбацкого поселка, и уличную выставку бродячих художников, и старого человека, вынужденного ради пропитания стричь собак, и измученных тяжелым трудом пассажиров парижского метро — хмурого негра, мальчишку из отеля, старика посыльного...

Все чаще в стихотворениях Черного проскальзывают грустные мысли о безвыходности своего положения, о тупике, в который зашло его творчество:

Море, облака, холмы и деревья — не французские, не чужие, и не приходится смотреть на них со стороны глазами эмигранта-пасынка. Полнота такого маленького детского счастья, дошкольного, догородского, беспечного цветения и является основной темой повести» («Последние новости», 1930, № 3266).

Мой виноградник пуст — растрепанные бурей,
К земле прибиты светлые стихи...
И даже та любимая гряда,
Где зеленели детские страницы,
Здесь, на чужбине, теша детвору,
Ненужным пустырем чернеет у дороги.

В последние годы жизни большое место в творчестве Черного занимала проза. Его рассказы тематически разнообразны. Одни из них («Московский случай», «Свадьба под каланчой», отрывки из повести «Молодое вино») воскрешали далекие картины жизни на родине, другие рассказывали о судьбах русской эмиграции («Провансальские страницы», «Африканские вещи», «Мелкоземельный грипп», «Уютное семейство», «Тихое кабаре»), третьи с большим мастерством рисовали особенно близкий автору детский мирок («Яблоки», «Тихая девочка», «Камышовое государство», «Самое страшное», «Илья Муромец»).

Особую группу рассказов составили солдатские сказки, были и небылицы, задуманные Сашей Черным, должно быть, еще в годы первой мировой войны. В 1928—1932 годах он написал более двадцати таких рассказов: «Кому за махоркой идти», «Катись горошком», «Полная выкладка», «Армейский спотыкач» и другие. Достоинство их не в сюжете, а в языке, в непринужденной манере рассказа, в живой и остроумной передаче бойкой солдатской речи. Герои небылиц Черного напоминают традиционную фигуру бравого русского солдата из народной сказки, находчивого и бесшабашно смелого, умеющего ловко справиться со всякой нечистью и одолеть любого врага. В то же время образы А. Черного конкретно-историчны. Он мастерски воспроизводит обстановку царской казармы и тяжеловесные крестьянско-солдатские мысли о земле и хлебе, воскрешает перед читателем тип русского солдата времен первой мировой войны («Скоропостижный помещик», «Бестелесная команда», «Сумбур-трава», «Правдивая колбаса»).

В своей рецензии на сборник Черного «Несерьезные рассказы» (объединивший несколько «солдатских» сказок) А. И. Куприн заметил, что автор так хорошо пишет о детях и солдатах потому, что «в этой сфере он свой, здесь он и товарищ, и зачинщик, и выдумщик, и рассказчик-импровизатор, и тонкий, любящий наблюдатель».[1]

---

[1] А. Куприн. А. Черный. Несерьезные рассказы. «Возрождение», 1928, № 1216.

Сборник «Несерьезные рассказы», помимо солдатских сказок, содержал веселый шарж-шутку «в одном бездействии» — «Третейский суд» и забавные детские рассказы. «Вся книга, — писал Куприн, — пронизана легкой улыбкой, беззлобным смехом, невинной проказливостью, и если ухо улавливает изредка чуть ощутимый желчный тон, то что ж поделаешь: жизнь в эмиграции не особенный сахар».[1]

«Несерьезные рассказы» оказались последней книгой Саши Черного. В 1932 году он переселился из Парижа на юг Франции — в Прованс. Здесь неожиданно оборвалась его жизнь. Накануне он еще был полон сил, послал в парижскую газету рассказ «Илья Муромец» и стихотворение «С холма». 5 августа, возвращаясь домой от соседа, поэт услышал крик «Пожар!» и сразу же устремился к месту несчастья. С его помощью пожар быстро потушили, но дома он почувствовал себя плохо и через несколько часов, после сильного сердечного припадка, скончался. В последний путь поэта провожали простые французские люди — фермеры и их дети. Похоронили его на небольшом сельском кладбище Лаванду, в департаменте Вар.

«У Саши Черного, — писала в некрологе газета «Последние новости», — была седая голова, молодой взгляд черных глаз и застенчивая улыбка. Жить ему было очень тяжело: зарубежная литература — профессия полунищих».

6

Саша Черный был современником грандиозных исторических событий — русско-японской войны, революции 1905 года, первой мировой войны, свержения самодержавия и Великой Октябрьской революции, которая потрясла весь мир. Однако подъем революционной борьбы русского пролетариата, руководимого большевистской партией, распространение социалистической идеологии — все это совершенно не затронуло сознания Саши Черного. Как типичный буржуазный радикал, он не видел в пролетариате вершителя исторических судеб, оставался чужд интересам его борьбы.

Буржуазная ограниченность мировоззрения Саши Черного отрицательно сказалась на его поэтическом творчестве. Несомненно, сатира его существенно ограничивалась отсутствием ясной идейной направленности. Как и многие буржуазно-демократические писатели

---

[1] А. Куприн. А. Черный. Несерьезные рассказы. «Возрождение», 1928, № 1216.

своего времени, Саша Черный был бессилен в разрешении важнейших исторических проблем современности. Нельзя не отметить, что даже в годы первой русской революции, когда из-под пера поэта выходили наиболее резкие сатирические стихи, и в них он не поднимался до широких обобщений. Сатиры его и тогда зачастую разменивались на мелочи, принимая форму шаржей на реакционных политических деятелей.

При всем том имя Саши Черного как поэта талантливого и своеобразного не должно быть предано забвению. В истории русской поэзии XX века ему принадлежит определенное место.

С одной стороны, Саша Черный продолжил своим творчеством богатые традиции русской сатирической поэзии XIX века, в частности — поэтов «Искры». Вместе с тем творчество Саши Черного внесло нечто новое в область поэтической сатиры.

Сатиры Черного кажутся шаржами, почти карикатурой на современность, и в то же время они полны интимнейшими жалобами сердца, звучат как элегии, как слова дневника. Собственно говоря, чисто сатирических стихотворений у него немного. Если они и встречаются, то это, главным образом, злые политические шаржи (вроде «По мытарствам», «Октябристы», «Экспромт»). В основном же для его поэзии характерно гармоническое слияние юмора, сатиры и лирики. Эту особенность своего дарования отчетливо ощущал и сам поэт: «Я имел смелость думать, — писал он В. П. Кранихфельду, — что если даже в одном стихотворении сольются и юмор, и сатира, и лирика, то и пусть (в жизни это на каждом шагу), не писать же по «теории словесности» Житецкого: досюда лирика, отсюда сатира, отсюда юмор».[1] В этом своеобразие поэзии Саши Черного.

Творчество Саши Черного оставило заметный след в русской литературе начала нашего века. Опыт его работы в области поэтической сатиры безусловно учитывал молодой Маяковский. Считая Сашу Черного одним из наиболее близких себе поэтов, Маяковский любил и прекрасно знал его стихи.[2] Вот, например, свидетельство Давида Бурлюка: «Маяковский в осенние бульварные туманы 1911—1912 года, гуляя со мной, поражал меня знанием Александра Блока и Саши Черного».[3] О том же писал К. И. Чуковский в статье «Маяковский в пятнадцатом»: «Память у него была та-

---

[1] ПД, архив В. П. Кранихфельда.

[2] Цитатами из произведений Черного часто пользовался Маяковской в своих статьях (см., например, его статью «Живопись сегодняшнего дня»).

[3] «Творчество», 1920, № 1, стр. 7.

кая, что он мог декламировать целые книги стихов в порядке расположения страниц — третий том Блока, «Сатиры» Саши Черного. . .»[1]

Так же и Л. Брик свидетельствует, что Маяковский любил стихи Саши Черного и при случае нередко декламировал их (например, стихотворения «Факт», «Городская сказка», «Искатель», «Культурная работа», «Обстановочка», «Полька»).[2]

В этой связи возникает интересный вопрос о соотношении сатиры Саши Черного с ранним творчеством Маяковского.[3]

Лучшие стихи Саши Черного с их презрением к миру мещанского благополучия отличаются вызывающей наготой образов:

Лиловый лиф и желтый бант у бюста,
Безглазые глаза — как два пупка.
Чужие локоны к вискам прилипли густо,
И маслянисто свесились бока.

Это свойство сатирических стихов Черного внутренне оправдано, поскольку поэт изображает вульгарного, опустившегося обывателя:

Портрет готов. Карандаши бросая,
Прошу за грубость мне не делать сцен:
Когда свинью рисуешь у сарая,
На полотне не выйдет belle Hélène.

В антиэстетизме Саши Черного, в его нарочито грубой, эпатирующей манере звучал протест против прилизанной обывательской благопристойности и ханжества. Не приходится сомневаться, что именно этой стороной талант сатирика привлек сочувственное внимание молодого Маяковского.

Сатиры Саши Черного сближает с поэзией раннего Маяковского гиперболизация образов с их подчеркнутой грубостью и резкостью, смелые и остроумные словосочетания, разговорная манера стиховой речи, фамильярность интонаций. В произведениях Саши Черного встречаются резкие отклонения от обычных стилистических норм словосочетания:

---

[1] Маяковский. Однодневная газета ЛОФОСП. Л., 1930.

[2] Л. Брик. Маяковский и чужие стихи. «Знамя», 1940, № 3, стр. 169, 171.

[3] См. об этом: В. Тренин и Н. Харджиев. Маяковский и «сатириконская» поэзия («Литературный критик», 1934, № 4).

Она целовала меня,
И я ее тоже обратно, —

пишет он в сатире «Прекрасный Иосиф». Эта нарочитая небрежность стиля в данном случае передает ироническое отношение автора к своему герою-обывателю и вполне оправдана «той внутренней гримасой (далеко не смешной), которая скрывается за этими словами».[1]

Большое место в системе поэтических средств у Саши Черного занимают различные «зоологические» эпитеты. Этот прием, характерный и для Маяковского, помогает поэту разоблачить убожество внутреннего мира мещанина, зло осмеять его пошлость:

Улитки гуляют с улитками
По прилизанной, ровной дорожке, —

так начинает он свое стихотворение о немецких обывателях («Kinderbalsam»).

Сближает обоих поэтов и характерный для них прием снижения «высоких» поэтических сюжетов и образов. У Маяковского в «Гимне судьбе»:

Глаза у судьи — пара жестянок
Мерцает в помойной яме.

У Саши Черного:

Безглазые глаза — как два пупка...

или:

Перетянут под мышками, вроде жука,
Попугайский платок из кармана,
А глаза — два застывших плевка.

Подобных примеров можно привести довольно много. Саша Черный говорит о поэте, пришедшем в редакцию толстого журнала: «Он думал из «Восходов» сшить штаны». Сравните у Маяковского в стихотворении «Кофта фата»:

Я сошью себе черные штаны
Из бархата голоса моего.

---

[1] Саша Черный. Обратно. «Сатирикон», 1910, № 44, стр. 5.

Преемственность творческих поисков обоих поэтов может быть продемонстрирована также на примере стихотворений «Санкт-Петербург» Черного и «Еще Петербург» Маяковского. Здесь совпадают не только заглавие и тематика, но даже отдельные рифмы и образы:

С неба сочится какая-то дрянь...

(«Санкт-Петербург» А. Черного)

А с неба смотрела какая-то дрянь...

(«Еще Петербург» Маяковского)

* * *

Сила Саши Черного как сатирического поэта (сказавшаяся в лучших его стихах) была в любви к цельному, гармонически развитому человеку — со здоровой душой и телом, смелому и энергичному. Отсюда глубокая ненависть поэта к психологии и поведению русской буржуазной интеллигенции, которая, по словам Горького, «наиболее поучительна со стороны своей духовной шаткости».[1] Это была болезнь века, и заслуга Саши Черного в том, что он не пытался оправдать интеллигента, уверовавшего в свою исключительность. Поэт развенчал его во всем, продемонстрировал его духовное вырождение.

Именно этой наиболее сильной стороной своего творчества Саша Черный завоевал любовь и популярность в среде передовой русской молодежи предреволюционного времени. О том, как молодежь увлекалась стихами Саши Черного и как он «подготовлял» ее к восприятию Маяковского, пишет в своих литературных воспоминаниях Юрий Либединский: «К восприятию Маяковского, несомненно, подготовили меня также стихи Саши Черного, поэта едва ли не самого популярного среди прогрессивной молодежи того времени. Я не случайно подчеркнул именно ту социальную прослойку, которая ценила и любила, пожалуй даже породила поэзию Саши Черного... Его тематика — это до гротеска беспощадное осмеяние обывателя, мещанина, чиновника прежде всего как главного носителя скуки дореволюционной жизни».[2]

---

[1] М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29. М., 1955, стр. 218.

[2] Ю. Либединский. Современники. Воспоминания. М., 1958, стр. 159—160.

Пессимизм дореволюционного творчества Черного был формой искания, за ним чувствовалась искренняя тоска по настоящему идеалу, который поэт не мог найти в силу ограниченности своего мировоззрения. Пессимизм же его послереволюционного творчества был выражением его беды, источником горьких мыслей о родине, далекой и навсегда потерянной.

Заслуживает внимания и другая часть поэтического наследия Саши Черного — его стихи для детей, стихотворные пейзажно-бытовые зарисовки, проникнутые заражающим жизнелюбием и светлым волнующим лиризмом.

Со времени появления в России последнего издания стихов Саши Черного прошло много лет. Думается, что литературное наследие этого талантливого и оригинального поэта заслуживает того, чтобы о нем напомнили.

Л. Евстигнеева

САТИРЫ И ЛИРИКА

Книга первая

«САТИРЫ»

КРИТИКУ

Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице. В бока впился
корсет», —
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт — мужчина. Даже с бородою.

<1909>

ЛАМЕНТАЦИИ

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Пересматривать эстампы
И по клавишам бренчать, —

Щекоча мозги и чувство
Обаяньем красоты,
Лить душистый мед искусства
В бездну русской пустоты...

В книгах жизнь широким пиром
Тешит всех своих гостей,
Окружая их гарниром
Из страданья и страстей:

Смех, борьба и перемены,
С мясом вырван каждый клок!
А у нас... углы да стены
И над ними потолок.

Но подчас, не веря мифам,
Так событий личных ждешь!
Заболеть бы, что ли, тифом,
Учинить бы, что ль, дебош?

В книгах гений Соловьевых,
Гейне, Гёте и Золя,
А вокруг от Ивановых
Содрогается земля.

На полотнах Магдалины,
Сонм Мадонн, Венер и Фрин,
А вокруг — кривые спины
Мутноглазых Акулин.

Где событья *нашей* жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизни,
В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем бога, ищем черта,
Потеряв самих себя.

И с утра до поздней ночи
Все, от крошек до старух,
Углубив в страницы очи,
Небывалым дразнят дух.

В звуках музыки — страданье,
Боль любви и шепот грез,
А вокруг одно мычанье,
Стоны, храп и посвист лоз.

Отчего? Молчи и дохни.
Рок — хозяин, ты — лишь раб.
Плюнь, ослепни и оглохни,
И ворочайся, как краб!

...Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Перелистывать эстампы
И по клавишам бренчать.

<1909>

ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ

Вчера мой кот взглянул на календарь
И хвост трубою поднял моментально,
Потом подрал на лестницу, как встарь,
И завопил тепло и вакханально:

«Весенний брак! Гражданский брак!
Спешите, кошки, на чердак...»

И кактус мой — о, чудо из чудес! —
Залитый чаем и кофейной гущей,
Как новый Лазарь, взял да и воскрес
И с каждым днем прет из земли всё пуще.
Зеленый шум... Я поражен:
«Как много дум наводит он!»

Уже с панелей смерзшуюся грязь,
Ругаясь, скалывают дворники лихие,
Уже ко мне забрел сегодня «князь»,
Взял теплый шарф и лыжи беговые...
«Весна, весна! — пою, как бард, —
Несите зимний хлам в ломбард».

Сияет солнышко. Ей-богу, ничего!
Весенняя лазурь спугнула дым и копоть,
Мороз уже не щиплет никого,
Но многим нечего, как и зимою, лопать...
Деревья ждут... Гниет вода,
И пьяных больше, чем всегда.

Создатель мой! Спасибо за весну! —
Я думал, что она не возвратится, —
Но... дай сбежать в лесную тишину
От злобы дня, холеры и столицы!
Весенний ветер за дверьми...
В кого б влюбиться, черт возьми?

<1909>

ПЕСНЯ О ПОЛЕ

«Проклятые» вопросы,
Как дым от папиросы,
Рассеялись во мгле.
Пришла Проблема Пола,
Румяная фефела,
И ржет навеселе.

Заерзали старушки,
Юнцы и дамы-душки
И прочий весь народ.
Виват, Проблема Пола!
Сплетайте вкруг подола
Веселый «Хоровод».

Ни слез, ни жертв, ни муки...
Подымем знамя-брюки
Высоко над толпой.
Ах, нет доступней темы!
На ней сойдемся все мы —
И зрячий и слепой.

Научно и приятно,
Идейно и занятно —
Умей момент учесть:
Для слабенькой головки
В проблеме-мышеловке
Всегда приманка есть.

1908

АНАРХИСТ

Жил на свете анархист,
Красил бороду и щеки,
Ездил к немке в Териоки
И при этом был садист.

Вдоль затылка жались складки
На багровой полосе.
Ел за двух, носил перчатки —
Словом, делал то, что все.

Раз на вечере попович,
Молодой идеалист,
Обратился: «Петр Петрович,
Отчего вы анархист?»

Петр Петрович поднял брови
И, багровый, как бурак,
Оборвал на полуслове:
«Вы невежа и дурак».

<1910>

ПОШЛОСТЬ

(Пастель)

Лиловый лиф и желтый бант у бюста,
Безглазые глаза — как два пупка.
Чужие локоны к вискам прилипли густо
И маслянисто свесились бока.

Сто слов, навитых в черепе на ролик,
Замусленную всеми ерунду, —
Она, как четки набожный католик,
Перебирает вечно на ходу.

В ее салонах — *все*, толпою смелой,
Содравши шкуру с девственных идей,
Хватают лапами бесчувственное тело
И рьяно ржут, как стадо лошадей.

Там говорят, что вздорожали яйца
И что комета стала над Невой, —
Любуясь, как каминные китайцы
Кивают в такт, под граммофонный вой.

Сама мадам наклонна к идеалам:
Законную двуспальную кровать
Под стеганым атласным одеялом
Она всегда умела охранять.

Но, нос суя любовно и сурово
В случайный хлам бесштемпельных «грехов»,
Она читает вечером Баркова
И с кучером храпит до петухов.

Поет. Рисует акварелью розы.
Следит, дрожа, за модой всех сортов,
Копя остроты, слухи, фразы, позы
И растлевая музу и любовь.

На каждый шаг — расхожий катехизис,
Прин-ци-пи- аль-но носит бандажи,
Некстати поминает слово «кризис»
И томно тяготеет к глупой лжи.

В тщеславном, нестерпимо остром зуде
Всегда смешна, себе самой в ущерб,
И даже на интимнейшей посуде
Имеет родовой дворянский герб.

Она в родстве и дружбе неизменной
С бездарностью, нахальством, пустяком.
Знакома с лестью, пафосом, изменой
И, кажется, в амурах с дураком...

Ее не знают, к счастью, только... Кто же?
Конечно — дети, звери и народ.
Одни — когда со взрослыми не схожи,
А те — когда подальше от господ.

Портрет готов. Карандаши бросая,
Прошу за грубость мне не делать сцен:
Когда свинью рисуешь у сарая —
На полотне не выйдет belle Hélène. [1]

<1910>

ПОТОМКИ

Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы... Видно, дети
Будут жить вольготней нас».

---

[1] Прекрасная Елена (франц.). — *Ред.*

Дети выросли. И эти
Лезли в клети в грозный час
И вздыхали: «Наши дети
Встретят солнце *после нас*».

Нынче так же, как вовеки,
Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.

Даже сроки предсказали:
Кто — лет двести, кто — пятьсот,
А пока лежи в печали
И мычи, как идиот.

Разукрашенные дули,
Мир умыт, причесан, мил...
Лет чрез двести? Черта в стуле!
Разве я Мафусаил?

Я, как филин, на обломках
Переломанных богов.
В неродившихся потомках
Нет мне братьев и врагов.

Я хочу немножко света
Для себя, пока я жив;
От портного до поэта —
Всем понятен мой призыв...

А потомки... Пусть потомки,
Исполняя жребий свой
И кляня свои потемки,
Лупят в стенку головой!

<1908>

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА

Квартирант сидит на чемодане
И задумчиво рассматривает пол:
Те же стулья, и кровать, и стол,
И такая же обивка на диване,

И такой же «бигус» на обед, —
Но на всем какой-то новый свет...

Блещут икры полной прачки Феклы.
Перегнулся сильный стан во двор.
Как нестройный, шаловливый хор,
Верещат намыленные стекла,
И заплаты голубых небес
Обещают тысячи чудес.

Квартирант сидит на чемодане.
Груды книжек покрывают пол.
Злые стекла свищут: эй, осел!
Квартирант копается в кармане,
Вынимает стертый четвертак,
Ключ, сургуч, копейку и пятак...

За окном стена в сырых узорах,
Сотни ржавых труб вонзились в высоту,
А в Крыму миндаль уже в цвету...
Вешний ветер закрутился в шторах
И не может выбраться никак.
Квартирант пропьет свой четвертак!

Так пропьет, что небу станет жарко.
Стекла вымыты. Опять тоска и тишь.
Фекла, Фекла, что же ты молчишь?
Будь хоть ты решительной и яркой:
Подойди, возьми его за чуб
И ожги огнем весенних губ...

Квартирант и Фекла на диване.
О, какой торжественный момент!
«Ты — народ, а я — интеллигент, —
Говорит он ей среди лобзаний. —
Наконец-то, здесь, сейчас, вдвоем,
Я тебя, а ты меня — поймем...»

<1909>

ОТЪЕЗД ПЕТЕРБУРЖЦА

Середина мая и деревья голы...
Словно Третья Дума делала весну!
В зеркало смотрю я, злой и невеселый,
Смазывая йодом щеку и десну.

Кожа облупилась, складочки и складки,
Из зрачков сочится скука многих лет.
Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий?
Я?! О нет, не надо, ради бога, нет!

Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма
И иду к корзинке складывать багаж:
Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,
Желтые ботинки, Брюсов и бандаж.

Пусть мои враги томятся в Петербурге!
Еду, еду, еду — радостно и вдруг.
Ведь не догадались думские Ликурги
Запрещать на лето удирать на юг.

Синие кредитки вместо Синей Птицы
Унесут туда, где солнце, степь и тишь.
Слезы увлажняют редкие ресницы:
Солнце... Степь и солнце вместо стен и крыш.

Был я богоборцем, был я мифотворцем
(Не забыть панаму, плащ, спермин и «код»),
Но сейчас мне ясно: только тошнотворцем,
Только тошнотворцем был я целый год...

Надо подписаться завтра на газеты,
Чтобы от культуры нашей не отстать,
Заказать плацкарту, починить штиблеты
(Сбегать к даме сердца можно нынче в пять).

К прачке и в ломбард, к дантисту-иноверцу,
К доктору — и прочь от берегов Невы!
В голове — надежды вспыхнувшего сердца,
В сердце — скептицизм усталой головы.

<1909>

ИСКАТЕЛЬ

(Из дневника современника)

С горя я пошел к врачу.
Врач пенсне напялил нá нос:
«Нервность. Слабость. Очень рано-с.
Ну-с, так я вам закачу
Гунияди-Янос».

Кровь ударила в виски:
Гунияди?! От вопросов,
От безверья, от тоски?!
Врач сказал: «Я не философ.
До свиданья».

Я к философу пришел:
«Есть ли цель? Иль книги — ширмы?
Правда «школ» — ведь правда фирмы?
Я живу, как темный вол.
Объясните!»

Заходил цветной халат
Парой егеревских нижних:
«Здесь бессилен сам Сократ!
Вы — профан. Ищите ближних».
— «Очень рад».

В переулке я поймал
Человека с ясным взглядом.
Я пошел тихонькó рядом:
«Здравствуй, ближний...» — «Вы нахал!»
— «Извините...»

Я пришел домой в чаду,
Переполненный раздумьем.
Мысль играла в чехарду
То с насмешкой, то с безумьем.
Пропаду!

Тихо входит няня в дверь.
Вот еще один философ:

«Что сидишь, как дикий зверь?
Плюнь, да веруй — без вопросов.»
— «В Гунияди?»

— «Гу-ни-я-ди? Кто такой?
Не немецкий ли святой?
Для спасения души —
Все святые хороши...»
Вышла.

<1909>

* * *

Это не было сходство, допустимое даже в лесу, — это было тождество, это было безумное превращение одного в двоих.

(Л. Андреев. «Проклятие зверя»)

Все в штанах, скроённых одинаково,
При усах, в пальто и в котелках.
Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах...

Как бы мне не обменяться личностью:
Он войдет в меня, а я в него, —
Я охвачен полной безразличностью
И боюсь решительно всего...

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!!
Я завидую каждой отдельной букашке,
Я живу, как последний дурак..

В лес! К озерам и девственным елям!
Буду лазить, как рысь, по шершавым стволам.
Надоело ходить по шаблонным панелям
И смотреть на подкрашенных дам!

Принесет мне ворона швейцарского сыра,
У заблудшей козы надою молока.
Если к вечеру станет прохладно и сыро,
Обложу себе мохом бока.

Там не будет газетных статей и отчетов.
Можно лечь под сосной и немножко повыть,
Иль украсть из дупла вкусно пахнущих сотов,
Или землю от скуки порыть...

А настанет зима — упираться не стану:
Буду голоден, сир, малокровен и гол —
И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану:
У него даровая квартира и стол.

И скажу: «Лейтенант! Я — российский писатель,
Я без паспорта в лес из столицы ушел,
Я устал, как собака, и — веришь, приятель —
Как семьсот аллигаторов зол!

Люди в городе гибнут, как жалкие слизни,
Я хотел свою старую шкуру спасти.
Лейтенант! Я бежал от бессмысленной жизни
И к тебе захожу по пути...»

Мудрый Глан ничего мне на это не скажет,
Принесет мне дичины, вина, творогу...
Только пусть меня Глан основательно свяжет,
А иначе — я в город сбегу.

1907 или 1908

ОПЯТЬ

Опять опадают кусты и деревья,
Бронхитное небо слезится опять,
И дачники, бросив сырые кочевья,
Бегут, ошалевшие, вспять.

Опять, перестроив и душу, и тело
(Цветочки и летнее солнце — увы!),
Творим городское, ненужное дело
До новой весенней травы.

Начало сезона. Ни света, ни красок,
Как призраки, носятся тени людей...
Опять одинаковость сереньких масок
От гения до лошадей.

По улицам шляется смерть. Проклинает
Безрадостный город и жизнь без надежд,
С презреньем, зевая, на землю толкает
Несчастных, случайных невежд.

А рядом духовная смерть свирепеет
И сослепу косит, пьяна и сильна.
Всё мало и мало — коса не тупеет,
И даль безнадежно черна.

Что будет? Опять соберутся Гучковы
И мелочи будут, скучая, жевать,
А мелочи будут сплетаться в оковы,
И их никому не порвать.

О, дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный,
И в страхе, что это навек,

В мучительной жажде надежды и красок
Выходит на улицу, ищет людей...
Как страшно найти одинаковость масок
От гения до лошадей!

<1908>

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА

Утро. Мутные стекла как бельма,
Самовар на столе замолчал.
Прочел о визитах Вильгельма
И сразу смертельно устал.

Шагал от дверей до окошка,
Барабанил марш по стеклу
И следил, как хозяйская кошка
Ловила свой хвост на полу.

Свистал. Рассматривал тупо
Комод, «Остров мертвых», кровать.
Это было и скучно, и глупо —
И опять начинал я шагать.

Взял Маркса. Поставил на полку.
Взял Гёте — и тоже назад.
Зевая, подглядывал в щелку,
Как соседка пила шоколад.

Напялил пиджак и пальтишко
И вышел. Думал, курил...
При мне какой-то мальчишка
На мосту под трамвай угодил.

Сбежались. Я тоже сбежался.
Кричали. Я тоже кричал,
Махал рукой, возмущался
И карточку приставу дал.

Пошел на выставку. Злился.
Ругал бездарность и ложь.
Обедал. Со скуки напился
И качался, как спелая рожь.

Поплелся к приятелю в гости,
Говорил о холере, добре,
Гучкове, Урьеле д'Акосте —
И домой пришел на заре.

Утро... Мутные стекла как бельма.
Кипит самовар. Рядом «Русь»
С речами того же Вильгельма.
Встаю — и снова тружусь.

<1910>

ЖЕЛТЫЙ ДОМ

Семья — ералаш, а знакомые — нытики,
Смешной карнавал мелюзги,
От службы, от дружбы, от прелой политики
Безмерно устали мозги.
Возьмешь ли книжку — муть и мразь:
Один кота хоронит,
Другой слюнит, разводит грязь
И сладострастно стонет...

Петр Великий, Петр Великий!
Ты один виновней всех:
Для чего на Север дикий
Понесло тебя на грех?
Восемь месяцев зима, вместо фиников — морошка.
Холод, слизь, дожди и тьма — так и тянет
из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой...
Негодую, негодую... Что же дальше, боже мой?!

Каждый день по ложке керосина
Пьем отраву тусклых мелочей...
Под разврат бессмысленных речей
Человек тупеет, как скотина...

Есть парламент, нет? Бог весть,
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска — я знаю — есть,
И бессилье гнева есть...
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть.

Где наше — близкое, милое, кровное?
Где наше — свое, бесконечно любовное?
Гучковы, Дума, слякоть, тьма, морошка...
Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?

<1908>

ЗЕРКАЛО

Кто в трамвае, как акула,
Отвратительно зевает?
То зевает друг-читатель
Над скучнейшею газетой.

Он жует ее в трамвае,
Дома, в бане и на службе,
В ресторанах и в экспрессе,
И в отдельном кабинете.

Каждый день с утра он знает,
С кем обедал Франц-Иосиф
И какую глупость в Думе
Толстый Бобринский сморозил...

Каждый день, впиваясь в строчки,
Он глупеет и умнеет:
Если автор глуп — глупеет,
Если умница — умнеет.

Но порою друг-читатель
Головой мотает злобно
И ругает, как извозчик,
Современные газеты.

«К черту! То ли дело Запад
И испанские газеты...»
(Кстати — он силен в испанском,
Как испанская корова).

Друг-читатель! Не ругайся,
Вынь-ка зеркальце складное.
Видишь — в нем зловеще меркнет
Кто-то хмурый и безликий?

Кто-то хмурый и безликий,
Не испанец, о, нисколько,
Но скорее бык испанский,
Обреченный на закланье.

Прочитай: в глазах-гляделках
Много ль мыслей, смеха, сердца?
Не брани же, друг-читатель,
Современные газеты...

<1908>

СПОРЫ

Каждый прав и каждый виноват.
Все полны обидным снисхожденьем
И, мешая истину с глумленьем,
До конца обидеться спешат.

Эти споры — споры без исхода,
С правдой, с тьмой, с людьми, с самим собой,
Изнуряют тщетною борьбой
И пугают нищенством прихода.

По домам бессильно разбредаясь,
Мы нашли ли собственный ответ?
Что ж слепые наши «да» и «нет»
Разбрелись, убого спотыкаясь?

Или мысли наши — жернова?
Или спор — особое искусство,
Чтоб, калеча мысль и теша чувство,
Без конца низать случайные слова?

Если б были мы немного проще,
Если б мы учились понимать,
Мы могли бы в жизни не блуждать,
Словно дети в незнакомой роще.

Вновь забытый образ вырастает:
Притаилась Истина в углу,
И с тоской глядит в пустую мглу,
И лицо руками закрывает...

<1908>

ИНТЕЛЛИГЕНТ

Повернувшись спиной к обманувшей надежде
И беспомощно свесив усталый язык,
Не раздевшись, он спит в европейской одежде
И храпит, как больной паровик.

Истомила Идея бесплодьем интрижек,
По углам паутина ленивой тоски,
На полу вороха неразрезанных книжек
И разбитых скрижалей куски.

За окном непогода лютеет и злится...
Стены прочны, и мягок пружинный диван.
Под осеннюю бурю так сладостно спится
Всем, кто бледной усталостью пьян,

Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по секрету,
Отчего ты так страшно и тупо устал?
За несбыточным счастьем гонялся по свету,
Или, может быть, землю пахал?

Дрогнул рот. Разомкнулись тяжелые вежды,
Монотонные звуки уныло текут:
«Брат! Одну за другой хоронил я надежды,
Брат! От этого больше всего устают.

Были яркие речи и смелые жесты
И неполных желаний шальной хоровод.
Я жених непришедшей прекрасной невесты,
Я больной, утомленный урод».

Смолк. А буря всё громче стучалась в окошко.
Билась мысль, разгораясь и снова таясь.
И сказал я, краснея, тоскуя и злясь:
«Брат! Подвинься немножко».

1908

ОТБОЙ

За жирными коровами следуют тощие,
за тощими — отсутствие мяса.

Гейне

По притихшим редакциям,
По растерзанным фракциям,
По рутинным гостиным,
За молчанье себя награждая с лихвой,
Несется испуганный вой:
Отбой, отбой,
Окончен бой,
Под стол гурьбой!
Огонь бенгальский потуши,
Соси свой палец, не дыши,
Кошмар исчезнет сам собой —
Отбой, отбой, отбой!
Читали, как сын полицмейстера ездил по городу,
Таскал по рынку почтеннейших граждан за бороду,

От нечего делать нагайкой их сек,
Один — восемьсот человек?
Граждане корчились, морщились,
Потом послали письмо со слезою в редакцию
И обвинили... реакцию.
Читали?
Ах, политика узка
И притом опасна.
Ах, партийность так резка
И притом пристрастна.
Разорваны по листику
Программки и брошюры,
То в ханжество, то в мистику
Нагие прячем шкуры.
Славься, чистое искусство
С грязным салом половым!
В нем лишь черпать мысль и чувство
Нам — ни мертвым ни живым.
Вечная память прекрасным и звучным словам!
Вечная память дешевым и искренним позам!
Страшно дрожать по своим беспартийным углам
Крылья спалившим стрекозам!
Ведьмы, буки, черные сотни,
Звездная палата, «черный кабинет»...
Всё проворней и всё охотней
Лезем сдуру в чужие подворотни —
Влез. Молчок. И нет как нет.
Отбой, отбой,
В момент любой,
Под стол гурьбой.
В любой момент
Индифферент:
Семья, горшки,
Дела, грешки —
Само собой.
Отбой, отбой, отбой!
«Отречемся от старого мира...»
И полезем гуськом под кровать.
Нам, уставшим от шумного пира,
Надо свежие силы набрать.
Ура!!

<1908>

1909

Родился карлик Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод,
Тоскливый шут и скептик,
Мудрец и эпилептик.

«Так вот он — милый божий свет?
А где же солнце? Солнца нет!
А, впрочем, я не первый,
Не стоит портить нервы».

И люди людям в этот час
Бросали: «С Новым Годом вас!»
Кто честно заикаясь,
Кто кисло ухмыляясь...

Ну, как же тут не поздравлять?
Двенадцать месяцев опять
Мы будем спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать.

От мудрых, средних и ослов
Родятся реки старых слов,
Но кто еще, как прежде,
Пойдет кутить к надежде?

Ах, милый, хилый Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод!
Зажги среди тумана
Цветной фонарь обмана.

Зажги! Мы ждали много лет —
Быть может, солнца вовсе нет?
Дай чуда! Ведь бывало
Чудес в веках не мало...

Какой ты старый, Новый Год!
Ведь мы равно наоборот
Считать могли бы годы,
Не исказив природы.

Да... Много мудрого у нас...
А впрочем, с Новым Годом вас!
Давайте спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать.

1908

НОВАЯ ЦИФРА

1910

Накрутить вам образов, почтеннейший?
Нанизать вам слов кисло-сладких,
Изысканно гладких
На нити банальнейших строф?
Вот опять неизменнейший
Тощий младенец родился,
А старый хрен провалился
В эту... как ее?.. В Лету.

Как трудно, как нудно поэту!..
Словами свирепо-солдатскими
Хочется долго и грубо ругаться,
Цинично и долго смеяться,
Но вместо того — лирическо-штатскими
Звуками нужно слагать поздравленье,
Ломая ноги каждой строке
И в гневно-бессильной руке
Перо сжимая в волненьи.

Итак: с Новою Цифрою, братья!
С весельем... то бишь, с проклятьем —
Дешевым шампанским,
Цимлянским
Наполним утробы.
Упьемся! И в хмеле, таком же дешевом,
О счастье нашем грошевом
Мольбу к небу пошлем,
К небу, прямо в серые тучи:
Счастья, здоровья, веселья,
Котлет, пиджаков и любовниц,
Пищеваренье и сон —
Пошли нам, серое небо!

Молодой снежок
Вьется, как пух из еврейской перины.
Голубой кружок —
То есть луна — такой смешной и невинный.
Фонари горят
И мигают с усмешкою старых знакомых.
Я чему-то рад
И иду вперед беспечней насекомых.
Мысли так свежи,
Пальто на толстой подкладке ватной,
И лужи-ужи
Ползут от глаз к фонарям и обратно...

Братья! Сразу и навеки
Перестроим этот мир.
Братья! Верно, как в аптеке:
Лишь любовь дарует мир.
Так устроим же друг другу
С Новой Цифрой новый пир —
Я согласен для начала
Отказаться от сатир!
Пусть больше не будет ни глупых, ни злобных,
Пусть больше не будет слепых и глухих,
Ни жадных, ни стадных, ни низко-утробных —
Одно лишь семейство святых...

...Я полную чашу российского гною
За Новую Цифру, смеясь, подымаю!
Пригубьте, о братья! Бокал мой до краю
Наполнен ведь вами — не мною.

1909

БЕССМЕРТИЕ

Бессмертье? Вам, двуногие кроты,
Не стоящие дня земного срока?
Пожалуй, ящерицы, жабы и глисты
Того же захотят, обидевшись глубоко...

Мещане с крылышками! Пряники и рай!
Полвека жрали — и в награду вечность...

Торг не дурен. «Помилуй и подай!»
Подай рабам патент на бесконечность.

Тюремщики своей земной тюрьмы,
Грызущие друг друга в каждой щели,
Украли у пророков их псалмы,
Чтоб бормотать их в храмах раз в неделю...

Нам, зрячим, — бесконечная печаль,
А им, слепым, — бенгальские надежды,
Сусальная сияющая даль,
Гарантиро́ванные брачные одежды!..

Не клянчите! Господь и мудр, и строг, —
Земные дни бездарны и убоги,
Не пустит вас господь и на порог,
Сгниете все, как падаль, у дороги.

Между 1908 и 1912

ПРОСТЫЕ СЛОВА

(Памяти Чехова)

В наши дни трехмесячных успехов
И развязных гениев пера
Ты один, тревожно-мудрый Чехов,
С каждым днем нам ближе, чем вчера.

Сам не веришь, но зовешь и будишь,
Разрываешь ямы до конца
И с беспомощной усмешкой тихо судишь
Оскорбивших землю и Отца.

Вот ты жил меж нами, нежный, ясный,
Бесконечно ясный и простой, —
Видел мир наш хмурый и несчастный,
Отравлялся нашей наготой...

И ушел! Но нам больней и хуже:
Много книг, о, слишком много книг!

С каждым днем проклятый круг всё уже
И не сбросить «чеховских» вериг...

Ты хоть мог, вскрывая торопливо
Гнойники, — смеяться, плакать, мстить.
Но теперь всё вскрыто. Как тоскливо
Видеть, знать, не ждать и молча гнить!

<1910>

УТЕШЕНИЕ

Жизнь бесцветна? Надо, друг мой,
Быть упорным и искать:
Раза два в году ты можешь,
Как король, торжествовать...

Если где-нибудь случайно, —
В маскараде иль в гостях,
На площадке ли вагона,
Иль на палубных досках, —
Ты столкнешься с человеком
Благородным и простым,
До конца во всем свободным,
Сильным, умным и живым,
Накупи бенгальских спичек,
Закажи оркестру туш,
Маслом розовым намажься
И прими ликерный душ!
Десять дней ходи во фраке,
Нищим сто рублей раздай,
Смейся в горьком умиленьи
И от радости рыдай...

Раза два в году — не шутка,
А при счастье — три и пять.
Надо только, друг мой бедный,
Быть упорным и искать.

<1922>

ДИЕТА

Каждый месяц к сроку надо
Подписаться на газеты.
В них подробные ответы
На любую немощь стада.

Боговздорец иль политик,
Радикал иль черный рак,
Гениальный иль дурак,
Оптимист иль кислый нытик —
На газетной простыне
Все найдут свое вполне.

Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Я с улыбкой благодатной,
Бандероли не вскрывая,
Аккуратно, не читая,
Их бросаю за буфет.

Целый месяц эту пробу
Я проделал. Оживаю!
Потерял слепую злобу,
Сам себя не истязаю;
Появился аппетит,
Даже мысли появились...
Снова щеки округлились...
И печенка не болит.

В безвозмездное владенье
Отдаю я средство это
Всем, кто чахнет без просвета
Над унылым отраженьем
Жизни мерзкой и гнилой,
Дикой, глупой, скучной, злой...

Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Бандероли не вскрывая,
Вы спокойно, не читая,
Их бросайте за буфет.

<1910>

ДВА ЖЕЛАНИЯ

1

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты...
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.

2

Сжечь корабли и впереди, и сзади,
Лечь на кровать, не глядя ни на что,
Уснуть без снов и, любопытства ради,
Проснуться лет чрез сто.

<1909>

БЫТ

МЯСО

(Шарж)

Брандахлысты в белых брючках
В лаун-теннисном азарте
Носят жирные зады.

Вкруг площадки, в модных штучках,
Крутобедрые Астарты,
Как в торговые ряды,

Зазывают кавалеров
И глазами, и боками,
Обещая *всё* для *всех*.

И гирлянды офицеров,
Томно дрыгая ногами,
«Сладкий празднуют успех».

В лакированных копытах
Ржут пажи и роют гравий,
Изгибаясь, как лоза, —

На раскормленных досыта
Содержанок, в модной славе,
Щуря сальные глаза.

Щеки, шеи, подбородки,
Водопадом в бюст свергаясь,
Пропадают в животе,

Колыхаются, как лодки,
И, шелками выпираясь,
Вопиют о красоте.

Как ходячие шнель-клопсы,
На коротких, пухлых ножках
(Вот хозяек дубликат!)

Грандиознейшие мопсы
Отдыхают на дорожках
И с достоинством хрипят.

Шипр и пот, французский говор...
Старый хрен в английском платье
Гладит ляжку и мычит.

Дипломат, шпион иль повар?
Но без формы люди — братья:
Кто их, к черту, различит?..

Как наполненные ведра
Растопыренные бюсты
Проплывают без конца —

И опять зады и бедра...
Но над ними — будь им пусто! —
Ни единого лица!

Лето 1909

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОРЕ

(Всем добрым знакомым с отчаянием посвящаю)

Итак — начинается утро.
Чужой, как река Брахмапутра,
В двенадцать влетает знакомый.
«Вы дома?» К несчастью, я дома.
В кармане послав ему фигу,
Бросаю немецкую книгу
И слушаю, вял и суров,
Набор из ненужных мне слов.
Вчера он торчал на концерте —

Ему не терпелось до смерти
Обрушить на нервы мои
Дешевые чувства свои.

Обрушил! Ах, в два пополудни
Мозги мои были как студни...
Но, дверь запирая за ним
И жаждой работы томим,
Услышал я новый звонок:
Пришел первокурсник-щенок.
Несчастный влюбился в кого-то...
С багровым лицом идиота
Кричал он о «ней», о богине,
А я ее толстой гусыней
В душе называл беспощадно...
Не слушал! С улыбкою стадной
Кивал головою сердечно
И мямлил: «Конечно, конечно».

В четыре ушел он... В четыре!
Как тигр я шагал по квартире,
В пять ожил и, вытерев пот,
За прерванный сел перевод.
Звонок... С добродушием ведьмы
Встречаю поэта в передней.
Сегодня собрат именинник
И просит дать взáймы полтинник.
«С восторгом!» Но он... остается!
В столовую томно плетется,
Извлек из-за пазухи кипу
И с хрипом, и сипом, и скрипом
Читает, читает, читает...
А бес меня в сердце толкает:
Ударь его лампою в ухо!
Всади кочергу ему в брюхо!

Квартира? Танцкласс ли? Харчевня?
Прилезла рябая девица:
Нечаянно «Месяц в деревне»
Прочла и пришла «поделиться»...
Зачем она замуж не вышла?
Зачем (под лопатки ей дышло!)

Ко мне направляясь, сначала
Она под трамвай не попала?
Звонок... Шаромыжник бродячий,
Случайный знакомый по даче,
Разделся, подсел к фортепьяно
И лупит. Не правда ли, странно?
Какие-то люди звонили.
Какие-то люди входили.
Боясь, что кого-нибудь плюхну,
Я бегал тихонько на кухню
И плакал за вьюшкою грязной
Над жизнью своей безобразной.

<1910>

ОБСТАНОВОЧКА

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.
Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.
Над самой головой насвистывает чижик
(Хоть птичка божия не кушала с утра),
На блюдце киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.
Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастия полуоткрывши рот,
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,
Трагичным голосом взволнованно орет.
Безбровая сестра в облезлой кацавейке
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жиличка-белошвейка
Поет романс: «Пойми мою печаль».
Как не понять? В столовой тараканы,
Оставя черствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезжат сочувственно стаканы,
И сырость капает слезами с потолка.

<1909>

СОВЕРШЕННО ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ

(Полька)

Левой, правой, кучерявый,
Что ты ерзаешь, как черт?
Угощение на славу,
Музыканты — первый сорт.
Вот смотри:
Раз, два, три.
Прыгай, дрыгай до зари.

Ай, трещат мои мозоли
И на юбке позумент!
Руки держит, как франзоли,
А еще интеллигент.
Ах, чудак,
Ах, дурак!
Левой, правой, — вот так-так!

Трим-ти, тим-ти — без опаски,
Трим-тим-тим — кружись вперед!
Что в очки запрятал глазки?
Разве я, топ-топ, урод?
Топ-топ-топ,
Топ-топ-топ...
Оботри платочком лоб.

Я сегодня без обеда,
И не надо — ррри-ти-ти.
У тебя-то, буквоеда,
Тоже денег не ахти?
Ну и что ж —
Наживешь.
И со мной, топ-топ, пропьешь.

Думай, думай — не поможет!
Сорок бед — один ответ:
Из больницы на рогоже
Стащат черту на обед.
А пока,
Ха-ха-ха,
Не толкайся под бока!

Все мы люди-человеки...
Будем польку танцевать.
Даже нищие-калеки
Не желают умирать.
Цок-цок-цок
Каблучок,
Что ты морщишься, дружок?

Ты ли, я ли — всем не сладко,
Знаю, котик, без тебя.
Веселись же хоть украдкой,
Танцы — радость, книжки — бя.
Лим-тим-тись,
Берегись.
Думы к черту, скука — брысь!

<1910>

СЛУЖБА СБОРОВ

Начальник Акцептации сердит:
Нашел просчет в копейку у Орлова.
Орлов уныло бровью шевелит
И про себя бранится: «Ишь, бандит!»
Но из себя не выпустит ни слова.

Вокруг сухой, костлявый, дробный треск —
Как пальцы мертвецов, бряцают счеты.
Начальнической плеши строгий блеск
С бычачьим лбом сливается в гротеск, —
Но у Орлова любоваться нет охоты.

Конторщик Кузькин бесконечно рад:
Орлов на лестнице стыдил его невесту,
Что Кузькин как товарищ — хам и гад,
А как мужчина — жаба и кастрат...
Ах, может быть, Орлов лишится места!

В соседнем отделении содом:
Три таксировщика, увлекшись чехардою,
Бодают пол. Четвертый же, с трудом
Соблазн преодолев, с досадой и стыдом
Им укоризненно кивает бородою.

Но в коридоре тьма и тишина.
Под вешалкой таинственная пара —
Он руки растопырил, а *она*
Щемящим голосом взывает: «Я жена...
И муж не вынесет подобного удара!»

По лестницам красавицы снуют,
Пышнее и вульгарнее гортензий.
Их сослуживцы «фаворитками» зовут —
Они не трудятся, не сеют — только жнут,
Любимицы Начальника Претензий...

В буфете чавкают, жуют, сосут, мычат.
Берут пирожные в надежде на прибавку.
Капуста и табак смесились в едкий чад.
Конторщицы ругают шоколад
И бюст буфетчицы, дрожащий на прилавке...

Второй этаж. Дубовый кабинет.
Гигантский стол. Начальник Службы Сборов,
Поймав двух мух, покуда дела нет,
Пытается определить на свет,
Какого пола жертвы острых взоров.

Внизу в прихожей бывший гимназист
Стоит перед швейцаром без фуражки.
Швейцар откормлен, груб и неречист:
«Ведь грамотный, поди, не трубочист!
„Нет мест“ — вон на стене висит бумажка».

<1909>

ОКРАИНА ПЕТЕРБУРГА

Время года неизвестно.
Мгла клубится пеленой.
С неба падает отвесно
Мелкий бисер водяной.

Фонари горят как бельма,
Липкий смрад навис кругом,

За рубашку ветер-шельма
Лезет острым холодком.

Пьяный чуйка обнял нежно
Мокрый столб — и голосит.
Бесконечно, безнадежно
Кислый дождик моросит...

Поливает стены, крыши,
Землю, дрожки, лошадей.
Из ночной пивной всё лише
Граммофон хрипит, злодей.

«Па-ца-луем дай забвенье!»
Прямо за сердце берет.
На панели тоже пенье:
Проститутку дворник бьет.

Брань и звуки заушений...
И на них из всех дверей
Побежали светотени
Жадных к зрелищу зверей.

Смех, советы, прибаутки,
Хлипкий плач, свистки и вой —
Мчится к бедной проститутке
Постовой городовой.

Увели.. Темно и тихо.
Лишь в ночной пивной вдали
Граммофон выводит лихо:
«Муки сердца утоли!»

<1910>

НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ

Дамы в шляпках «кэк-уоках»,
Холодок публичных глаз,
Лица в складках и отеках,
Трэны, перья, ленты, газ.

В незначительных намеках —
Штемпеля готовых фраз.

Кисло-сладкие мужчины,
Знаменитости без лиц,
Строят знающие мины,
С видом слушающих птиц
Шевелюры клонят ниц
И исследуют причины.

На стене упорный труд —
Вдохновенье и бездарность...
Пусть же мудрый и верблюд
Совершают строгий суд:
Отрицанье, благодарность
Или звонкий словоблуд...

Умирающий больной.
Фиолетовые свиньи.
Стая галок над копной.
Блюдо раков. Пьяный Ной.
Бюст молочницы Аксиньи,
И кобыла под сосной.

Вдохновенное Nocturno, [1]
Рядом рыжий пиджачок,
Растопыренный над урной...
Дама смотрит в кулачок
И рассеянным: «Недурно!»
Налепляет ярлычок.

Да? Недурно? Что — Nocturno?
Иль яичница-пиджак?
Генерал вздыхает бурно
И уводит даму. Так...
А сосед глядит в кулак
И ругается цензурно...

<1910>

---

[1] Ночное, здесь — ночной пейзаж (лат.).

ЖИЗНЬ

У двух проституток сидят гимназисты:
Дудиленко, Барсов и Блок.
На Маше — персидская шаль и монисто,
На Даше — боа и платок.

Оплыли железнодорожные свечи.
Увлекшись азартным банчком,
Склоненные головы, шеи и плечи
Следят за чужим пятачком.

Играют без шулерства. Хочется люто
Порой игроку сплутовать.
Да жутко! В миг с хохотом бедного плута
Засунут силком под кровать.

Лежи, как в берлоге, и с завистью острой
Следи за игрой и вздыхай, —
А там на заманчивой скатерти пестрой
Баранки, и карты, и чай...

Темнеют уютными складками платья.
Две девичьих русых косы.
Как будто без взрослых здесь сестры и братья
В тиши коротают часы.

Да только по стенкам висят офицеры...
Не много ли их для сестер?
На смятой подушке бутылка мадеры,
И страшно затоптан ковер.

Стук в двери. «Ну, други, простите, к нам гости!»
Дудиленко, Барсов и Блок
Встают, торопясь, и без желчи и злости
Уходят готовить урок.

<1910>

НА ВЕРБЕ

Бородатые чуйки с голодными глазами
Хрипло предлагают «животрепещущих докторов».
Гимназисты поводят бумажными усами,
Горничные стреляют в суконных юнкеров.

Шаткие лари, сколоченные наскоро,
Холерного вида пряники и халва,
Грязь под ногами хлюпает так ласково,
И на плечах болтается чужая голова.

Червонные рыбки из стеклянной обители
Грустно-испуганно смотрят на толпу.
«Вот замечательные американские жители —
Глотают камни и гвозди, как крупу!»

Писаря выражаются вдохновенно-изысканно,
Знакомятся с модистками и переходят на ты,
Сгущенный воздух переполнился писками,
Кричат бирюзовые бумажные цветы.

Деревья вздрагивают черными ветками,
Капли и бумажки падают в грязь.
Чужие люди толкутся между клетками
И месят ногами пеструю мазь.

<1909>

ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН

Пан-пьян! Красные яички.
Пьян-пан! Красные носы.
Били-бьют! Радостные личики.
Бьют-били! Груды колбасы.

Дал-дам! Праздничные взятки.
Дам-дал! И этим и тем.
Пили-ели! Визиты в перчатках.
Ели-пили! Водка и крем.

Пан-пьян! Наливки и студни.
Пьян-пан! Боль в животе.
Били-бьют! И снова будни.
Бьют-били! Конец мечте.

<1909>

НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДАЧЕ

Промокло небо и земля,
Душа и тело отсырели.
С утра до вечера скуля,
Циничный ветер лезет в щели.
Дрожу, как мокрая овца...
И нет конца, и нет конца!

Не ем прекрасных огурцов,
С тоской смотрю на землянику:
Вдруг отойти в страну отцов
В холерных корчах — слишком дико...
Сам Мережковский учит нас,
Что смерть страшна, как папуас.

В объятьях шерстяных носков
Смотрю, как дождь плюет на стекла.
Ах, жив бездарнейший Гучков,
Но нет великого Патрокла!
И в довершение беды
Гучков не пьет сырой воды.

Ручьи сбегают со стволов.
Городовой надел накидку.
Гурьба учащихся ослов
Бежит за горничною Лидкой.
Собачья свадьба... Чахлый гром.
И два спасенья: бром и ром.

На потолке в сырой тени
Уснули мухи. Сатанею...
Какой восторг в такие дни
Узнать, что шаху дали в шею!

И только к вечеру поймешь,
Что твой восторг — святая ложь...

Горит свеча. Для счета дней
Срываю листик календарный —
Строфа из Бальмонта. Под ней:
«Борщок, шнель-клопс и мусс янтарный».
Дрожу, как мокрая овца...
И нет конца, и нет конца!

<1909>

НОЧНАЯ ПЕСНЯ ПЬЯНИЦЫ

Темно...
Фонарь куда-то к черту убежал!
Вино
Качает толстый мой фрегат, как в шквал...
Впотьмах
За телеграфный столб держусь рукой.
Но, ах!
Нет вовсе сладу с правою ногой:
Она
Вокруг меня танцует — вот и вот...
Стена
Всё время лезет прямо на живот.
Свинья!!
Меня назвать свиньею? Ах, злодей!
Меня,
Который благородней всех людей?!
Убью!
А, впрочем, милый малый, бог с тобой —
Я пью,
Но так уж предназначено судьбой.
Ослаб...
Дрожат мои колени — не могу!
Как раб,
Лежу на мостовой и ни гу-гу...
Реву...
Мне нынче сорок лет — я нищ и глуп.

В траву
Заройте наспиртованный мой труп.
В ладье
Уже к чертям повез меня Харон...
Adieu! [1]
Я сплю, я сплю, я сплю со всех сторон...

<1909>

ГОРОДСКАЯ СКАЗКА

Профиль тоньше камеи,
Глаза как спелые сливы,
Шея белее лилеи
И стан как у леди Годивы.

Деву с душою бездонной,
Как первая скрипка оркестра, —
Недаром прозвали мадонной
Медички шестого семестра.

Пришел к мадонне филолог,
Фаддей Симеонович Смяткин.
Рассказ мой будет недолог:
Филолог влюбился по пятки.

Влюбился жестоко и сразу
В глаза ее, губы и уши,
Цедил за фразою фразу,
Томился, как рыба на суше.

Хотелось быть ее чашкой,
Братом ее или теткой,
Ее эмалевой пряжкой
И даже зубной ее щеткой!..

«Устали, Варвара Петровна?
О, как дрожат ваши ручки!» —
Шепнул филолог любовно,
А в сердце вонзились колючки.

---

[1] Прощайте! (франц.). — *Ред.*

«Устала. Вскрывала студента:
Труп был жирный и дряблый.
Холод... Сталь инструмента.
Руки, конечно, иззябли.

Потом у Калинкина моста
Смотрела своих венеричек.
Устала: их было до́ ста.
Что с вами? Вы ищете спичек?

Спички лежат на окошке.
Ну, вот. Вернулась обратно,
Вынула почки у кошки
И зашила ее аккуратно.

Затем мне с подругой достались
Препараты гнилой пуповины.
Потом... был скучный анализ:
Выделенье в моче мочевины...

Ах, я! Прошу извиненья:
Я роль хозяйки забыла —
Коллега! Возьмите варенья, —
Сама сегодня варила».

Фа́ддей Симеонович Смяткин
Сказал беззвучно: «Спасибо!»
А в горле ком кисло-сладкий
Бился, как в неводе рыба.

Не хотелось быть ее чашкой,
Ни братом ее и ни теткой,
Ни ее эмалевой пряжкой,
Ни зубной ее щеткой!

<1909>

ЛАБОРАНТ И МЕДИЧКИ

1

Он сидит среди реторт
И ругается, как черт:
«Грымзы! Кильки! Бабы! Совы!

Безголовы, бестолковы —
Йодом залили сюртук,
Не закрыли кран... Без рук!
Бьют стекло, жужжат, как осы...
А дурацкие вопросы?
А погибший матерьял?
О, как страшно я устал!»

Лаборант встает со стула.
В уголок идет сутуло
И, издав щемящий стон,
В рот сует пирамидон.

2

А на лестнице медички
Повторяли те же клички:
«Грымза! Килька! Баба! Франт!
Безголовый лаборант...
На невиннейший вопрос
Буркнет что-нибудь под нос;
Придирается, как дама, —
Ядовито и упрямо,
Не простит простой ошибки!
Ни привета, ни улыбки...»

Визг и писк. Блестят глазами,
Машут красными руками:
«О, несноснейший педант,
Лаборашка, лаборант!»

3

Час занятий. Шепот. Тишь.
Девы гнутся, как камыш,
Девы все ушли в работы.
Где же «грымзы»? Где же счеты?
Лаборант уже не лев
И глядит бочком на дев,
Как колибри на боа.

Девы тоже трусят льва:
Очень страшно, очень жутко —
Оскандалиться не шутка!

Свист горелок. Тишина.
Ноет муха у окна.
Где Юпитер? Где Минервы?
Нервы, нервы, нервы, нервы...

<1909>

В ГОСТЯХ

(Петербург)

Холостой стаканчик чаю
(Хоть бы капля коньяку),
На стене босой Толстой.
    Добросовестно скучаю
    И зеленую тоску
    Заедаю колбасой.

Адвокат ведет с коллегой
Специальный разговор.
Разорвись — а не поймешь!
    А хозяйка с томной негой,
    Устремив на лампу взор,
    Поправляет бюст и брошь.

«Прочитали Метерлинка?»
— «Да. Спасибо, прочитал...»
— «О, какая красота!»
    И хозяйкина ботинка
    Взволновалась, словно в шквал.
    Лжет ботинка, лгут уста...

У рояля дочь в реформ'е,
Взяв рассеянно аккорд,
Стилизованно молчит.
    Старичок в военной форме
    Прежде всех побил рекорд —
    За экран залез и спит.

Толстый доктор по ошибке
Жмет мне ногу под столом.
Я страдаю и терплю.
Инженер зудит на скрипке.
Примирясь и с этим злом,
Я и бодрствую, и сплю.

Что бы вслух сказать такое?
Ну-ка, опыт, выручай!
«Попрошу... еще стакан»...
Ем вчерашнее жаркое,
Кротко пью холодный чай
И молчу, как истукан.

<1908>

ЕВРОПЕЕЦ

В трамвае, набитом битком,
Средь двух гимназисток, бочком,
Сижу в настроеньи прекрасном.

Панама сползает на лоб.
Я — адски пленительный сноб,
В накидке и в галстуке красном.

Пассаж не спеша осмотрев,
Вхожу к «Доминику», как лев,
Пью портер, малагу и виски.

По карте, с достоинством ем
Сосиски в томате и крем,
Пулярдку и снова сосиски.

Раздуло утробу копной...
Сановный швейцар предо мной
Толкает бесшумные двери.

Умаявшись, сыт и сонлив,
И руки в штаны заложив,
Сижу в Александровском сквере.

Где б вечер сегодня убить?
В «Аквариум», что ли, сходить,
Иль, может быть, к Мэри слетаю?

В раздумье на мамок смотрю,
Вздыхаю, зеваю, курю
И «Новое время» читаю...

Шварц, Персия, Турция... Чушь!
Разносчик! Десяточек груш...
Какие прекрасные грушки!

А завтра в двенадцать часов
На службу явиться готов,
Чертить на листах завитушки.

Однако: без четверти шесть.
Пойду-ка к «Медведю» поесть,
А после — за галстуком к Кнопу.

Ну как в Петербурге не жить?
Ну как Петербург не любить
Как русский намек на Европу?

<1910>

МУХИ

На дачной скрипучей веранде
Весь вечер царит оживленье.
К глазастой художнице Ванде
Случайно сползлись в воскресенье
Провизор, курсистка, певица,
Писатель, дантист и девица.

«Хотите вина иль печенья?» —
Спросила писателя Ванда,
Подумав в жестоком смущеньи:
«Налезла огромная банда!
Пожалуй, на столько баранов
Не хватит ножей и стаканов».

Курсистка упорно жевала.
Косясь на остатки от торта,
Решила спокойно и вяло:
«Буржуйка последнего сорта».
    Девица с азартом макаки
    Смотрела писателю в баки.

Писатель, за дверью на полке
Не видя своих сочинений,
Подумал привычно и колко:
«Отсталость!» И стал в отдаленьи,
    Засунувши гордые руки
    В трико́вые стильные брюки.

Провизор, влюбленный и потный,
Исследовал шею хозяйки,
Мечтая в истоме дремотной:
«Ей-богу! Совсем как из лайки...
    О, если б немножко потрогать!»
    И вилкою чистил свой ноготь.

Певица пускала рулады
Всё реже, и реже, и реже.
Потом, покраснев от досады,
Замолкла: «Не просят! Невежи...
    Мещане без вкуса и чувства!
    Для них ли святое искусство?»

Наелись. Спустились с веранды
К измученной пыльной сирени.
В глазах умирающей Ванды
Любезность, тоска и презренье:
    «Свести их к пруду иль в беседку?
    Спустить ли с веревки Валетку?»

Уселись под старой сосною.
Писатель сказал: «Как в романе...»
Девица вильнула спиною,
Провизор порылся в кармане
        И чиркнул над кислой певичкой
        Бенгальскою красною спичкой.

<1910>

КУХНЯ

Тихо тикают часы
На картонном циферблате.
Вязь из розочек в томате
И зеленые усы.

Возле раковины щель
Вся набита прусаками,
Под иконой ларь с дровами
И двугорбая постель.

Над постелью бывший шах,
Рамки в ракушках и бусах, —
В рамках — чучела в бурнусах
И солдаты при часах.

Чайник ноет и плюет.
На окне обрывок книжки:
«Фаршированные пышки»,
«Шведский яблочный компот».

Пахнет мыльною водой,
Старым салом и угаром.
На полу пред самоваром
Кот сидит как неживой.

Пусто в кухне. «Тик» да «так».
А за дверью на площадке
Кто-то пьяненький и сладкий
Ноет: «Дарья, четвер-так!»

<1922>

В РЕДАКЦИИ ТОЛСТОГО ЖУРНАЛА

Серьезных лиц густая волосатость
И двухпудовые, свинцовые слова:
«Позитивизм», «идейная предвзятость»,
«Спецификация», «реальные права»...

Жестикулируя, бурля и споря,
Киты редакции не видят двух персон:
Поэт принес «Ночную песню моря»,
А беллетрист — «Последний детский сон».

Поэт присел на самый кончик стула
И кверх ногами развернул журнал,
А беллетрист покорно и сутуло
У подоконника на чьи-то ноги стал.

Обносят чай... Поэт взял два стакана,
А беллетрист не взял ни одного.
В волнах серьезного табачного тумана
Они уже не ищут ничего.

Вдруг беллетрист, как леопард, в поэта
Метнул глаза: «Прозаик или нет?»
Поэт и сам давно искал ответа:
«Судя по галстуку, похоже, что поэт»...

Подходит некто в сером, но по моде,
И говорит поэту: «Плач земли? ..»
— «Нет, я вам дал три „Песни о восходе“».
И некто отвечает: «Не пошли!»

Поэт поник. Поэт исполнен горя:
Он думал из «Восходов» сшить штаны!
«Вот здесь еще „Ночная песня моря“,
А здесь — „Дыханье северной весны"».

— «Не надо, — отвечает некто в сером: —
У нас лежит сто весен и морей».
Душа поэта затянулась флером,
И розы превратились в сельдерей.

«Вам что?» И беллетрист скороговоркой:
«Я год назад прислал „Ее любовь“».
Ответили, пошаривши в конторке:
«Затеряна. Перепишите вновь».

— «А вот, не надо ль? — беллетрист запнулся. —
Здесь... семь листов — „Последний детский сон“».
Но некто в сером круто обернулся —
В соседней комнате залаял телефон.

Чрез полчаса, придя от телефона,
Он, разумеется, беднягу не узнал
И, проходя, лишь буркнул раздраженно:
«Не принято! Ведь я уже сказал!..»

На улице сморкался дождь слюнявый.
Смеркалось... Ветер. Тусклый, дальний гул.
Поэт с «Ночною песней» взял направо,
А беллетрист налево повернул.

Счастливый случай скуп и черств, как Плюшкин.
Два жемчуга опять на мостовой...
Ах, может быть, поэт был новый Пушкин,
А беллетрист был новый Лев Толстой?!

Бей, ветер, их в лицо, дуй за сорочку —
Надуй им жабу, тиф и дифтерит!
Пускай не продают души в рассрочку,
Пускай душа их без штанов парит...

Между 1906 и 1909

«СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ»

(1809—1909)

Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Когда б сейчас из гроба встать ты мог,
Любой прыщавый декадентский щеголь
Сказал бы: «Э, какой он, к черту, бог?
Знал быт, владел пером, страдал. Какая редкость!
А стиль, напевность, а прозрения печать,
А темно-звонких слов изысканная меткость?..
Нет, старичок... Ложитесь в гроб опять!»

Есть между ними, правда, и такие,
Что дерзко от тебя ведут свой тусклый род
И, лицемерно пред тобой согнувши выи,
Мечтают сладенько: «Придет и мой черед!»
Но от таких «своих», дешевых и развязных,
Удрал бы ты, как Подколесин, чрез окно...
Царят! Бог их прости, больных, пустых и грязных,
А нам они наскучили давно.

Пусть их шумят... Но где *твои* герои?
Все живы ли, иль, небо прокоптив,
В углах медвежьих сгнили на покое
Под сенью благостной крестьянских тучных нив?
Живут... И как живут! Ты, встав сейчас из гроба,
Ни одного из них, наверно, б не узнал:
Павлуша Чичиков — сановная особа
И в интендантстве патриотом стал —

На мертвых душ портянки поставляет
(Живым они, пожалуй, ни к чему),
Манилов в Третьей Думе заседает
И в председатели был избран... по уму.
Петрушка сдуру сделался поэтом
И что-то мажет в «Золотом руне»,
Ноздрев пошел в охранное — и в этом
Нашел свое призвание вполне.

Поручик Пирогов с успехом служит в Ялте
И сам сапожников по праздникам сечет,

Чуб стал союзником и об еврейском гвалте
С большою эрудицией поет.
Жан Хлестаков работает в «России»,
Затем — в «Осведомительном бюро»,
Где чувствует себя совсем в родной стихии:
Разжился, раздобрел, — вот борзое перо!..

Одни лишь черти, Вий да ведьмы и русалки,
Попавши в плен к писателям modernes,[1]
Зачахли, выдохлись и стали страшно жалки,
Истасканные блудом мелких скверн...
Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Как хорошо, что ты не можешь встать...
Но *мы* живем! Боюсь — не слишком много ль
Нам надо слышать, видеть и молчать?

И в праздник твой, в твой праздник благородный,
С глубокой горечью хочу тебе сказать:
«Ты был для нас источник многоводный,
И мы к тебе пришли теперь опять, —
Но «смех сквозь слезы» радостью усталой
Не зазвенит твоим струнам в ответ...
Увы, увы... Слез более не стало,
И смеха нет».

1909

СТИЛИЗОВАННЫЙ ОСЕЛ

(Ария для безголосых)

Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам.
По ночам я шатаюсь с распутными пьяными Феклами,
По утрам я хожу к докторам.
Тарарам.

Я волдырь на сиденье прекрасной российской
словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалезно-всемирной известности,
И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.

---

[1] Модернистам (франц.). — *Ред.*

Я люблю апельсины и всё, что случайно рифмуется,
У меня темперамент макаки и нервы как сталь.
Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется
И вопит: «Не поэзия — шваль!»

Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,
Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,
Прыщ с головкой белее несказанно-жженной магнезии
И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.

Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы!
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.
Кто не понял — невежда. К нечистому! накося-выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу...

Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками,
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,
Зарифмую всё это для стиля яичными смятками
И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках...

<1909>

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Она была поэтесса,
Поэтесса бальзаковских лет.
А он был просто повеса,
Курчавый и пылкий брюнет.
Повеса пришел к поэтессе.
В полумраке дышали духи,
На софе, как в торжественной мессе,
Поэтесса гнусила стихи:
«О, сумей огнедышащей лаской
Всколыхнуть мою сонную страсть.
К пене бедер, за алой подвязкой
Ты не бойся устами припасть!
Я свежа, как дыханье левкоя,
О, сплетем же истомности тел!..»
Продолжение было такое,
Что курчавый брюнет покраснел.
Покраснел, но оправился быстро
И подумал: была не была!

Здесь не думские речи министра,
Не слова здесь нужны, а дела...
С несдержанной силой кентавра
Поэтессу повеса привлек,
Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!»
Охладило кипучий поток.
«Простите... — вскочил он, — вы сами...»
Но в глазах ее холод и честь:
«Вы смели к порядочной даме,
Как дворник, с объятьями лезть?!»
Вот чинная Мавра. И задом
Уходит испуганный гость.
В передней растерянным взглядом
Он долго искал свою трость...
С лицом белее магнезии
Шел с лестницы пылкий брюнет:
Не понял он новой поэзии
Поэтессы бальзаковских лет.

<1909>

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

(Посвящается исписавшимся «популярностям»)

Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать...
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать!

Патлы дыбом взлохмачены,
Отупел, как овца, —
Ах, все рифмы истрачены
До конца, до конца!..

Мне, правда, нечего сказать сегодня, как всегда,
Но этим не был я смущен, поверьте, никогда —
Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал,
И в жизнерадостных стихах, как жеребенок, ржал.

Паралич спинного мозга?
Врешь, не сдамся! Пень — мигрень,
Бебель — стебель, мозга — розга,
Юбка — губка, тень — тюлень.

Рифму, рифму! Иссякаю —
К рифме тему сам найду...
Ногти в бешенстве кусаю
И в бессильном трансе жду..

Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин — разбитым горшком...

Нет, не сдамся... Папа — мама,
Дратва — жатва, кровь — любовь,
Драма — рама — панорама,
Бровь — свекровь — морковь... носки!

<1908>

ДВА ТОЛКА

Одни кричат: «Что форма? Пустяки!
Когда в хрусталь налить навозной жижи —
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»

Другие возражают: «Дураки!
И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди».

Им спора не решить... А жаль!
Ведь можно наливать... *вино в хрусталь.*

<1909>

НЕТЕРПЕЛИВОМУ

Не ной... Толпа тебя, как сводня,
К успеху жирному толкнет,
И в пасть рассчетливых тенет
Ты залучишь свое «сегодня».

Но знай одно — успех не шутка:
Сейчас же предъявляет счет.
Не заплатил — как проститутка,
Не доночует и уйдет.

<1910>

НЕДЕРЖАНИЕ

У поэта умерла жена...
Он ее любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.

После похорон пришел домой — до дна
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
«У поэта умерла жена».

<1909>

СИРОПЧИК

(Посвящается «детским» поэтессам)

Дама, качаясь на ветке,
Пикала: «Милые детки!
Солнышко чмокнуло кустик,
Птичка оправила бюстик
И, обнимая ромашку,
Кушает манную кашку...»

Дети, в оконные рамы
Хмуро уставясь глазами,
Полны недетской печали,
Даме в молчаньи внимали.
Вдруг зазвенел голосочек:
«Сколько напикала строчек?»

<1910>

ИСКУССТВО В ОПАСНОСТИ

Литературного ордена
Рыцари! Встаньте, горим!!
Книжка Владимира Гордина
Вышла изданьем вторым.

1910

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ АРТЕЛЬ

Все мозольные операторы,
Прогоревшие ресторараторы,
Остряки-паспортисты,
Шато-куплетисты и бильярд-оптимисты
Валом пошли в юмористы.
Сторонись!

Заказали обложки с макаками,
Начинили их сорными злаками:
Анекдотами длинно-зевотными,
Остротами скотными,
Зубоскальством
И просто нахальством.
Здравствуй, юмор российский,
Суррогат под-английский!
Галерка похлопает,
Улица слопает...
Остальное — не важно.

Раз-раз!
В четыре странички рассказ —
Пожалуйста, смейтесь:
Сюжет из пальца,
Немножко сальца,
Психология рачья,
Радость телячья,
Штандарт скачет,
Лейкин в могиле плачет:
Обокрали, канальи!

Самое время для ржанья!
Небо, песок и вода,
Посреди — улюлюканье травли...
Опостыли исканья,
Павлы полезли в Савлы,
Страданье прокисло в нытье,
Безрыбье — в безра́чье...
Положенье собачье!
Чем наполнить житье?

Средним давно надоели
Какие-то (черта ль в них!) цели —
Нельзя ли попроще: театр в балаган,
Литературу в канкан.
Ры-нок тре-бу-ет сме-ха!

С пылу, с жару,
Своя реклама,
Побольше гама
(Вдруг спрос упадет!),
Пятак за пару —
Держись за живот:
Пародии на пародии,
Чревоугодие,
Комический случай в Батуме,
Самоубийство в Думе,
Случай в спальне —
Во вкусе армейской швальни,
Случай с пьяным в Калуге,
Измена супруги.
Самоубийство и Дума....

А жалко: юмор прекрасен —
Крыловских ли басен,
Иль чеховских «Пестрых рассказов»,
Где строки как нити алмазов,
Где нет искусства смешить
До потери мысли и чувства,
Где есть... просто искусство
В драгоценной оправе из смеха.

Акулы успеха!
Осмелюсь спросить —
Что вы нанизали на нить?
Картонных паяцев. Потянешь — смешно,
Потом надоест — за окно.
Ах, скоро будет тошнить
От самого слова «юмор»!..

<1911>

ЕДИНСТВЕННОМУ В СВОЕМ РОДЕ

Между Толстым и Гоголем Суворин
Справляет юбилей.
Тон юбилейный должен быть мажорен:
Ври, красок не жалей!
Позвольте ж мне с глубоким реверансом,
Маститый старичок,
Почтить вас кисло-сладеньким романсом
(Я в лести новичок):

Полсотни лет,
Презревши все «табу»,
Вы с тьмой и ложью, как Гамлéт,
Вели борьбу.

Свидетель бог!
Чтоб отложить в сундук —
Вы не лизали сильных ног,
Ни даже рук.

Вам всё равно —
Еврей ли, финн, иль грек,
Лишь был бы только не «Евно»,
А человек.

Твои глаза
(Перехожу на ты!),
Как брюк жандармских бирюза,
Всегда чисты.

Ты vis-à-vis [1]
С патриотизмом — пол
По объявленьям о любви
Свободно свел.

И орган твой,
Кухарок нежный друг,
Всегда был верный часовой
Для верных слуг...

---

[1] Друг против друга (франц.). — *Ред.*

...На лире лопнули струны со звоном!..
Дрожит фальшивый, пискливый аккорд...
С мяуканьем, с визгом, рычаньем и стоном
Несутся кошмаром тысячи морд:
Наглость и ханжество, блуд, лицемерье,
Ненависть, хамство, и жадность, и лесть,
Несутся, слюнявят кровавые перья
И чертят по воздуху: Правда и Честь!

1909

ПО МЫТАРСТВАМ

У райских врат гремит кольцом
Душа с восторженным лицом:
«Тук-тук! Не слышат... вот народ!
К вам редкий праведник грядет!»

И после долгой тишины
Раздался глас из-за стены:
«Здесь милосердие царит, —
Но кто ты? Чем ты знаменит?»

— «Кто я?! Не жид, не либерал!
Я „Письма к ближним“ сочинял...»
За дверью топот быстрых ног,
Краснеет райских врат порог.

У адских врат гремит кольцом
Душа с обиженным лицом:
«Эй, там! Скорее, Асмодей!
Грядет особенный злодей...»

Визгливый смех пронзает тишь:
«Ну, этим нас не удивишь!
Отца зарезал ты иль мать?
У нас таких мильонов пять».

— «Я никого не убивал —
Я „Письма к ближним“ сочинял...»
За дверью топот быстрых ног.
Краснеет адских врат порог.

Душа вернулась на погост —
И здесь вопрос не очень прост:
Могилы нет... Песок изрыт,
И кол осиновый торчит...

Совсем обиделась душа
И, воздух бешено круша,
В струях полуночных теней
Летит к редакции своей.

Впорхнувши в форточку клубком,
Она вдоль стен бочком, бочком,
И шмыг в плевательницу. «О!
Да здесь уютнее всего!»

Наутро кто-то шел спеша
И плюнул. Нюхает душа:
«Лук, щука, перец... Сатана!
Ужель еврейская слюна?!»

— «Ах, только я был верный щит!»
И в злобе выглянуть спешит,
Но сразу стих священный гнев:
«Ага! Преемник мой — Азеф!»

1909

ПАНУРГОВА МУЗА

Обезьяний стильный профиль,
Щелевидные глаза,
Губы — клецки, нос — картофель:
Ни девица, ни коза.

Волоса — как хвост селедки,
Бюста нет — сковорода,
И растет на подбородке —
Гнусно молвить — борода.

Жесты резки, ноги длинны,
Руки выгнуты назад,
Голос тоньше паутины
И клыков подгнивших ряд.

Ах ты, душечка! Смеется, —
Отворила ворота...
Сногсшибательно несется
Кислый запах изо рта.

Щелки глаз пропали в коже,
Брови лысые дугой.
Для чего, великий боже,
Выводить ее нагой?!

<1910>

* * *

Я обращаюсь к писателям, художникам, устроителям с горячим призывом не участвовать в деле, разлагающем общество...

А. Блок («Вечера „искусств“»)

Молил поэта
Блок-поэт:
«Во имя Фета
Дай обет —
    Довольно выть с эстрады
    Гнусавые баллады!

Искусству вреден
Гнус и крик,
И нищ и бледен
Твой язык.
    А publicum[1] гогочет
    Над тем, кто их морочит».

Поэт на Блока
Заворчал:
«Merci![2] Урока
Я не ждал —
    Готов читать хоть с крыши
    Иль в подворотной нише!

---

[1] Публика (лат.). — *Ред.*
[2] Спасибо (франц.). — *Ред.*

Мелькну, как дикий,
Там и тут,
И шум и крики
Всё растут,
    Глядишь — меня в итоге
    На час зачислят в боги.

А если б дома
Я торчал
И два-три тома
Наточал,
    Меня б не покупали
    И даже не читали»...

Был в этом споре
Блок сражен.
В наивном горе
Думал он:
    «Ах! нынешние Феты
    Как будто не поэты...»

Между 1910 и 1913

ЧЕСТЬ

Когда раскроется игра —
Как негодуют шулера!
И как кричат о чести
И благородной мести!

<1910>

ВЕШАЛКА ДУРАКОВ

1

Раз двое третьего рассматривали в лупы
И изрекли: «Он глуп». Весь ужас здесь был в том,
Что тот, кого они признали дураком,
Был умницей, — они же были глупы.

2

«Кто этот, лгущий так туманно,
Неискренно, шаблонно и пространно?»
— «Известный мистик N, большой чудак».
— «Ах, мистик? Так... Я полагал — дурак».

3

Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осел,
Он просто чушь порол,
А нынче — ах злодей —
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на Канта.

4

Дурак рассматривал картину:
Лиловый бык лизал моржа.
Дурак пригнулся, сделал мину
И начал: «Живопись свежа...
Идея слишком символична,
Но стилизовано прилично»
(Бедняк скрывал сильней всего,
Что он не понял ничего).

5

Умный слушал терпеливо
Излиянья дурака:
«Не затем ли жизнь тосклива,
И бесцветна, и дика,
Что вокруг, в конце концов,
Слишком много дураков?»
Но, скрывая желчный смех,
Умный думал, свирепея:
«Он считает только тех,
Кто его еще глупее, —
«Слишком много» для него...
Ну а мне-то каково?»

6

Дурак и мудрецу порою кровный брат:
Дурак вовек не поумнеет,
Но если с ним заспорит хоть Сократ, —
С двух первых слов Сократ глупеет!

7

Пусть свистнет рак,
Пусть рыба запоет,
Пусть манна льет с небес, —
Но пусть дурак
Себя в себе найдет —
Вот чудо из чудес!

Между 1909 и 1910

БАЛЛАДА

(Из «Sinngedichte»[1] Людвига Фульда)

Был верный себе до кончины
Почтенный и старый шаблон.
Однажды, с насмешкой змеиной,
Кинжалом он был умерщвлен.
Когда с торжеством разделили
Наследники царство и трон, —
То новый шаблон, говорили,
Похож был на старый шаблон.

<1910>

«ТРАДИЦИИ»

Не носи сатир в газеты,
Как товар разносит фактор.
Выйдет толстенький редактор,
Сногсшибательно одетый,
Скажет: «Нам нужны куплеты
В виде хроники с гарниром.
Марков выругал Гучкова,
А у вас о сем ни слова?!

---

[1] «Эпиграммы» (нем.). — *Ред.*

Где ж сатира? В чем сатира?
Извините... Нет, не надо».
Взглянет с важностью банкира
И махнет рукой с досадой.

Не носи сатир в журналы,
Как товар разносит фактор.
Выйдет жиденький редактор,
Волосатый, полинялый.
Буркнет: «Тоже... Ювеналы!
Покупаем только строчки
С благородным содержаньем:
Осень, желтые листочки,
Две вороны на каштане,
Ветер... дождик... и молчанье...
А сатиры... Нет, не надо!»
Фыркнет, фукнет, скрестит длани
И мотнет губой с досадой...
Но, придя домой, мой милый,
Не намыливай веревку,
Не вскрывай, тоскуя, жилы,
Не простреливай головку,
А пошли-ка лучше Дашку
За грибами и селедкой,
Сядь к столу, возьми бумажку
И пиши — остро́ и четко.
Написал — прочти, почувствуй
И спроси у сердца: верно?
Только так придешь к искусству.
Остальное — злая скверна.

<1909>

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ОДНОГО «ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА»

Мы культурны: чистим зубы,
Рот и оба сапога.
В письмах вежливы сугубо —
«Ваш покорнейший слуга».

Отчего ж *при всяком споре,*
Доведенном до конца,

Мы с бессилием глупца,
Подражая папуасам,
Бьем друг друга по мордасам?
Правда, чаще — языком,
Но больней, чем кулаком.

<1909>

КОРНЕЙ БЕЛИНСКИЙ

(Посвящается К. Чуковскому)

В экзотике заглавий — пол-успеха,
Пусть в ноздри бьет за тысячу шагов:
«Корявый буйвол», «Окуни без меха!»,
«Семен Юшкевич и охапка дров».

Закрыв глаза и перышком играя,
Впадая в деланный холодно-мутный транс,
Седлает линию... Ее зовут кривая —
Она вывозит и блюдет баланс.

Начало? Гм... Тарас убил Андрея,
Не за измену Сечи... Раз, два, три!
Но потому, что ксендз и два еврея
Держали с ним на сей предмет пари.

Ведь ново! Что-с? Акробатично ново!
Затем — смешок. Стежок. Опять смешок.
И вот плоды случайного улова —
На белых нитках пляшет сотня строк.

Что дальше? Гм... Приступит к данной книжке,
Определит, что автор... мыловар,
И так смешно раздует мелочишки,
Что со страниц пойдет казанский пар.

Страница третья. Пятая. Шестая...
На сто шестнадцатой — собака через «ять»!
Так можно летом на стекле, скучая,
Мух двадцать, размахнувшись, в горсть поймать.

Надравши стружек кстати и некстати,
Потопчется еще с полсотни строк:
То выедет на áнглийской цитате,
То с реверансом автору даст в бок.

Кустарит парадокс из парадокса...
Холодный пафос недомолвок — гол,
А хитрый гнев критического бокса
Всё рвется в истерический футбол.

И наконец, когда мелькнет надежда,
Что он сейчас поймает журавля,
Он вдруг в смущеньи потупляет вежды
И торопливо... сходит с корабля!!

Post scriptum. Иногда Корней Белинский
Сечет господ, цена которым грош!
Тогда гремит в нем гений исполинский
И тогой с плёч спадает макинтош!..

Между 1909 и 1911

ЧИТАТЕЛЬ

Я знаком по последней версии
С настроением Англии в Персии
    И не менее точно знаком
С настроеньем поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
    И с газетно-журнальным песком.

Словом, чтенья всегда в изобилии —
Недосуг прочитать лишь Вергилия,
    Говорят: здоровенный талант!
Да еще не мешало б Горация —
Тоже был, говорят, не без грации...
    А Шекспир, а Сенека, а Дант?

Утешаюсь одним лишь — к приятелям
(Чрезвычайно усердным читателям)
    Как-то в клубе на днях я пристал:

«Кто читал Ювенала, Вергилия?»
Но, увы (умолчу о фамилиях),
    Оказалось — никто не читал!

Перебрал и иных для забавы я:
Кто припомнил обложку, заглавие,
    Кто цитату, а кто анекдот,
Имена переводчиков, критику...
Перешли вообще на пиитику —
    И поехали. Пылкий народ!

Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
    Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значенье статьи Бородавкина
    «О влияньи желудка на стиль»...

Утешенье, конечно, большущее...
Но в душе есть сознанье сосущее,
    Что я сам до кончины моей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
    В суете моих пестреньких дней!

<1911>

ТРАГЕДИЯ

(К вопросу о «кризисе современной русской литературы»)

Рожденный быть кассиром в тихой бане
Иль áгентом по заготовке шпал,
Семен Бубнов сверх всяких ожиданий
Игрой судьбы в редакторы попал.

Огромный стол. Перо и десть бумаги —
Сидит Бубнов, задравши кнопку-нос...
Не много нужно знаний и отваги,
Чтоб ляпать всем: «Возьмем», «Не подошло-с!»

Кто в первый раз — скостит наполовину,
Кто во второй — на четверть иль на треть...
А в третий раз — пришли хоть требушину,
Сейчас в набор, не станет и смотреть!

Так тридцать лет чернильным папуасом
Четвертовал он слово, мысль и вкус,
И наконец, опившись как-то квасом,
Икнул и помер, вздувшись, словно флюс.

В некрóлогах, средь пышных восклицаний,
Никто, конечно, вслух не произнес,
Что он, служа кассиром в тихой бане,
Наверно, больше б пользы всем принес.

<1912>

CRITICUS[1]

(К картине Бёклина)

В зубах гусиное перо,
В сухих глазах гроза расправы...
Вот он — чернильное ядро,
Цепной барбос у храма Славы.

Какая злая голова!
Вихры свирепей змей Медузы,
Лоб прокурора, челюсть льва, —
Закройте в страхе лица, Музы!..

На вашей коже он сейчас
Пересчитает все веснушки,
Нахрапом влезет на Парнас
И всех облает вас с макушки:

«Гав-гав! Мой суд — закон для всех!
Я гид с универсальным вкусом.
Чему я чужд — то смертный грех:
Бесцветно! Плоско! Двойка с плюсом!..»

Сгребет в намордник все мечты,
Польет ремесленною злобой
И к сердцу Новой Красоты
Привесит пломбу с низкой пробой.

<1922>

[1] Критик (лат.). — *Ред.*

ЛИТЕРАТОРЫ НА КАПРИ

На скалах вечерние розы горят.
Со скал долетает гуденье:
«Четвертую часть возвратили назад
И требуют вновь сокращенья...»

Пониже, средь кактусов пыльно-сухих
Весь воздух тоской намозолен:
«Почто, Алексеич, задумчив и тих?»
— «Последней главой недоволен...»

А с моря, сквозь шлепанье сонной волны,
С далекой доносится барки:
«Сто раз переделывай! Очень умны!
И так нет строки без помарки...»

1912

ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ТЕТРАДКИ

1

Холодный ветер разметал рассаду.
Мрак, мертвый сон и дребезжанье штофов...
Бодрись, народ! Димитрий Философов
Зажег «Неугасимую лампаду».

2

А. Рославлев

Без галстука и чина,
Настроив контрабас,
Размашистый мужчина
Взобрался на Парнас.
Как друг, облапил Феба,
Взял у него аванс
И, сочно сплюнув в небо,
Сел с музой в преферанс.

3

Почему-то у толстых журналов,
Как у толстых девиц средних лет, —
Слов и честного мяса немало,
Но совсем темперамента нет.

4

Читатель

Бабкин смел, — прочел Сенеку
И, насвистывая туш,
Снес его в библиотеку,
На полях отметив: «Чушь!»
Бабкин, друг, суровый критик,
Ты подумал ли хоть раз,
Что безногий паралитик
Легкой серне не указ?..

5

Стилизация

К баронессе Аксан'Грав
Влез в окно голландский граф.
Ауслендер всё до слова
Записал из-под алькова,
Надушил со всех сторон
И отправил в «Аполлон»;
Через месяц — деньги, лавры
И кузминские литавры.

6

Тонкая разница

Порой вам «знаменитость»
Подаст, забыв маститость,
Пять пальцев с миной льва.

Заго его супруга
(И то довольно туго) —
Всегда подаст лишь два.

7

Немало критиков сейчас
Ведут подробный счет опискам
Для развлечения баранов.
Рекомендую в добрый час
Дать этим мелким василискам
Губернский титул «критиканов».

Между 1911 и 1912

* * *

Жестокий бог литературы!
Давно тебе я не служил:
Ленился, думал, спал и жил, —
Забыл журнальные фигуры,
Интриг и купли кислый ил,
Молчанья боль, и трепет шкуры,
И терпкий аромат чернил...

Но странно, верная мечта
Не отцвела — живет и рдеет.
Не изменяет красота —
Всё громче шепчет и смелеет.
Недостижимое светлеет,
И вновь пленяет высота...

Опять идти к ларям впотьмах,
Где зазыванье, пыль и давка,
Где все слепые у прилавка
Убого спорят о цветах?..
Где царь-апломб решает ставки,
Где мода — властный падишах...

Собрав с мечты душистый мед,
Беспечный, как мечтатель-инок,

Придешь сконфуженно на рынок —
Орут ослы, шумит народ,
В ларях пестрят возы новинок, —
Вступать ли в жалкий поединок
Иль унести домой свой сот?..

1912

НЕВОЛЬНАЯ ДАНЬ

ПЕСНЯ СОТРУДНИКОВ САТИРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА

Поэт

Погиб свободный смех,
А мы живем...
Тоска в глазах у всех —
Что мы споем?

Все

Убежав от мертвой злобы,
Мы смеялись — ой-ли-ла!
Открывалось дно трущобы
И чуть-чуть яснела мгла.

Но известные утробы
Съели юмор — ой-ли-ла!
И, исполнен хилой злобы,
Юмор стонет, как пила.

Художник

Голова горит от тем,
Карандаш остер и тонок,
Лишь художник тих и нем,
Как спеленатый ребенок...

Юморист

Врешь! Ребенок
Из пеленок
Буйно рвется и кричит,

А художник,
Как заложник,
Слышит, видит... и молчит.

Поэт

Звени мой стих и плачь!
Мне хуже всех —
Я должен, как палач,
Убить свой смех...

Все

Смеха не надо бояться,
В смехе последний оплот:
Не над чем разве смеяться?
Лучше без слов задыхаться
Чадом родимых болот?

Юморист

Вопрос гораздо проще —
Они сказали: «Нет!»
Друзья, вернемся к теще —
Невиннейший сюжет...

Все

Он прав — играть не сто́ит в прятки,
Читатель дорогой!
Подставь чувствительные пятки
И, знай, брыка́й ногой.

Поэт

(Запевает)

Зять с тещей, сидя на ольхе,
Свершали смертный грех.
Смешно? Хи-хи. Смешно? Хэ-хэ.
Греми свободный смех!

Все

Ноги кверху! Выше, выше...
Счастлив только идиот.
Пусть же яростней и лише
Идиотский смех растет.

Превратим старушку лиру
В балалайку. Жарь до слез!
Благородную сатиру
Ветер северный унес...

<1908>

НЕВОЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Гессен сидел с Милюковым в печали.
Оба курили и оба молчали.

Гессен спросил его кротко, как Авель:
«Есть ли у нас конституция, Павел?»

Встал Милюков. Запинаясь от злобы,
Резко ответил: «Еще бы! Еще бы!»

Долго сидели в партийной печали.
Оба курили и оба молчали.

Гессен опять придвигается ближе:
«Я никому не открою — скажи же!»

Раненый демон в зрачках Милюкова:
«Есть — для кадет! А о прочих ни слова...»

Мнительный взгляд на соратника бросив,
Вновь начинает прекрасный Иосиф:

«Есть ли...» Но слезы бегут по жилету —
На ухо Павел шепнул ему: «Нету!»

Обнялись нежно и в мирной печали
Долго курили и долго молчали.

<1909>

БАЛЛАДА

> Я позвал их, показал им пирог и предложил условия. Большего им и не требовалось.
>
> *(«Эмиль» Ж.-Ж. Руссо)*

Устав от дела, бюрократ
Раз, вечером росистым,
Пошел в лесок, а с ним был штат:
Союзник с октябристом.

Союзник нес его шинель,
А октябрист — его портфель...
Лесок дрожал в печали,
И звери чуть дышали.

Вдруг бюрократ достал пирог
И положил на камень:
«Друзья! Для ваших верных ног
Я сделаю экзамен:

За две версты отсель, чрез брод,
Бегите задом наперед.
И кто здесь первый будет —
Пирог себе добудет».

Ушли. Вот слышен конский топ,
И октябрист, весь в мыле,
Несется к камушку в галоп —
Восторг горит на рыле!

«Скажи, а где наш общий брат?» —
Спросил в испуге бюрократ.
«Отстал. Под сенью ветел
Жида с деньгами встретил...»

— «А где пирог мой?» — октябрист
Повел тревожно носом
(Он был немножко пессимист
По думским ста запросам).

Но бюрократ слегка икнул,
Зачем-то в сторону взглянул,
Сконфузился, как дева,
И показал на чрево.

<1909>

ЦЕНЗУРНАЯ САТИРА

Я видел в карете монаха,
Сверкнула на рясе звезда...
Но что я при этом подумал —
Я вам не скажу никогда!

Иду — и наткнулся на Шварца
И в страхе пустился бежать...
Ах, что я шептал по дороге —
Я вам не решаюсь сказать!

Поднялся к знакомой курсистке.
Усталый от всех этих дел,
Я пил кипяченую воду,
Бранился и быстро хмелел.

Маруся! Дай правую ручку...
Жизнь — радость, страданье — ничто!
И молча я к ней наклонился...
Зачем? Не скажу ни за что!

<1910>

ЭКСПРОМТ

И мы когда-то, как Тиль-Тиль,
Неслись за Синей Птицей!
Когда нам вставили фитиль —
Мы увлеклись синицей.

Мы шли за нею много миль —
Вернулись с Черной Птицей!
Синицу нашу ты, Тиль-Тиль,
Не встретил за границей?

<1909>

ГАРМОНИЯ

(Подражание древним)

Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный.
Болиголов некрасив и при этом ужасно воняет.
Байрон, и Шиллер, и Скотт совершенны и духом
и телом.
Но безобразен Буренин, и дух от него нехороший.

Тихо приветствую мудрость любезной природы —
Ловкой рукою она ярлыки налепляет:
Даже слепой различит, что серна, свинья и гиена
Так и должны были быть — серной, свиньей и гиеной.

Видели, дети мои, приложения к русским газетам?
Видели избранных, лучших, достойных и правых
из правых?
В лица их молча вглядитесь, бумагу в руках разминая,
Тихо приветствуя мудрость любезной природы.

1907

ТАМ ВНУТРИ

У меня серьезный папа —
Толстый, важный и седой;
У него с кокардой шляпа,
А в сенях городовой.

Целый день он пишет, пишет —
Даже кляксы на груди.
Подойдешь, а он не слышит,
Или скажет: «Уходи».

Ухожу... У папы дело,
Как у всех других мужчин.
Только как мне надоело:
Всё один да всё один!

Но сегодня утром рано
Он куда-то заспешил
И на коврик из кармана
Ключ в передней обронил.

Наконец-то... Вот так штука.
Я обрадовался страсть.
Кабинет открыл без звука
И, как мышка, в двери — шасть!

На столе четыре папки,
Все на месте. Все — точь-в-точь.
Ну-с, пороемся у папки —
Что он пишет день и ночь?

«О совместном обученьи,
Как вреднейшей из затей»,
«Краткий список книг для чтенья
Для кухаркиных детей»,

«В Думе выступить с законом:
Чтобы школ не заражать,
Запретить еврейским женам
Девяносто лет рожать»,

«Об издании журнала
„Министерский детский сад"»,
«О любви ребенка к баллам»,
«О значении наград»,

«Черновик проекта школы
Государственных детей»,
«Возбуждение крамолой
Малолетних на властей»,

«Дух законности у немцев
В младших классах корпусов»,
«Поощрение младенцев,
Доносящих на отцов».

Фу, устал. В четвертой папке
«Апология плетей».
Вот так штука... Значит, папка
Любит маленьких детей?

<1909>

ПОБЕДА

С тех пор, как помчалась Земля,
Бесцельно пространство сверля, —
Летает летучая мышь,
Комар и летучая рыба,
Москит, и ворона, и чиж;
Один человек, как гранитная глыба,
Последнее чадо Земли,
Дряхлел и томился в пыли.

С незапамятных времен
Человек тянулся к небу:
Кто под мирный, лирный звон
Подымался к богу Фебу,
Кто, как пламенный Икар,
Делал крылья и срывался,
И ничтожнейший комар
Над несчастным издевался.

Сам великий Леонардо
Много бился и страдал, —
Но летать... Увы, ни ярда
Леонардо не летал!

От мыса Капа
И до Тарифа — Hip![1] Ура!!
Снимайте шляпы!
Пришла желанная пора:
Ах, от потопа
Едва ль приятней был сюрприз —
Уже в Европе
Летают вверх... и даже вниз!
А мы из чести
Пока на месте всё сидим,
Лет через двести
Мы лучше немцев полетим!

...Грандиозная картина:
Вон над крышами парят

---

[1] Ура! — *Ред.*

Пресыщённые кретины
Из «мышиных жеребят»,
Содержанка с фокстерьером,
Цуг жандармских офицеров,
Густопсовые шпики,
Золотые барчуки,
Бюрократы, шулера,
Биржевые маклера
И, как толстые вампиры,
Мягкотелые банкиры.

Тьма людей, задравши скулы,
Смотрят снизу, как акулы:
Дирижабли и бипланы
Им, увы, не по карману!
Сверху корки, и плевки,
И ликерные бутылки
Попадают им в затылки.
В довершение тоски
Те, вверху, закрыли Солнце!

С утра до ночи
Кто будет строить дирижабли?
Не раб ли?
О нет — рабочий.
Зачем? Чтоб есть и пить.
А сам он будет ли парить?
Едва ль. Покуда руки не ослабли,
Он будет строить дирижабли —
Когда же тут парить?..

<1909>

ВОЛК И БАРАН

(Из Виктора Бушэ)

Волк как-то драл с барана шкуру.
Баран, конечно, верещал.
Озлился волк: «Что воешь сдуру,
Нахал!
Деру тебя тебе ж во благо:
Без шкуры легче — тесно в ней.

Я эту тему на бумаге
Могу развить тебе ясней».

Бедняк баран, почти покойник,
В ответ заблеял чуть дыша:
«Прошу вас, господин разбойник!
Пусть ваша тема хороша —
Но ваша справедливость волчья
Сейчас едва ль мне по плечу...
Ой-ой! Дерите лучше молча,
Я тоже скоро замолчу».

Когда-то волки просто драли
Без объяснения причин...
Для умных женщин и мужчин
Другой не надобно морали.

<1909>

ОКТЯБРИСТЫ

От старух до гимназистов —
Все ругают октябристов,
    Справедливость позабыв.
Разве раньше было мало
Хитрецов с душою вялой,
    Лгущих всем наперерыв

И с наигранной осанкой,
Без смущенья пред охранкой,
    С благородством на челе,
Обвинявших вслух погоду,
Не дающую народу
    Жить в довольстве и тепле?

Мало ль было двоедушных,
Теплых, ласковых, послушных,
    С гуттаперчевой спиной,
Не отдавших в пользу ближних
Даже пары старых нижних
    И сочащих сладкий гной?..

Люди! будем справедливы:
Октябристы лишь правдивы
    И собрали заодно —
Всё, что раньше от Адама
До сегодняшнего срама
    Тайно пряталось на дно.

А другое оправданье
В том, что каждое созданье —
    Князь, профессор, трубочист —
В те часы, когда он гадок,
Лжив, и черств, и льстиво-сладок, —
    Безусловно октябрист!

Между 1907 и 1909

МОЛИТВА

Благодарю тебя, создатель,
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и не издатель
И не сижу еще в тюрьме.

Благодарю тебя, могучий,
Что мне не вырвали язык,
Что я, как нищий, верю в случай
И к всякой мерзости привык.

Благодарю тебя, единый,
Что в Третью Думу я не взят, —
От всей души, с блаженной миной
Благодарю тебя стократ.

Благодарю тебя, мой боже,
Что смертный час, гроза глупцов,
Из разлагающейся кожи
Исторгнет дух в конце концов.

И вот тогда, молю беззвучно,
Дай мне исчезнуть в черной мгле, —
В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле.

1907

ВСЁ ТО ЖЕ

В Государственном Совете одним из первых будет разбираться дело о том, признаются ли Бестужевские курсы высшими. Спор этот ведется уже семь лет.

(«Речь»)

В средневековье шум и гам
Схоласты подняли в Париже:[1]
Какого роста был Адам?
И был брюнет он или рыжий?

Где был господь (каков Париж!)
До первых дней земли и неба?
И причащается ли мышь,
Поевшая святого хлеба?..

Возможно ль «высшими» иль нет
Признать Бестужевские курсы?
Иль, может быть, решит Совет
Назвать их корпусом иль бурсой?

Ведь курсы высшие — давно,
И в самом высшем смысле слова,
Ведь спорить с этим так смешно,
Как называть реку коровой.

Вставлять в колеса палки всем,
Конечно, «высшее» призванье, —
Но в данном случае совсем
Бессильно старое брюзжанье.

А впрочем... средние века
У нас гостят, как видно, цепко.
Но ведь корова не река —
И не в названьи здесь зацепка...

<1909>

---

[1] Школа св. Виктора в Париже.

ВЕСЕЛАЯ НАГЛОСТЬ

«Русский народ мало трудится».
(Марков 2-й. Съезд дворян)

Ах, сквозь призму
Кретинизма
Гениально прост вопросец:
Наш народ — не богоносец,
А лентяй
И слюнтяй.

В самом деле, —
Еле-еле
Ковырять в земле сухой
Старомодною сохой —
Не работа,
А дремота.

У француза —
Кукуруза,
Виноград да лесопилки,
Паровые молотилки.
А у нас —
Лень да квас.

Лежебокам
За уроком
Чтó бы съездить за границу —
К шведам, к немцам или в Ниццу?
Не хотят —
Пьют да спят.

Иль со скуки
Хоть науки
Изучали бы, вороны:
Философию, законы...
Не желают:
Презирают!

Ну, ленивы!
Даже «Нивы»
Не хотят читать, обломы.

С Мережковским незнакомы!!
Только б жрать,
Только б спать.

Но сквозь призму
Критицизма
Вдруг вопрос родится яркий:
Как у этаких, как Марков,
Нет хвостов
И клыков?

1909

К ЖЕНСКОМУ СЪЕЗДУ

(Декабрь 1908)

Не спорьте о мужских правах, —
Всё объяснимо в двух словах:
Нет прав у нас,
Как и у вас.

И если в Третьей Думе мы
Цветем, как розы средь зимы,
То благо вам —
Что вы не там.

Вы с нами пламенно ползли —
Вы с нами нынче на мели.
И вы, и мы —
Добыча тьмы.

Но мудрых нет как нет у нас,
Вовек их не было у вас,
И мы, и вы
Без головы...

Чьи сны давно уже мертвы?
Кто будет в Мекке, мы иль вы?
Ни мы, ни вы...
Ни вы, ни мы...

А в воду ужас каждый час
Толкает больше — вас иль нас?
У двух полов —
Хорош улов.

Не спорьте о мужских правах,
Всё объяснимо в двух словах:
Коль пасс, так пасс,
Для нас и вас...

ЕЩЕ ЭКСПРОМТ

У старца Шварца
Ключ от ларца, —
А в ла́рце просвещенье.

Но старец Шварец
Сел на ларец
Без всякого смущенья.

Сиденье Шварца
Тверже кварца —
Унылая картина.

Что ж будет с ларцем
Под старцем Шварцем?
Молчу, молчу невинно...

Между 1908 и 1910

К ПРИЕЗДУ ФРАНЦУЗСКИХ ГОСТЕЙ

Слава богам! Петроград посетили французские гости.
Сладкие вести теперь повезут они в вольный Париж:
Пышных, развесистых клюкв и медведей на Невском не видно,
Но у «Медведя» зато французская кухня вполне.

Русский казенный оркестр гремел без препон «Марсельезу»,
В честь *двух парламентских стран* выпил французский посол, —

«Гений финансов» теперь пеплом посыплет прическу
И с благородной тоской Милюкову портфель передаст!..

Где ж интендантский грабеж, реформобоязнь
и Думбадзе,
Черные сотни, застой, гучковская Дума и гнет?
О, безобразная ложь русских слепцов-эмигрантов!
Сладкую весть повезут французские гости в Париж...

Февраль 1910

ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ

Я сегодня всю ночь просидел до утра, —
Я испортил, волнуясь, четыре пера:
Злободневность мелькала, как бешеный хвост,
Я поймал ее, плюнул и свез на погост.

Называть наглецов наглецами, увы,
Не по силам для бедной моей головы,
Наглецы не поверят, а зрячих смешно
Убеждать в том, что зрячим известно давно.

Пуришкевич... обглоданный, тухлый Гучков...
О, скорее полы натирать я готов
И с шарманкой бродить по глухим деревням,
Чем стучать погремушкой по грязным камням.

Сколько дней, золотых и потерянных дней,
Возмущались мы черствостью этих камней
И сердились, как дети, что камни не хлеб,
И громили ничтожество жалких амеб?

О, ужели пять-шесть ненавистных имен
Погрузили нас в черный, безрадостный сон?
Разве солнце погасло и дети мертвы?
Разве мы не увидим весенней травы?

Я, как страус, не раз зарывался в песок...
Но сегодня мой дух так спокойно высок...
Злободневность — Гучкова и Гулькина дочь —
Я с улыбкой прогнал в эту ночь.

<1910>

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

(Берлин, выборы 1907)

Это было так прекрасно —
Под берлинским небосводом
Объясненье в нежных чувствах
Императора с народом.

Много было любопытных,
Много было просто сброду,
Что при всяком дебоширстве
Образует тьму народа...

О победе и знаменах
Император на балконе
Им прочел стихи из Клейста
В театрально-пышном тоне.

(Не цитировал лишь Канта,
Как на свадьбе дочки Круппа, —
Потому что Кант народом
Понимался очень тупо).

Но в тираде о победе
Над врагом-социалистом
Император оказался
Выдающимся стилистом.

«Да-с, Германия умеет
Наконец верхом кататься!
Скоро будем брать барьеры —
Стоит только постараться».

Так убийственно логично
Говорил он на балконе
(Не обмолвившись ни словом
Лишь о выборном законе).

А любезная супруга
Одобрительно вздыхала
И сочувственно к народу
Носовым платком махала.

Немцы были очень рады —
Немцы дружно «Hoch» [1] кричали,
Ну а шуцманы, конечно,
Честь, напыжась, отдавали.

А в толпе, на всякий случай,
Юрко сыщики шатались,
Потому что... потому что —
Кое-где и улыбались...

УСПОКОЕНИЕ

(Посвящается русским Бисмаркам)

Больной спокоен. Спрячьте в шкап лекарства и посулы!
Зрачки потухли, впала грудь и заострились скулы.
Больной лойялен... На устах застыли крик и стоны,
С веселым карканьем над ним уже кружáт вороны...
С врачей не спросят. А больной — проснется ли,
бог знает?
Сознаться тяжко, но боюсь, что он уже воняет.

<1910>

---

[1] «Ура!» (нем.). — *Ред.*

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ

Семь дней валяюсь на траве
Средь бледных незабудок,
Уснули мысли в голове
И чуть ворчит желудок.

Песчаный пляж. Волна скулит,
А чайки ловят рыбу.
Вдали чиновный инвалид
Ведет супругу-глыбу.

Друзья! Прошу вас написать —
В развратном Петербурге
Такой же рай и благодать,
Как в тихом Гунгербурге?

Семь дней газет я не читал...
Скажите, дорогие,
Кто в Думе выкинул скандал,
Спасая честь России?

Народу школа не дана ль
За этот срок недельный?
Не получил ли пост Лидваль,
И как вопрос земельный?

Ах, да — не вышли ль, наконец,
Все левые из Думы?
Не утомился ль Шварц-делец?
А турки?.. Не в Батуме?

Лежу, как лошадь, на траве —
    Забыл о мире бренном,
Но кто-то ноет в голове:
    Будь злым и современным...

Пишите ж, милые, скорей!
    Условия суровы:
Ведь правый думский брадобрей
    Скандал устроит новый...

Тогда, увы, и я и вы
    Не будем современны.
Ах, горько мне вставать с травы
    Для злобы дня презренной!

1908
Гунгербург

ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ

Хорошо сидеть под черной смородиной,
Дышать, как буйвол, полными легкими,
Наслаждаться старой, истрепанной «Родиной»
И следить за тучками легкомысленно-легкими.

Хорошо, объедаясь ледяной простоквашею,
Смотреть с веранды глазами порочными,
Как дворник Петер с кухаркой Агашею
Угощают друг друга поцелуями сочными.

Хорошо быть Агашей и дворником Петером,
Без драм, без принципов, без точек зрения,
Начав с конца роман перед вечером,
Окончить утром — дуэтом храпения.

Бросаю тарелку, томлюсь и завидую,
Надеваю шляпу и галстук сиреневый
И иду в курзал на свидание с Лидою,
Худосочной курсисткой с кожей шагреневой.

Навстречу старухи, мордатые, злобные,
Волочат в песке одеянья суконные,

Отвратительно старые и отвисло-утробные,
Ползут и ползут, словно оводы сонные.

Где благородство и мудрость их старости?
Отжившее мясо в богатой материи
Заводит сатиру в ущелие ярости
И ведьм вызывает из тьмы суеверия...

А рядом юные, в прическах на валиках,
В поддельных локонах, с собачьими лицами,
Невинно шепчутся о местных скандаликах
И друг на друга косятся тигрицами.

Курзальные барышни, и жены, и матери!
Как вас не трудно смешать с проститутками,
Как мелко и тинисто в вашем фарватере,
Набитом глупостью и предрассудками...

Фальшивит музыка. С кровавой обидою
Катится солнце за море вечернее.
Встречаюсь сумрачно с курсисткой Лидою —
И власть уныния больней и безмернее...

Опять о Думе, о жизни и родине,
Опять о принципах и точках зрения...
А я вздыхаю по черной смородине
И полон желчи, и полон презрения...

1908
Гунгербург

ПОСЛАНИЕ ТРЕТЬЕ

Ветерок набегающий
Шаловлив, как влюбленный прелат.
Адмирал отдыхающий
Поливает из лейки салат.

За зеленой оградою,
Растянувшись на пляже, как краб,
Полицмейстер с отрадою
Из песку лепит формочкой баб,

Средь столбов с перекладиной
Педагог на скрипучей доске
Кормит мопса говядиной,
С назиданьем при каждом куске.

Бюрократ в отдалении
Красит масляной краской балкон.
Я смотрю в удивлении
И не знаю: где правда, где сон?

Либеральную бороду
В глубочайшем раздумье щиплю...
Кто, приученный к городу,
В этот миг не сказал бы: «Я сплю»?

Жгут сомненья унылые,
Не дают развернуться мечте —
Эти дачники милые
В городах совершенно не те!

Полицмейстер крамольников
Лепит там из воды и песку.
Вместо мопсов на школьников
Педагог нагоняет тоску.

Бюрократ черной краскою
Красит всю православную Русь...
Но... знакомый с развязкою —
За дальнейший рассказ не берусь.

1908
Гунгербург

ПОСЛАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Подводя итоги летом
Грустным промахам зимы,
Часто тешимся обетом,
Что *другими* будем мы.
Дух изношен, тело тоже,
В паутине меч и щит,
И в душе сильней и строже
Голос совести рычит.

Сколько дней ушло впустую...
В сердце лезли скорбь и злость,
Как в открытую пивную,
Где любой прохожий — гость.
В результате: жизнь ублюдка,
Одиноких мыслей яд,
Несварение желудка
И потухший, темный взгляд.

Баста! Лето... В семь встаю я,
В десять вечера ложусь,
С ленью бешено воюя,
Целый день, как вол, тружусь.
Чищу сад, копаю грядки,
Глажу старого кота
(А вчера играл в лошадки
И убил в лесу крота).

Водку пью перед едою
(Иногда — по вечерам)
И холодною водою
Обтираюсь по утрам.
Храбро зимние сомненья
Неврастеньей назвал вдруг,
А фундамент обновленья
Всё не начат... Недосуг...

Планы множатся, как блохи
(Май, июнь уже прошли).
Соберу ль от них хоть крохи?
Совесть, совесть, не скули!
Вам знакома повесть эта?
После тусклых дней зимы
Люди верят в силу лета
Лишь до новой зимней тьмы...

Кто желает объясненья
Этой странности земной,
Пусть приедет в воскресенье
Побеседовать со мной.

1908
Гунгербург

ПОСЛАНИЕ ПЯТОЕ

Вчера играло солнце,
И море голубело, —
И дух тянулся к солнцу,
И радовалось тело.

И люди были лучше,
И мысли были сладки —
Вчера шальное солнце
Пекло во все лопатки.

Сегодня дождь и сырость...
Дрожат кусты от ветра,
И дух мой вниз катится
Быстрее баромéтра.

Сегодня люди — гады,
Надежда спит сегодня —
Усталая надежда,
Накрашенная сводня.

Из веры, книг и жизни,
Из мрака и сомненья
Мы строим год за годом
Свое мировоззренье...

Зачем вчера при солнце
Я выгнал вон усталость,
Заигрывал с надеждой
И верил в небывалость?

Горит закат сквозь тучи
Чахоточным румянцем.
Стою у злого моря
Циничным оборванцем.

Всё тучи, тучи, тучи...
Ругаться или плакать?
О, если б чаще солнце!
О, если б реже слякоть!

1908
Гунгербург

ПОСЛАНИЕ ШЕСТОЕ

В жаркий полдень влез, как белка,
На смолистую сосну.
Небо — синяя тарелка —
Клонит медленно ко сну.
Впереди стальное море и далекий горизонт.
На песчаном пляже дама распустила красный зонт.

Пляска шелковых оборок,
Шляпа-дом, корсет, боа...
А... купчиха! Глаз мой зорок —
Здравствуй, матушка Москва!
Тридцать градусов на солнце — даже мухи спят
в тени, —
Распусти корсет и юбки и под деревом усни...

И, обласкан теплым светом,
В полудреме говорю:
Хорошо б кольцо с браслетом
Ей просунуть сквозь ноздрю...
Свищут птицы, шепчут сосны, замер парус вдалеке.
Засыпаю... до свиданья, засыпаю... на суке...

«Эй, мужчина! — дачный сторож
Грубо сон мой вдруг прервал, —
Слезьте с дерева, да скоро ж!
Дамский час давно настал».
На столбе направо никнет в самом деле красный флаг.
Злобно с дерева слезаю и ворчу — за шагом шаг.

Вон желтеет сквозь осины
Груда дряблых женских тел —
Я б смотреть на эти спины
И за деньги не хотел...
В лес пойду за земляникой... Там ведь дамских нет
часов,
Там никто меня мужчиной не облает из кустов.

1908
Гунгербург

КУМЫСНЫЕ ВИРШИ

1

Благословен степной ковыль,
Сосцы кобыл и воздух пряный.
Обняв кумысную бутыль,
По целым дням сижу как пьяный.

Над речкой свищут соловьи,
И брекекекствуют лягушки.
В честь их восторженной любви
Тяну кумыс из липкой кружки.

Ленясь, смотрю на берега...
Душа вполне во власти тела —
В неделю правая нога
На девять фунтов пополнела.

Видали ль вы, как степь цветет?
Я не видал, скажу по чести;
Должно быть, милый божий скот
Поел цветы с травою вместе.

Здесь скот весь день среди степей
Навозит, жрет и дрыхнет праздно
(Такую жизнь у нас, людей,
Мы называем буржуазной).

Благословен степной ковыль!
Я тоже сплю и обжираюсь,
И на скептический костыль
Лишь по привычке опираюсь.

Бессильно голову склоня,
Качаюсь медленно на стуле
И пью. Наверно, у меня
Хвост конский вырастет в июле.

Какой простор! Вон пара коз
Дерется с пылкостью Аяксов.

В окно влетающий навоз
Милей струи опопанакса.

А там, в углу, перед крыльцом
Сосет рябой котенок суку.
Сей факт с сияющим лицом
Вношу как ценный вклад в науку.

Звенит в ушах, в глазах, в ногах,
С трудом дописываю строчку,
А муха на моих стихах
Пусть за меня поставит точку.

2

Степное башкирское солнце
Раскрыло пылающий зев.
Завесив рубахой оконце,
Лежу, как растерзанный лев,
И, с мокрым платком на затылке,
Глушу за бутылкой бутылку.

Войдите в мое положенье:
Я в городе солнца алкал!
Дождался — и вот без движенья,
Разинувши мертвый оскал,
Дымящийся, мокрый и жалкий,
Смотрю в потолочные балки.

Но солнце, по счастью, залазит
Под вечер в какой-то овраг
И кровью исходит в экстазе,
Как смерти сдающийся враг.
Взлохмаченный, дикий и сонный,
К воротам иду монотонно.

В деревне мертво и безлюдно.
Башкиры в кочевья ушли,
Лишь старые идолы нудно
Сидят под плетнями в пыли,
Икают кумысной отрыжкой
И чешут лениво подмышки.

В трехцветно окрашенном кэбе
Помещик катит на обед.
Мечеть выделяется в небе.
Коза забралась в минарет,
А голуби сели на крышу —
От сих впечатлений завишу.

Завишу душою и телом —
Ни книг, ни газет, ни людей!
Одним лишь терпеньем и делом
Спасаюсь от мрачных идей:
У мух обрываю головки
И клецки варю на спиртовке.

3

Бронхитный исправник,
Серьезный как классный наставник,
С покорной тоской на лице,
Дороден, задумчив и лыс,
Сидит на крыльце
И дует кумыс.

Плевритный священник
Взопрел, как березовый веник,
Отринул на рясе крючки,
И — тощ, близорук, белобрыс —
Уставил в газету очки
И дует кумыс.

Катарный сатирик,
Истомный и хлипкий, как лирик,
С бессмысленным, пробковым взглядом
Сижу без движения рядом.
Сомлел, распустился, раскис
И дую кумыс.

«В Полтаве попался мошенник», —
Читает со вкусом священник.
«Должно быть, из левых», —

Исправник басит полусонно.
А я прошептал убежденно:
«Из правых».

Подходит мулла в полосатом,
Пропахшем муллою халате.
Хихикает... Сам-то хорош! —
Не ты ли, и льстивый и робкий,
В бутылках кумысных даешь
Негодные пробки?

Его пятилетняя дочка
Сидит, распевая, у бочки
В весьма невоспитанной позе.
Краснею как скромный поэт,
А дева, копаясь в навозе,
Смеется: «Бояр! Дай канфет!»

«И в Риге попался мошенник!» —
Смакует плевритный священник.
«Повесить бы подлого Витте», —
Бормочет исправник сквозь сон.
«За что же?!» И голос сердитый
Мне буркнул: *«Всё он»*...

Пусть вешает. Должен цинично
Признаться, что мне безразлично.
Исправник глядит на муллу
И тянет ноздрями: «Вонища!»
Священник вздыхает: «Жарища!»
А я изрекаю хулу:
«Тощища!!»

4

Поутру пошляк чиновник
Прибежал ко мне в экстазе:
«Дорогой мой, на семь фунтов
Пополнел я с воскресенья...»

Я поник главою скорбно
И подумал: если дальше

Будет так же продолжаться,
Он поправится, пожалуй!

У реки, под тенью ивы
Я над этим долго думал...
Для чего лечить безмозглых,
Пошлых, подлых и ненужных?

Но избитым возраженьем
Сам себя опровергаю:
Кто отличит в наше время
Тех, кто нужен, от ненужных?

В самых редких положеньях
Это можно знать наверно:
Если Марков захворает,
То лечить его не стоит.

Только Марковы, к несчастью,
Все здоровы, как барбосы, —
Нервов нет, мозгов два лота
И в желудках много пищи...

У реки под тенью ивы
Я рассматривал природу —
Видел заросли крапивы
И вульгарнейшей полыни.

Но меж ними ни единой
Благородной, пышной розы...
Отчего так редки розы?
Отчего так много дряни?!

По степям бродил в печали:
Всё коровник да репейник,
Лебеда, полынь, поганки
И глупейшая ромашка.

О, зачем в полях свободно
Не растут иные злаки —
Рожь, пшеница и картошка,
Помидоры и капуста?

Почему на хмурых соснах
Не качаются сосиски?
Почему лопух шершавый
Не из шелковых волокон?

Ах, тогда б для всех на свете
Социальная проблема
Разрешилась моментально...
О, дурацкая природа!

Эта мысль меня так мучит,
Эта мысль меня так давит,
Что в волнении глубоком
Не могу писать я больше...

1909
Чебени

ПРОВИНЦИЯ

БУЛЬВАРЫ

Праздник. Франты гимназисты
Занимают все скамейки.
Снова тополи душисты,
Снова влюбчивы еврейки.

Пусть экзамены вернулись...
На тенистые бульвары,
Как и прежде, потянулись
Пары, пары, пары, пары...

Господа семинаристы
Голосисты и смешливы,
Но бонтонны гимназисты
И вдвойне красноречивы.

Назначают час свиданья,
Просят «веточку сирени»,
Давят руки на прощанье
И вздыхают, как тюлени.

Адъютантик благовонный
Увлечен усатой дамой.
Слышен голос заглушенный:
«Ах, не будьте столь упрямой!»

Обещает. О, конечно,
Даже кошки и собачки
Кое в чем не безупречны
После долгой зимней спячки...

Три акцизника портнихе
Отпускают комплименты.
Та бежит и шепчет тихо:
«А еще интеллигенты!»

Губернатор едет к тете.
Нежны кремовые брюки.
Пристяжная на отлете
Вытанцовывает штуки.

А в соседнем переулке
Тишина, и лень, и дрема.
Всё живое на прогулке,
И одни старушки дома.

Садик. Домик чуть заметен.
На скамье у старой елки
В упоеньи новых сплетен
Две седые балаболки.

«Шмит к Серовой влез в окошко...
А еще интеллигенты!
Ночью, к девушке, как кошка...
Современные... Студенты!»

<1908>

СВЯЩЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Беседка теснее скворешни.
Темны запыленные листья.
Блестят наливные черешни...
Приходит дородная Христя,
Приносит бутылку наливки,
Грибы, и малину, и сливки.

В поднос упираются дерзко
Преступно-прекрасные формы.
Смущенно, и робко, и мерзко
Уперлись глазами в забор мы...
Забыли грибы и бутылку,
И кровь приливает к затылку.

«Садитесь, Христина Петровна!» —
Потупясь, мы к ней обратились
(Все трое в нее поголовно
Давно уже насмерть влюбились),
Но молча косится четвертый:
Причины особого сорта...

Хозяин беседки и Христи,
Наливки, и сливок, и сада
Сжимает задумчиво кисти,
А в сердце вползает досада:
«Ах, ешьте грибы и малину
И только оставьте Христину!»

<1908>

НА СЛАВНОМ ПОСТУ

Фельетонист взъерошенный
Засунул в рот перо.
На нем халат изношенный
И шляпа болеро...

Чем в следующем номере
Заполнить сотню строк?
Зимою жизнь в Житомире
Сонлива, как сурок.

Живет перепечатками
Газета-инвалид
И только опечатками
Порой развеселит.

Не трогай полицмейстера,
Духовных и крестьян,
Чиновников, брандмейстера,
Торговцев и дворян,

Султана, предводителя,
Толстого и Руссо,
Адама-прародителя
И даже Клемансо...

Ах, жизнь полна суровости,
Заплачешь над судьбой:
Единственные новости —
Парад и мордобой!

Фельетонист взъерошенный
Терзает болеро:
Парад — сюжет изношенный,
А мордобой — старо!

<1908>

ПРИ ЛАМПЕ

Три экстерна болтают руками,
        А студент-оппонент
На диван завалился с ногами
И, сверкая цветными носками,
Говорит, говорит, говорит...

Первый видит спасенье в природе,
Но второй, потрясая икрой,
Уверяет, что только — в народе.
Третий — в книгах и в личной свободе,
А студент возражает всем трем.

Лазарь Ро́зенберг, рыжий и гибкий,
        В стороне на окне
К Дине Блюм наклонился с улыбкой.
В их сердцах ангел страсти на скрипке
В первый раз вдохновенно играл.

В окна первые звезды мигали.
        Лез жасмин из куртин.
Дина нежилась в маминой шали,
А у Лазаря зубы стучали
От любви, от великой любви!..

Звонко пробило четверть второго —
        И студент-оппонент
Приступил, горячась до смешного,
К разделению шара земного.
Остальные устало молчали.

Дым табачный и свежесть ночная...
В стороне, на окне,
Разметалась забытая шаль, как больная,
И служанка внесла, на ходу засыпая,
Шестой самовар...

<1908>

ШКАТУЛКА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО «CABALLERO»[1]

(Опись)

Шпоры, пачка зубочисток,
Сорок писем от модисток,
Шитых шелком две закладки,
Три несвежие перчатки,
Бинт и средство для усов,
Пара сломанных часов,
Штрипки, старая кокарда,
Семь квитанций из ломбарда,
Пистолет, salol[2] в облатках,
Анекдоты в трех тетрадках,
«Эсс-буке» и «Гонгруаз»,
Два листка кадрильных фраз,
Пять предметов из резинки,
Фотография от Зинки,
Шесть «варшавских» cartes postales,[3]
Хлястик, карты и вуаль,
Красной ленточки клочок
И потертый темлячок.

<1908>

НА ГАЛЕРКЕ

(В опере)

Предо мною чьи-то локти,
Ароматный воздух густ,
В бок вцепились чьи-то ногти,
Сзади шепот чьих-то уст:

---

[1] «Кавалера» (исп.). — *Ред.*
[2] Салол (лат.). — *Ред.*
[3] Почтовые открытки (франц.). — *Ред.*

«В этом месте бас сфальшивил!»
«Тише... Браво! Ш-а! Еще!!»
Кто-то справа осчастливил —
Робко сел мне на плечо.
На лице моем несчастном
Бьется чей-то жирный бюст,
Сквозь него на сцене ясно
Вижу будочку и куст.
Кто-то дышит прямо в ухо.
Бас ревет: «О, па-че-му?!»
Я прислушиваюсь сухо
И не верю ничему.

<1908>

РАННИМ УТРОМ

Утро. В парке — песнь кукушкина.
Заперт сельтерский киоск.
Рядом — памятничек Пушкина,
У подножья — пьяный в лоск:

Поудобнее притулится,
Посидит и упадет...
За оградой вьется улица,
А на улице народ:

Две дворянки, мама с дочкою,
Ковыляют на базар;
Водовоз, привстав над бочкою,
Мчится словно на пожар;

Пристав с шашкою под мышкою,
Две свиньи, ветеринар.
Через час — «приготовишкою»
Оживляется бульвар.

Сколько их, смешных и маленьких,
И какой сановный вид!
Вон толстяк в галошах-валенках
Ест свой завтрак и сопит.

Два — друг дружку лупят ранцами,
Третий книжки растерял,
И за это «оборванцами»
Встречный поп их обругал.

Солнце рдеет над березами.
Воздух чист, как серебро.
Тарахтит за водовозами
Беспокойное ведро.

На кентаврах раскоряченных
Прокатил архиерей,
По ошибке, страхом схваченный,
Низко шапку снял еврей.

С визгом пес пронесся мнительный —
«Гицель» выехал на лов.
Бочки. Запах подозрительный
Объясняет всё без слов.

Жизнь всё ярче разгорается:
Двух старушек в часть ведут,
В парке кто-то надрывается —
Вероятно, морду бьют.

Тьма, как будто в Полинезии...
И отлично! Боже мой,
Разве мало здесь поэзии,
Самобытной и родной?!

<1909>

ЛОШАДИ

Четыре кавалера
Дежурят возле сквера,
    Но Вера не идет.

Друзья от скуки судят
Бока ее и груди,
    Ресницы и живот.

«Невредная блондинка!»
— «Н-да-с, девочка с начинкой...»
    — «Жаль только, не того-с!»

— «Шалишь, а та интрижка
С двоюродным братишкой?»
    — «Ну, это, брат, вопрос».

Вдали мелькнула Вера.
Четыре кавалера
    С изяществом стрекоз

Галантно подлетели
И сразу прямо к цели:
    «Как спали, хорошо-с?»

— «А к вам, ха-ха, в окошко
Стучалась ночью кошка...»
    — «С усами... ха-ха-ха!»

Краснеет Вера густо
И шепчет: «Будь вам пусто!
    Какая чепуха...»

Подходит пятый лихо
И спрашивает тихо:
    «Ну, как дела, друзья?»

Смеясь, шепнул четвертый:
«Морочит хуже черта —
    Пока еще нельзя».

— «Смотри... Скрывать негоже!
Я в очереди тоже...»
    — «Само собой, мой друг».

Пять форменных фуражек
И десять глупых ляжек
    Замкнули Веру в круг.

<1910>

ИЗ ГИМНАЗИЧЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Пансионеры дремлют у стены
(Их место — только злость и зависть прочим).
Стена — спасенье гимназической спины:
Приткнулся, и часы уже короче.

Но остальным, увы, как тяжело:
Переминаются, вздыхают, как тюлени,
И, чтоб немножко тело отошло,
Становятся громоздко на колени.

Инспектор в центре. Левый глаз устал —
Косится правым. Некогда молиться!
Заметить надо тех, кто слишком вял,
И тех, кто не успел еще явиться.

На цыпочках к нему спешит с мольбой
Взволнованный малыш-приготовишка
(Ужели Смайльс не властен над тобой?!)
«Позвольте выйти!» Бедная мартышка...

Лишь за порог — всё громче и скорей
По коридору побежал вприпрыжку.
И злится надзиратель у дверей,
Его фамилию записывая в книжку.

На правом клиросе серебряный тенóр
Солирует, как звонкий вешний ветер.
Альты за нотами, чтоб не увидел хор,
Поспешно пожирают «Gala Peter».

Но гимназистки молятся до слез
Под желчным оком красной классной дамы,
Изящные, как купы белых роз,
Несложные и нежные, как гаммы.

Порой лишь быстрый и лукавый глаз
Перемигнется с миловидным басом:
И рявкнет яростней воспламененный бас,
Условленным томим до боли часом.

Директор — бритый, дряхленький Кащей —
На левом клиросе увлекся разговором.
В косые нити солнечных лучей
Вплыл сизый дым и плавится над хором.

Усталость дует ласково в глаза.
Хор всё торопится — скорей, скорей, скорее...
Кружатся стены, пол и образа,
И грузные слоны сидят на шее.

<1910>

ВИЛЕНСКИЙ РЕБУС

О Рахиль, твоя походка
Отдается в сердце четко...
Голос твой — как голубь кроткий,
    Стан твой — тополь на горе,
И глаза твои — маслины,
Так глубоки, так невинны,
Как... (нажал на все пружины —
    Нет сравнений в словаре!)

Но жених твой... Гром и пушка!
Ты и он — подумай, душка:
Одуванчик и лягушка,
    Мотылек и вурдалак.
Эти жесты и улыбки,
Эти брючки, эти штрипки...
Весь до дна, как клейстер, липкий —
    Мелкий маклер и пошляк.

Но, дитя, всего смешнее,
Что в придачу к Гименею
Ты такому дуралею
    Триста тысяч хочешь дать...
О, Рахиль, царица Вильны!
Мысль и логика бессильны, —
Этот дикий ребус стильный
    И Спинозе не понять.

1910

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

А. И. Куприну

Из-за забора вылезла луна
И нагло села на крутую крышу.
С надеждой, верой и любовью слышу,
Как запирают ставни у окна.
Луна!

О, томный шорох темных тополей,
И спелых груш наивно-детский запах!
Любовь сжимает сердце в цепких лапах,
И яблони смеются вдоль аллей.
Смелей!

Ты там, как мышь, притихла в тишине?
Но взвизгнет дверь пустынного балкона,
Белея и шумя волнами балахона,
Ты проскользнешь, как бабочка, ко мне,
В огне...

Да — дверь поет. Дождался наконец.
А, впрочем, хрип, и кашель, и сморканье,
И толстых ног чужие очертанья —
Всё говорит, что это твой отец.
Конец.

О, носорог! Он смотрит на луну,
Скребет бока, живот и поясницу,
И, придавив до плача половицу,
Икотой нарушает тишину.
Ну-ну...

Потом в туфлях спустился в сонный сад,
В аллее яблоки опавшие сбирает,
Их с чавканьем и хрустом пожирает
И в тьму вперяет близорукий взгляд.
Назад!

К стволу с отчаяньем и гневом я приник.
Застыл. Молчу. А в сердце кастаньеты...

Ты спишь, любимая? Конечно, нет ответа,
И не уходит медленный старик —
Привык!

Мечтает... Гад! Садится на скамью...
Вокруг забор, а на заборе пики.
Ужель застряну и в бессильном крике
Свою любовь и злобу изолью?!
Плюю...

Луна струит серебряную пыль.
Светло. Прости!.. В тоске пе-ре-ле-за-ю,
Твои глаза заочно ло-бы-за-ю
И... с тррреском рву штанину о костыль.
Рахиль!

Как мамонт бешеный, влачился я, хромой.
На улицах луна и кружево каштанов...
Будь проклята любовь вблизи отцов-тиранов!
Кто утолит сегодня голод мой?
Домой!..

1910

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИИ

Склонив хребет, галантный дирижер
Талантливо гребет обеими руками —
То сдержит оком бешеный напор,
То вдруг в падучей изойдет толчками...

Кургузый добросовестный флейтист,
Скосив глаза, поплевывает в дудку.
Впиваясь в скрипку, тоненький, как глист,
Визжит скрипач, прижав пюпитр к желудку.

Девица-страус, сжав виолончель,
Ключицами прилипла страстно к грифу,
И, бесконечную наяривая трель,
Всё локтем ерзает по кремовому лифу.

За фисгармонией унылый господин
Рычит, гудит и испускает вздохи,
А пианистка вдруг, без видимых причин,
Куда-то вверх полезла в суматохе.

Перед трюмо расселся местный лев,
Сияя парфюмерною улыбкой,—
Вокруг колье из драгоценных дев
Шуршит волной томительной и гибкой...

А рядом чья-то mère,[1] в избытке чувств,
Вздыхая, пудрит нос, горящий цветом мака:
«Ах, музыка, искусство из искусств,
Безумно помогает в смысле брака!..»

1910
Вильна

ПРАЗДНИК

Генерал от водки,
Управитель акцизами,
С бакенбардами сизыми,
На новой пролетке,
Прямой, как верста,—
Спешит губернатора сухо поздравить
С Воскресеньем Христа.

То-то будет выпито.

Полицмейстер напыженный,
В регалиях с бантами,
Ругает коней арестантами,
А кучер пристыженный
Лупцует пристяжку с хвоста.
Вперед на кляче подстриженной
Помчался стражник с поста...
Спешат губернатора лихо поздравить
С Воскресеньем Христа.

То-то будет выпито.

[1] Мать (франц.).— *Ред.*

Директор гимназии,
Ради парадной оказии
На коленях держа треуголку
И фуражкой лысину скрыв,
На кривой одноколке,
Чуть жив,
Спускается в страхе с моста́.
Спешит губернатора скромно поздравить
С Воскресеньем Христа.

То-то будет выпито.

Разгар кутерьмы!
В наемной лоханке
Промчался начальник тюрьмы.
Следом — директор казенного банка,
За ним — предводитель дворянства
В роскошном убранстве,
С ключами ниже спины.
Белеют штаны.
Сомкнуты гордо уста.
Спешат губернатора дружно поздравить
С Воскресеньем Христа.

То-то будет выпито!

<1910>

НА РЕКЕ

Господа волонтеры
Катаются в лодке
И горланят над сонной водою.
На скамье помидоры,
Посудина с водкой,
Пиво, сыр и бумажка с халвою.

Прямо к старой купальне
На дамские ноги
Правят нос, закрывая погоны.
Но передний печально
Вдруг свистнул: «О, боги!
Это ноги полковничьей бонны».

И уходит бросками
Скрипящая лодка.
Задыхаясь, рвут весла и гонят.
Упираясь носками,
Хохочут: «Лебедка!
Волонтер тебя пальцем не тронет!»

На челне два еврея
Поют себе хором:
«Закувала та сыза зозу-ля...»
Рулевой, свирепея,
Грозит помидором,
А сосед показал им две дули.

«Караул! Что такое?!»
Галдеж перебранки,
Челн во все удирает лопатки.
Тишина над рекою...
На грузной лоханке
Показался мороженщик с кадкой.

Навертел крокодилам
Три полные чашки.
Лодка пляшет и трется о лодку.
В синьке неба — белила.
Вспотели рубашки.
Хороша ли с мороженым водка?

<1910>

ПСКОВСКАЯ КОЛОТОВКА

Завернувши рыбьи кости
В нежно-розовую ткань,
Приплелась на елку в гости,
Улыбаясь, как тарань.

Изогнула зад корытом
К стрелке белого чулка
И кокетливо копытом
Подпустила всем жука.

И мгновенно так запахло
Шипром, псом et cetera,[1]
Что на стенке вдруг зачахло
Электрическое бра...

Как колтун, торчали кудри,
Шейка гнулась, как змея, —
И паркет был бел от пудры
На аршин вокруг нея!

Вмиг с апломбом плоской утки
Нагло всем закрыла рты:
Сплетни, вздор, тупые шутки,
Водопады клеветы...

Предрассудок... Воспитанье...
Почему никто не мог
Это чучело баранье
Взять за хвост — и об порог?!

Грубость? Дерзость? Оскорбленье?
Но ведь этот женский гнус
Оскорбил и мозг, и зренье,
Обонянье, слух и вкус...

Ржавый стих мой злее шила
И исполнен озорства:
Ведь она мне отравила
Милый вечер Рождества!

Ведь господь, хотя бы в праздник,
Мог столкнуть меня с другой...
Эх ты, жизнь, скупой лабазник,
Хам угрюмый и нагой!

<1922>

---

[1] И так далее (лат.). — *Ред.*

УЕЗДНЫЙ ГОРОД БОЛХОВ

На Одёрской площади понурые одры,
Понурые лари и понурые крестьяне.
Вкруг Одёрской площади груды пестрой рвани:
Номера, лабазы и постоялые дворы.
Воняет кожей, рыбой и клеем.
Машина в трактире хрипло сипит.

Пыль кружит по улице и забивает рот,
Въедается в глаза, клеймит лицо и ворот.
Боровы с веревками оживляют город
И, моргая веками, дрыхнут у ворот.
Заборы — заборы — заборы — заборы.
Мостки, пустыри и пыльный репей.

Коринфские колонны облупленной семьей
Поддерживают кров «Мещанской богадельни».
Средь нищенских домов упорно и бесцельно
Угрюмо-пьяный чуйка воюет со скамьей.
Сквозь мутные стекла мерцают божницы.
Два стражника мчатся куда-то в карьер.

Двадцать пять церквей пестрят со всех сторон.
Лиловые, и желтые, и белые в полоску.
Дева у окна скребет перстом прическу.
В небе караван тоскующих ворон.
Воняет клеем, пылью и кожей.
Стемнело. День умер. Куда бы пойти?..

На горе бомондное гулянье в «Городке»:
Извилистые ухари в драконовых жилетах
И вспухшие от сна кожевницы в корсетах
Ползут кольцом вкруг «музыки», как стая мух в горшке.
Кларнет и гобой отстают от литавров.
«Как ночь-то луніста!» — «Лобызаться-с вкусней!»

А внизу за гривенник волшебный новый яд —
Серьезная толпа застыла пред экраном:

«Карнавал в Венеции», «Любовник под диваном».
Шелушат подсолнухи, вздыхают и кряхтят...
      Мальчишки прильнули к щелкам забора.
      Два стражника мчатся куда-то в карьер.

<1914>

* * *

Трава на мостовой,
И на заборе кошка.
Зевая, постовой
Свернул «собачью ножку».

Натер босой старик
Забор крахмальной жижей
И лепит: *Сестры Шик —*
Сопрана из Парижа.

Окно в глухой стене:
Открытки, клей, Мадонна,
«Мозг и душа», «На дне»,
«Гаданье Соломона».

Трава на мостовой.
Ушла с забора кошка...
Семейство мух гурьбой
Усеяло окошко.

<1910>

ПОД СУРДИНКУ

Хочу отдохнуть от сатиры...
У лиры моей
Есть тихо дрожащие, легкие звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу,
Пою и в такт головою киваю...

Хочу быть незлобным ягненком,
Ребенком,
Которого взрослые люди дразнили и злили,
А жизнь за чьи-то чужие грехи
Лишила третьего блюда.

Васильевский остров прекрасен,
Как жаба в манжетах.
Отсюда, с балконца,
Омытый потоками солнца,
Он весел, и грязен, и ясен,
Как старый маркёр.

Над ним углубленная просинь
Зовет, и поет, и дрожит...
Задумчиво осень
Последние листья желтит,
Срывает,
Бросает под ноги людей на панель...
А в сердце не молкнет свирель:
Весна опять возвратится!

О зимняя спячка медведя,
Сосущего пальчики лап!
Твой девственный храп
Желанней лобзаний прекраснейшей леди.
Как молью изъеден я сплином...
Посыпьте меня нафталином,
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна.

<1909>

У МОРЯ

Облаков жемчужный поясок
Полукругом вьется над заливом.
На горячий палевый песок
Мы легли в томлении ленивом.

Голый доктор, толстый и большой,
Подставляет солнцу бок и спину.
Принимаю вспыхнувшей душой
Даже эту дикую картину.

Мы наги, как дети-дикари,
Дикари, но в самом лучшем смысле.
Подымайся, солнце, и гори,
Растопляй кочующие мысли!

По морскому хрену, возле глаз,
Лезет желтенькая божия коровка.
Наблюдаю трудный перелаз
И невольно восхищаюсь: ловко!

В небе тают белые клочки.
Покраснела грудь от ласки солнца.
Голый доктор смотрит сквозь очки,
И в очках смеются два червонца.

«Доктор, друг! А не забросить нам
И белье, и платье в сине море?
Будем спины подставлять лучам
И дремать, как галки на заборе...

Доктор, друг... мне кажется, что я
Никогда не нáшивал одежды!»
Но коварный доктор — о, змея! —
Разбивает все мои надежды:

«Фантазер! Уже в закатный час
Будет холодно, и ветрено, и сыро.
И притом фигуришки у нас:
Вы — комар, а я — бочонок жира.

Но всего важнее, мой поэт,
Что меня и вас посадят в каталажку».
Я кивнул задумчиво в ответ
И пошел напяливать рубашку.

<1909>

ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Я удрал из столицы на несколько дней
В царство сосен, озер и камней.

На площадке вагона два раза видал,
Как студент свою даму лобзал.

Эта старая сцена сказала мне вмиг
Больше ста современнейших книг.

А в вагоне — соседка и мой vis-à-vis [1]
Объяснялись тихонько в любви.

Чтоб свое одинокое сердце отвлечь,
Из портпледа я вытащил «Речь».

Вверх ногами я эту газету держал:
Там, в углу, юнкер барышню жал!

---

[1] Визави (франц.). — *Ред.*

Был на Иматре, — так надо.
Видел глупый водопад.
Постоял у водопада
И, озлясь, пошел назад.

Мне сказала в пляске шумной
Сумасшедшая вода:
«Если ты больной, но умный —
Прыгай, миленький, сюда!»

Извините. Очень надо...
Я приехал отдохнуть.
А за мной из водопада
Донеслось: «Когда-нибудь!»

Забыл на вокзале пенсне, сломал отельную лыжу.
Купил финский нож — и вчера потерял.
Брожу у лесов и вдвойне опять ненавижу
Того, кто мое легковерие грубо украл.

Я в городе жаждал лесов, озер и покоя.
Но в лесах снега глубоки, а галоши мелки.
В отеле всё те же комнаты, слуги, жаркое,
И в окнах — финского неба слепые белки.

Конечно, прекрасно молчание финнов и финок,
И сосен, и финских лошадок, и неба, и скал,
Но в городе я намолчался по горло, как инок,
И здесь я бури и вольного ветра искал...

Над нетронутым компотом
Я грущу за табльдотом:
Все разъехались давно.

Что мне делать — я не знаю.
Сплю, читаю, ем, гуляю —
Здесь, иль город: всё равно.

<1910>

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

(Поэма)

> Нос твой — башня Ливанская,
> обращенная к Дамаску.
>
> *(«Песнь песней», гл. VII)*

Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом.
У ног, как воплощенный миф,
Лежала Суламифь
И, высунувши розовенький кончик
Единственного в мире язычка,
Как кошечка при виде молочка,
Шептала: «Соломон мой, Соломончик!»

«Ну, что? — промолвил царь,
Обгладывая лапку. —
Опять раскрыть мой ларь?
Купить шелков на тряпки?
Кровать из янтаря?
Запястье из топазов?
Скорей проси царя,
Проси, цыпленок, сразу!»

Суламифь царя перебивает:
«О мой царь! Года пройдут как сон,
Но тебя никто не забывает —
Ты мудрец, великий Соломон!
Ну а я, шалунья Суламита,
С лучезарной, смуглой красотой,
Этим миром буду позабыта,
Как котенок в хижине пустой!
О мой царь! Прошу тебя сердечно:
Прикажи, чтоб медник твой Хирам
Вылил статую мою из меди вечной —
Красоте моей нетленный храм!..»

«Хорошо! — говорит Соломон.— Отчего же?»
А ревнивые мысли поют на мотив:
У Хирама уж слишком красивая рожа —
Попозировать хочет моя Суламифь.

Но ведь я, Соломон, мудрецом называюсь,
И Хирама из Тира мне звать не резон...
«Хорошо, Суламифь, хорошо, постараюсь!
Подарит тебе статую царь Соломон»...

Царь тихонько от шалуньи
Шлет к Хираму в Тир гонца,
И в седьмое новолунье
У парадного крыльца
Соломонова дворца
Появился караван
Из тринадцати верблюдов,
И на них литое чудо —
Отвратительней верблюда —
Медный в шесть локтей болван!
Стража, чернь и служки храма
Наседают на Хирама:
«Идол? Чей? Кому? Зачем?»
Но Хирам бесстрастно нем.
Вдруг выходит Соломон.
Смотрит: «Что это за гриф
С безобразно длинным носом?!»
Не смущаясь сим вопросом,
Медник молвит: «Суламифь».

«Ах!» — сорвалось с нежных уст,
И живая Суламита
На плиту из малахита
Опускается без чувств...
Царь, взбесясь, уже мечом
Замахнулся на Хирама,
Но Хирам повел плечом:
«Соломон, побойся срама!
Не спьяна и не во сне
Лил я медь, о царь сердитый,
Вот пергамент твой ко мне
С описаньем Суламиты:

Нос ее — башня Ливана!
Ланиты ее — половинки граната.
Рот — как земля Ханаана,
И брови — как два корабельных каната.

Сосцы ее — юные серны,
И груди — как две виноградные кисти,
Глаза — золотые цистерны,
Ресницы — как вечнозеленые листья.

Чрево — как ворох пшеницы,
Обрамленный гирляндою лилий,
Бедра — как две кобылицы,
Кобылицы в кремовом мыле...

Кудри — как козы стадами,
Зубы — как бритые овцы с приплодом,
Шея — как столп со щитами,
И пупок — как арбуз, помазанный медом!»

В свите хохот заглушенный. Улыбается Хирам.
Соломон, совсем смущенный, говорит: «Пошел
к чертям!
Всё, что следует по счету, ты получишь за работу...
Ты — лудильщик, а не медник, ты сапожник... Стыд и
срам!»
С бородою по колена, из толпы — пророк Аврам
Выступает вдохновенно: «*Ты* виновен — не Хирам!
Но не стоит волноваться, всякий может увлекаться:
Ты писал и расскакался, как козуля по горам.
«Песня песней» — это чудо! И бессилен здесь Хирам.
Что он делал? Вылил блюдо в дни, когда ты строил
храм...
Но клянусь! В двадцатом веке по рождении Мессии
Молодые человеки возродят твой стиль в России»...

Суламифь открывает глаза,
Соломон наклонился над нею:
«Не волнуйся, моя бирюза!
Я послал уж гонца к Амонею.
Он хоть стар, но прилежен, как вол.
Говорят, замечательный медник...
А Хирам твой — бездарный осел
И при этом еще привередник!

Будет статуя здесь — не проси —
Через два или три новолунья».
И в ответ прошептала «Merci!»
Суламифь, молодая шалунья.

1908 или 1909

ДИСПУТ

Три курсистки сидели над «Саниным»,
И одна, сухая как жердь,
Простонала с лицом затуманенным:
«Этот Санин прекрасен, как смерть».

А другая, кубышка багровая,
Поправляя двойные очки,
Закричала: «Молчи, безголовая! —
Эту книгу порвать бы в клочки».

Только третья молчала внимательно.
Розовел благородный овал,
И глаза загорались мечтательно...
Кто-то в дверь в этот миг постучал.

Это был вольнослушатель Анненский.
Две курсистки вскочили: «Борис,
Разрешите-ка диспут наш санинский!»
Поклонился смущенный Парис,

Посмотрел он на третью внимательно,
На взволнованно-нежный овал,
Улыбнулся чему-то мечтательно
И в ответ... ничего не сказал.

Между 1910 и 1913

СКВОЗНОЙ ВЕТЕР

Графит на крыше раскален.
Окно раскрыто. Душно.
Развесил лапы пыльный клен
И дремлет равнодушно.

Собрались мальчики из школ.
Забыты вмиг тетрадки,
И шумен бешеный футбол
На стриженой площадке.

Горит стекло оранжерей.
Нагрелся подоконник.
Вдруг шалый ветер из дверей
Ворвался, беззаконник.

Смахнул и взвил мои стихи —
Невысохшие строчки.
Внизу ехидное: «Хи-хи»
Хозяйской младшей дочки.

Она, как такса, у окна
Сидит в теченье суток.
Пускай хихикает она —
Мне вовсе не до шуток.

Забыл, забыл... Сплелись в мозгу
Все рифмы, как химера,
И даже вспомнить не могу
Ни темы, ни размера.

1907

ВЕСНА МЕРТВЕЦОВ

Зашевелились корни
Деревьев и кустов.
Растаял снег на дерне
И около крестов.

Оттаявшие кости
Брыкаются со сна,
И бродит на погосте
Весенняя луна.

Вот вылезли скелеты
Из тесных, скользких ям.
Белеют туалеты
Мужчин и рядом — дам.

Мужчины жмут им ручки,
Уводят в лунный сад.
И все земные штучки
При этом говорят.

Шуршанье. Вздохи. Шепот.
Бряцание костей.
И слышен скорбный ропот
Из глубины аллей:

«Мадам! Плохое дело...
Осмелюсь вам открыть:
Увы, истлело тело —
И нечем мне любить!»

<1910>

БЕГСТВО

Зеленой плесенью покрыты кровли башен.
Зубцы стены змеятся вкруг Кремля.
Закат пунцовой бронзою окрашен.
Над куполами золотом пыля,
Садится солнце сдержанно и сонно,
И древних туч узор заткал полнебосклона.

Царь-колокол зевает старой раной,
Царь-пушка зев уперла в небеса,
Как арбузы, охвачены нирваной,
Спят ядра грузные, не веря в чудеса,—
Им никогда не влезть в жерло родное
И не рыгнуть в огне, свистя и воя...

У Красного крыльца, в цветных полукафтаньях,
Верзилы певчие ждут, полы подобрав.
В лиловом сумраке свивая очертанья,
Старинным золотом горит плеяда глав,
А дальше терема, расписанные ярко,
И каменных ворот зияющая арка.

Проезжий в котелке, играя модной палкой,
В наполеоновские пушки постучал,

Вздохнул, зевнул, взглянул и, улыбаясь жалко,
Поправил галстук, хмыкнул, помычал —
И подошел к стене: всё главы, главы, главы
В последнем золоте закатно-красной лавы...

Широкий перезвон басов-колоколов
Унизан бойкою, серебряною дробью.
Ряды опричников, монахов и стрельцов
Бесшумно выросли, и, хмурясь исподлобья,
Проходит Грозный в черном клобуке,
С железным костылем в сухой руке.

Скорее в город! Современность ближе —
Проезжий в котелке, как бешеный, подрал.
Сесть в узенький трамвай, мечтать, что ты
в Париже,
И по уши уйти в людской кипящий вал!
В случайный ресторан забраться по пути,
Газету в руки взять и сердцем отойти...

«Эй, человек! Скорей вина и ужин!»
Кокотка в красном дрогнула икрой.
«Madame, присядьте... Я Москвой контужен!
Я одинок... О, будьте мне сестрой».
— «Сестрой, женой, иль тещей — чем угодно,—
На этот вечер я совсем свободна».

Он ей в глаза смотрел и плакал зло и пьяно:
«Ты не Царь-колокол? Не башня из Кремля?»
Она, смеясь, носком толкнула фортепьяно,
Мотнула шляпкой и сказала: «Тля!»
Потом он взял ее в гостиницу с собой,
И там она была ему сестрой.

<1909>

В ОРАНЖЕРЕЕ

Небо серо — мгла и тучи, садик слякотью размыт,
Надо как-нибудь подкрасить предвесенний русский быт.

Я пришел в оранжерею и, сорвав сухой листок,
Молвил: «Дайте мне дешевый, прочный, пахнущий
цветок».

Немцу дико: «Как так прочный? Я вас плохо
понимал...»
— «Да такой, чтоб цвел подольше и не сразу опадал».

Он ушел, а я склонился к изумрудно-серым мхам,
К юным сморщенным тюльпанам, к гиацинтным
лепесткам.

Еле-еле прикоснулся к крепким почкам тубероз
И до хмеля затянулся ароматом чайных роз.

На азалии смотрел я, как на райские кусты,
А лиловый рододендрон был пределом красоты.

Там, за мглой покатых стекол, гарь и пятна ржавых
крыш.
Здесь парной душистый воздух, гамма красок, зелень,
тишь...

Но вернулся старый немец и принес желтофиоль.
Я очнулся, дал полтинник и ушел в сырую голь...

И, идя домой, смеялся: «Ах ты, немец-крокодил,
Я на сто рублей бесплатно наслажденья получил!»

<1922>

ЭКЗАМЕН

Из всех билетов вызубрив четыре,
Со скомканной программою в руке,
Неся в душе раскаяния гири,
Я мрачно шел с учебником к реке.

Там у реки блондинка гимназистка
Мои билеты выслушать должна.
Ах, провалюсь! Ах, будет злая чистка!
Но ведь отчасти и ее вина...

Зачем о ней я должен думать вечно?
Зачем она близка мне каждый миг?
Ведь это, наконец, бесчеловечно!
Конечно, мне не до проклятых книг.

Ей хорошо: по всем — двенадцать баллов.
А у меня лишь по «закону» пять.
Ах, только гимназистки без скандалов
Любовь с наукой могут совмещать!

Пришел. Навстречу грозный голос Любы:
«Когда Лойола орден основал?»
А я в ответ ее жестоко в губы,
Жестоко в губы вдруг поцеловал.

«Не сметь! Нахал! Что сделал для науки
Декарт, Бэкон, Паскаль и Галилей?»
А я в ответ ее смешные руки
Расцеловал от пальцев до локтей.

«Кого освободил Пипин Короткий?
Ну что ж? Молчишь! Не знаешь ни аза?»
А я в ответ почтительно и кротко
Поцеловал лучистые глаза.

Так два часа экзамен продолжался.
Я получил ужаснейший разнос!
Но, расставаясь с ней, не удержался
И вновь поцеловал ее взасос.

...Я на экзамене дрожал, как в лихорадке,
И вытащил... второй билет! Спасен!
Как я рубил! Спокойно, четко, гладко...
Иван Кузьмич был страшно поражен.

Бегом с истории, ликующий и чванный,
Летел мою любовь благодарить...
В душе горел восторг благоуханный.
Могу ли я экзамены хулить?

<1910>

В УСАДЬБЕ

Склад вазонов на дорожках,
На комодах, на столах,
На камине, на окошках,
На буфетах, на полах!

Три азартных канарейки
Третий час уже подряд,
Выгнув тоненькие шейки,
Звонко стеклышки дробят.

За столом в таком же роде
Деликатный дамский хор:
О народе, о погоде,
О пюре из помидор...

Вспоминают о Париже,
Клонят головы к плечу.
Я придвинулся поближе,
Наслаждаюсь и молчу.

«Ах, pardon!..[1] Возьмите ножку!
Масло? Ростбиф? Камамбер?»
Набиваюсь понемножку,
Как пожарный кавалер.

Лес высоких аракарий,
В рамках — прадедов носы.
Словно старый антикварий,
Тихо шепчутся часы.

Самовар на курьих лапках,
Гиацинты в колпачках.
По стенам цветы на папках
Мирно дремлют на крючках.

Стекла сказочно синеют:
В мерзлых пальмах — искры льда.
Лампа-молния лютеет,
В печке — красная руда.

Рай... Но входит Макс — лягавый.
Все иллюзии летят!
В рай собак, о рок неправый,
Не пускают, говорят.

Декабрь 1910
Сальмела

---

[1] Извините! (франц.). — *Ред.*

СЕВЕРНАЯ ЛИРИКА

Танец диких у костров,
Пламя цепенеет,
Вяло лижет вязки дров
И в тумане рдеет.

Стынут белые ряды
Телеграфных нитей.
Всё следочки да следы
У казенных питей.

Горе! Малый весь дрожит,
Бьет рукой о донце...
В пелене, как сыр, сквозит
Розовое солнце...

Пар от окон, стен и крыш,
Мерзлые решетки.
Воздух — сталь, Нева — Иртыш.
Комнату и водки!

Лопнет в градуснике ртуть,
Или лопнут скулы,
Тяжелей и гуще муть,
Холод злей акулы.

Замерзаю, как осел.
Эй, извозчик! Живо,
В Ботанический пошел!
Понеслись на диво...

Еду пальмы посмотреть
И обнять бананы.
Еду душу отогреть
В солнечные страны.

Эскимосы и костры!
Стужа сердце гложет —
Час тропической жары
Только и поможет.

<1909>

ГАРМОНИЯ

Направо в обрыве чернели стволы
Гигантских, развесистых сосен,
И был одуряющий запах смолы,
Как зной неподвижный, несносен.

Зеленые искры светящих жуков
Носились мистическим роем,
И в городе дальнем ряды огоньков
Горели вечерним покоем.

Под соснами было зловеще темно,
И выпи аукали дружно.
Не здесь ли в лесу бесконечно давно
Был Ивик убит безоружный?..

Шли люди — их лица закутала тьма,
Но речи отчетливы были:
«Вы знали ли Шляпкиных?» — «Как же, весьма, —
Они у нас летом гостили».

— «Как ваша работа?» — «Идет, — ничего,
Читаю Роберта Овéна».
— «Во вторник пойдем в семинар?» — «Для чего?»
— «Орлов — референт». — «Непременно».

— «Что пишет Кадушкин?» — «Женился, здоров,
И предан партийной работе».
Молчанье. Затихла мелодия слов,
И выпь рассмеялась в болоте.

<1908>

КАРНАВАЛ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ

Город спятил. Людям надоели
Платья серых будней — пиджаки,
Люди тряпки пестрые надели,
Люди все сегодня — дураки.

Умничать никто не хочет больше,
Так приятно быть самим собой...
Вот костюм кичливой старой Польши,
Вот бродяги шествуют гурьбой.

Глупый Михель с пышною супругой
Семенит и машет колпаком,
Белый клоун надрывается белугой
И грозит кому-то кулаком.

Ни проехать, ни пройти,
Засыпают конфетти,
Щиплют пухленьких жеманниц.

Нет манер, хоть прочь рубаху!
Дамы бьют мужчин с размаху,
День во власти шумных пьяниц.

Над толпою серпантин
Сетью пестрых паутин
Перевился и трепещет.

Треск хлопушек, свист и вой,
Словно бешеный прибой,
Рвется в воздухе и плещет.

Идут, обнявшись, смеясь и толкаясь,
В открытые настежь пивные.
Идут, как братья, шумя и ругаясь,
И все такие смешные...

Смех людей соединил,
Каждый пел и каждый пил,
Каждый делался ребенком.

Вон судья навеселе
Пляшет джигу на столе,
Вон купец пищит котенком.

Хор студентов свеж и волен, —
Слава сильным голосам!
Город счастлив и доволен,
Льется пиво по столам...

Ходят кельнерши в нарядах —
Та матросом, та пажом,
Страсть и дерзость в томных взглядах.
«Помани, и... обожжем!»

Пусть завтра опять наступают будни.
Пусть люди наденут опять пиджаки,
И будут спать еще непробудней, —
Сегодня мы все — дураки...

Братья! Женщины не щепки —
Губы жарки, ласки крепки,
Как венгерское вино.

Пейте, лейте, прочь жеманство!
Завтра трезвость, нынче пьянство...
Руки вместе — и на дно!

<1909>

ИЗ «ШМЕЦКИХ» ВОСПОМИНАНИЙ

(Посвящается А. Григорьеву)

У берега моря кофейня. Как вкусен густой шоколад!
Лиловая жирная дама глядит у воды на закат.

«Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш
грузный баркас.
Вы задом заставили солнце, — а солнце прекраснее
вас...»

Сосед мой краснеет, как клюква, и смотрит
сконфуженно вбок.
«Не бойся! Она не услышит: в ушах ее ватный клочок».

По тихой веранде гуляет лишь ветер да пара щенят.
Закатные волны вскипают, шипят и любовно звенят.

Весь запад в пунцовых пионах, и тени играют
с песком,
А воздух вливается в ноздри тягучим парным молоком.

«Михайлович, дай папироску!» Прекрасно сидеть
в темноте,
Не думать и чувствовать тихо, как краски растут
в высоте.

О, море верней валерьяна врачует от скорби и зла...
Фонарщик зажег уже звезды, и грузная дама ушла.

Над самой водою далеко, как сонный, усталый глазок,
Садится в шипящее море цветной, огневой ободок.

До трех просчитать не успели, он вздрогнул и тихо
нырнул,
А с моря уже доносился ночной нарастающий гул...

1908
Шмецке — вблизи Гунгербурга

УЛИЦА В ЮЖНОГЕРМАНСКОМ ГОРОДЕ

Звонки бирюзовых веселых трамваев.
Фланеры-туристы, поток горожан...
Как яркие перья цветных попугаев
Уборы студентов. А воздух так пьян!

Прекрасные люди! Ни брани, ни давки.
Узнайте: кто герцог и кто маникюр?
А как восхитительны книжные лавки,
Какие гирлянды из книг и гравюр!

В обложках малиновых, желтых, лиловых
Цветут, как на грядках, в зеркальном окне...
Сильнее колбасных, сильнее фруктовых
Культурное сердце пленяют оне.

Прилично и сдержанно умные таксы
Флиртуют носами у низких витрин,
А Фриды и Францы, и Минны, и Максы
Пленяют друг друга жантильностью мин.

Жара. У «Perkeo»[1] открыли окошки.
Отрадно сидеть в холодке и смотреть:
Вон цуг корпорантов. За дрожками дрожки...
Поют и хохочут. Как пьяным не петь!

Свежи и дородны, глупы, как кентавры,
Проехали. Солнце горит на домах.
Зеленые кадки и пыльные лавры
Слились и кружатся в ленивых глазах.

Свист школьников, хохот и пьяные хоры,
Звонки, восклицания, топот подков.
Довольно! В трамвай — и к подъему на горы.
. . . .
...О, сила пространства! О, сны облаков!..

<1910>

ТЕАТР

В жизни так мало красивых минут,
В жизни так много безверья и черной работы.
Мысли о прошлом морщины на бледные лица кладут,
Мысли о будущем полны свинцовой заботы,
А настоящего — нет... Так между двух берегов
Бьемся без смеха, без счастья, надежд и богов...

И вот, порою,
Чтоб вспомнить, что мы еще живы,
Чужою игрою
Спешим угрюмое сердце отвлечь...
Пусть снова встанут
Миражи счастья с красивой тоскою,
Пусть нас обманут,
Что в замке смерти живет красота.
Нам «Синие птицы»
И «Вечные сказки» — желанные гостьи,
Пускай — небылицы,
В них наши забытые слезы дрожат.

[1] Старинный ресторан в Гейдельберге.

У барьера много серых, некрасивых, бледных лиц,
Но в глазах у них, как искры, бьются крылья синих
птиц.
Вот опять открылось небо — голубое полотно...
О, по цвету голубому стосковались мы давно,
И не меньше стосковались по ликующим словам,
По свободным, смелым жестам, по несбыточным
мечтам!

Дома стены, только стены,
Дома жутко и темно,
Там, не зная перемены,
Повторяешь: «Всё равно»...
Всё равно? О, так ли? Трудно искры в сердце
затоптать,
Трудно жить и знать, и видеть, но не верить, но
не ждать,
И играть тупую драму, покорившись, как овца,
Без огня и вдохновенья, без начала и конца...

И вот, порою,
Чтоб вспомнить, что мы еще живы,
Чужою игрою
Спешим угрюмое сердце отвлечь.

<1908>

Книга вторая

«САТИРЫ И ЛИРИКА»

В ПРОСТРАНСТВО

В литературном прейскуранте
Я занесен на скорбный лист:
«Нельзя, мол, отказать в таланте,
Но безнадежный пессимист».

Ярлык пришит. Как для дантиста
Все рты полны гнилых зубов,
Так для поэта-пессимиста
Земля — коллекция гробов.

Конечно, это свойство взоров!
Ужели мир так впал в разврат,
Что нет натуры для узоров
Оптимистических кантат?

Вот редкий подвиг героизма,
Вот редкий умный господин,
Здесь — брак, исполненный лиризма,
Там — мирный праздник именин...

Но почему-то темы эти
У всех сатириков в тени,
И все сатирики на свете
Лишь ловят минусы одни.

Вновь с безнадежным пессимизмом
Я задаю себе вопрос:
Они ль страдали дальтонизмом,
Иль мир бурьяном зла зарос?

Ужель из дикого желанья
Лежать ничком и землю грызть
Я исказил все очертанья,
Лишь в краску тьмы макая кисть?

Я в мир, как все, явился голый
И шел за радостью, как все...
Кто спеленал мой дух веселый —
Я сам? Иль ведьма в колесе?

О Мефистофель, как обидно,
Что нет статистики такой,
Чтоб даже толстым стало видно,
Как много рухляди людской!

Тогда, объяв века страданья,
Не говорили бы порой,
Что пессимизм как заиканье
Иль как душевный геморрой...

1910 или 1911

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Белые хлопья и конский навоз
Смесились в грязную желтую массу и преют.
Протухшая, кислая, скучная, острая вонь...
Автомобиль и патронный обоз.
В небе пары, разлагаясь, сереют.
В конце переулка желтый огонь...
Плывет отравленный пьяный,
Бросил в глаза проклятую брань
И скрылся, качаясь, — нелепый, ничтожный и рваный.
Сверху сочится какая-то дрянь...
Из дверей извозчичьих чадных трактиров
Вырывается мутным снопом
Желтый пар, пропитанный шерстью и щами...
Слышишь крики распаренных сиплых сатиров?
Они веселятся... Плетется чиновник с попом,
Щебечет грудастая дама с хлыщами,
Орут ломовые на темных слоновых коней,
Хлещет кнут и скучное острое русское слово!

На крутом повороте забили подковы
По лбам обнаженных камней —
И опять тишина.
Пестроглазый трамвай вдалеке промелькнул.
Одиночество скучных шагов... «Ка-ра-ул!»
Всё черней и неверней уходит стена.
Мертвый день растворился в тумане вечернем...
Зазвонили к вечерне.
Пей до дна!

<1910>

В ПАССАЖЕ

Портрет Бетховена в аляповатой рамке,
Кастрюли, скрипки, книги и нуга.
Довольные обтянутые самки
Рассматривают бусы-жемчуга.

Торчат усы, и чванно пляшут шпоры.
Острятся бороды бездельников-дельцов.
Сереет негр с улыбкою обжоры,
И нагло ржет компания писцов.

Сквозь стекла сверху, тусклый и безличный,
Один из дней рассеивает свет.
Толчется люд, бесцветный и приличный.

Здесь человечество от глаз и до штиблет
Как никогда — жестоко гармонично
И говорит мечте цинично: «Нет!»

<1910>

ТУЧКОВ МОСТ

Заклубилась темень над рекой.
Крепнет ветер. Даль полна тоской.

Лед засыпан снегом. Как беда,
В полыньях чернеется вода.

Крышки свай, безжизненно наги,
Друг на друга смотрят как враги.

На мосту пролетка дребезжит.
Кучер свесил голову и спит...

Фонари пустынно встали в ряд.
И в отчаяньи, и в ужасе горят.

Одичалый дом на островке
Бродит стеклами слепыми по реке.

Снег валит. Навеки занесло
Лето, розы, солнце и тепло.

<1913>

У КАНАЛА НОЧЬЮ

Тихо, глухо. Пусто, пусто...
Месяц хлынул в переулок.
Стены стали густо-густо.
Мертв покой домов-шкатулок.

Черепных безглазых впадин
Черных окон — не понять.
Холод неба беспощаден,
И дневного не узнать.

Это дьявольская треба:
Стынут волны, хмурясь ввысь,—
Стенам мало плена неба,
Стены вниз, к воде сползлись.

Месяц хлынул в переулок...
Смерть берет к губам свирель.
За углом, угрюмо-гулок,
Чей-то шаг гранит панель.

<1910>

ВИД ИЗ ОКНА

Захватанные копотью и пылью,
Туманами, парами и дождем,
Громады стен с утра влекут к бессилью,
Твердя глазам: мы ничего не ждем...

Упитанные голуби в карнизах,
Забыв полет, в помете грузно спят.
В холодных стеклах, матовых и сизых,
Чужие тени холодно сквозят.

Колонны труб и скат слинявшей крыши,
Мостки для трубочиста, флюгера
И провода в мохнато-пыльной нише.

Проходят дни, утра и вечера.
Там где-то небо спит аршином выше,
А вниз сползает серый люк двора.

<1910>

КОМНАТНАЯ ВЕСНА

Проснулся лук за кухонным окном
И выбросил султан зелено-блёклый.
Замученные мутным зимним сном,
Тускнели ласковые солнечные стекла.

По комнатам проснувшаяся моль
Зигзагами носилась одурело
И вдруг, поняв назначенную роль,
Помчалась за другой легко и смело.

Из-за мурильевской Мадонны на стене
Прозрачные клопенки выползали,
Невинно радовались комнатной весне,
Дышали воздухом и лапки расправляли.

Оконный градусник давно не на нуле —
Уже неделю солнце бьет в окошки!
В вазончике по треснувшей земле
Проворно ползали зелененькие вошки.

Гнилая сырость вывела в углу
Сухую изумрудненькую плесень,
А зайчики играли на полу
И требовали глупостей и песен...

У хламной этажерки на ковре
Сидело чучело в манжетах и свистало,
Прислушивалось к гаму на дворе
И пыльные бумажки разбирало.

Пять воробьев, цепляясь за карниз,
Сквозь стекла в комнату испуганно вонзилось:
«Скорей! Скорей! Смотрите, вот сюрприз —
Оно не чучело, оно зашевелилось!»

В корзинку для бумаг «ее» портрет
Давно был брошен, порванный жестоко...
Чудак собрал и склеил свой предмет,
Недоставало только глаз и бока.

Любовно и восторженно взглянул
На чистые черты сбежавшей дамы,
Взял лобзик, сел верхом на хлипкий стул —
И в комнате раздался визг упрямый.

Выпиливая рамку для «нея»,
Свистало чучело и тихо улыбалось...
Напротив пела юная швея,
И солнце в стекла бешено врывалось!

<1910>

МЕРТВЫЕ МИНУТЫ

Набухли снега у веранды.
Темнеет лиловый откос.
Закутав распухшие гланды,
К стеклу прижимаю я нос.

Шперович — банкир из столицы
(И истинно-русский еврей) —
С брусничною веткой в петлице
Ныряет в сугроб у дверей.

Его трехобхватная Рая
В сугроб уронила кольцо
И, жирные пальцы ломая,
К луне подымает лицо.

В душе моей страх и смятенье:
Ах, если Шперович найдет! —
Двенадцать ножей огорченья
Мне медленно в сердце войдет...

Плюется... Встает... Слава богу!
Да здравствует правда, ура!
Шперович уходит в берлогу,
Супруга рыдает в боа.

<1911>

ПЯТЬ МИНУТ

«Господин» сидел в гостиной
И едва-едва
В круговой беседе чинной
Плел какие-то слова.

Вдруг безумный бес протеста
В ухо проскользнул:
«Слушай, евнух фраз и жеста,
Слушай, бедный вечный мул!

Пять минут (возьми их с бою!)
За десятки лет
Будь при всех самим собою
От пробора до штиблет».

В сердце ад. Трепещет тело.
«Господин» поник...
Вдруг рукой оледенелой
Сбросил узкий воротник!

Положил на кресло ногу,
Плечи почесал
И внимательно и строго
Посмотрел на стихший зал.

Увидал с тоской суровой
Рыхлую жену,
Обозвал ее коровой
И, как ключ, пошел ко дну...

Близорукого соседа
Щелкнул пальцем в лоб
И прервал его беседу
Гневным словом: «Остолоп!»

Бухнул в чай с полчашки рома,
Пососал усы,
Фыркнул в нос хозяйке дома
И, вздохнув, достал часы.

«Только десять! Ну и скука...»
Потянул альбом
И запел, зевнув как щука:
«Тили-тили-тили-бом!»

Зал очнулся: шепот, крики,
Обмороки дам.
«Сумасшедший! Пьяный! Дикий!»
— «Осторожней, — в морду дам».

Но прислуга «господину»
Завязала рот
И снесла, измяв как глину,
На пролетку у ворот...

Двадцать лет провел несчастный
Дома, как барбос,
И в предсмертный час напрасно
Задавал себе вопрос:

«Пять минут я был нормальным
За десятки лет —
О, за что же так скандально
Поступил со мною свет!»

<1910>

КОЛУМБОВО ЯЙЦО

Дворник, охапку поленьев обрушивши с грохотом
на́ пол,
Шибко и тяжко дыша, пот растирал по лицу.
Из мышеловки за дверь вытряхая мышонка для кошек,
Груз этих дров квартирант нервной спиной ощутил.

«Этот чужой человек с неизвестной фамильей и жизнью
Мне не отец и не сын — что ж он принес мне дрова?
Правда, мороз на дворе, но ведь я о Петре не подумал
И не принес ему дров в дворницкий затхлый вертеп».

Из мышеловки за дверь вытряхая мышонка для кошек,
Смутно искал он в душе старых напетых цитат:
«Дворник, мол, создан для дров, а жилец есть объект
для услуги.
Взять его в комнату жить? Дать ему галстук и „Речь"?»

Вдруг осенило его и, гордынею кроткой сияя,
Сунул он в руку Петра новеньких двадцать монет,
Тронул ногою дрова, благодарность с достоинством
принял
И в мышеловку кусок свежего сала вложил.

<1911>

В ТИПОГРАФИИ

Метранпаж октавой низкой
Оглушил ученика:
«Васька, дьявол, тискай, тискай!
Что валяешь дурака?
Рифмачу для корректуры надо оттиск отослать...»
Васька брюхом навалился на стальную рукоять.

У фальцовщиц тоже гонка —
Влажный лист шипит по швам,
Сочно-белые колонки
Набухают по столам.

Пальцы мчатся, локти ходят, тараторят языки,
Непрерывные движенья равномерны и легки.

А машины мягко мажут
Шрифт о вал и вал о вал,
Рычаги бесшумно вяжут
За овалами овал.
«Пуф, устала, пуф, шалею, наглоталась белых кип!»
Маховик жужжит и гонит однотонный, тонкий скрип.

У наборных касс молчанье.
Свисли груши-огоньки,
И свинец с тупым мерцаньем
Спорко скачет из руки.
Прейскуранты, проза, вирши, каталоги и счета
Свеют нежную невинность белоснежного листа...

В грязных ботиках и в шубе
Арендатор фон-дер-Фалл,
Оттопыривая губы,
Глазки выпучил на вал.
Кто-то выдумал машины, народил для них людей,
Вылил буквы, сделал стены, окна, двери, пол. Владей!

Пахнет терпким терпентином.
Под машинное туше
С липким чмоканьем змеиным
Ходят жирные клише.
Шрифт, штрихи, заказы, сказки, ложь и правда, бред и гнус.
Мастер вдумчиво и грустно краску пробует на вкус.

В мертво-бешеной погоне
Лист ныряет за листом.
Ток гудит, машина стонет —
Слышишь в воздухе густом:
«Пуф, устала, пуф, шалею, слишком много белых кип!»
Маховик жужжит и гонит однотонный, тонкий скрип.

<1910>

БОДРЫЙ СМЕХ

...песню пропойте,
Где злость не глушила бы смеха, —
И вам, точно чуткое эхо,
В ответ молодежь засмеется.

(Из письма «группы киевских медичек» к автору)

Голова — как из олова.
Наплевать!
Опущусь на кровать
И в подушку зарою я голову
И закрою глаза.
Оранжево-сине-багровые кольца
Завертелись, столкнулись и густо сплелись,
В ушах золотые звенят колокольцы,
И сердце и ноги уходят в черную высь.
Весело! Общедоступно и просто:
Уткнем в подушку нос и замрем —
На дне подушки, сбежав с погоста,
Мы бодрый смех найдем.
Весело, весело! Пестрые хари
Щелкают громко зубами,
Проехал черт верхом на гитаре
С большими усами.
    Чирикают пташки,
    Летают барашки,
Плодятся букашки, и тучки плывут.
    О грезы! О слезы!
    О розы! О козы!
Любовь, упоенье и ра-до-стный труд!
Весело, весело! В братской могиле
Щелкайте громче зубами.
Одни живут, других утопили,
А третьи — сами.
    Три собачки на дворе
    Разыграли кабаре:
    Широко раскрыли пасти
    И танцуют в нежной страсти.
    Детки прыгают кругом
    И колотят псов прутом.
    «У Егора на носу
    Черти ели колбасу...»

Весело, весело, весело, весело!
Щелкайте громче зубами.
Одни живут, других повесили,
А третьи — сами...

Бесконечно милая группа божьих коровок!
Киевлянки-медички! Я смеюсь на авось.
Бодрый смех мой, быть может, и глуп,
и неловок —
Другого *сейчас* не нашлось.
Но когда вашу лампу потушат,
И когда вы сбежите от всех,
И когда идиоты задушат
Вашу мысль, вашу радость и смех, —
Эти вирши, смешные и странные,
Положите на ноты и пойте, как пьяные:
И тогда — о, смею признаться —
Вы будете долго и дико смеяться!

<1910>

ЧЕЛОВЕК В БУМАЖНОМ ВОРОТНИЧКЕ

Занимается письмоводством.
(Отметка в паспорте)

Позвольте представиться: Васин.
Несложен и ясен, как дрозд.
В России подобных орясин —
Как в небе полуночном звезд.

С лица я не очень приятен:
Нос толстый, усы — как порей,
Большое количество пятен
И также немало угрей...

Но если постричься, побриться
И спрыснуться майским амбре —
Любая не прочь бы влюбиться
И вместе пойти в кабаре.

К политике я равнодушен.
Кадеты, эсдеки — к чему-с?
Бухгалтеру буду послушен
И к Пасхе прибавки добьюсь.

На службе у нас лотереи...
Люблю, но, увы, не везет:
Раз выиграл баночку клею,
В другой — перебитый фагот.

Слежу иногда за культурой:
Бальмóнт, например, и Дюма,
Андреев... с такой шевелюрой —
Мужчины большого ума!..

Видали меня на Литейном?
Пейзаж! Перед каждым стеклом
Торчу по часам ротозейно:
Манишечки, пряничный лом...

Тут мятный, там вяземский пряник,
Здесь выпуски «Ужас таверн»,
Там дивный фраже-подстаканник
С русалкою в стиле модерн.

Зайдешь и возьмешь полендвицы
И кетовой (четверть) икры,
Привяжешься к толстой девице,
Проводишь, предложишь дары.

Чаек. Заведешь на гитаре
Чарующий вальс «На волнах»
И глазом скользишь по Тамаре...
Невредно-с! Удастся, иль швах?

Частенько уходишь без толку:
С идеями или глупа.
На Невском бобры, треуголки,
Чиновники, шубы... Толпа!

Нырнешь и потонешь бесследно.
Ах, черт, сослуживец... «Балда!» —
«Гуляешь?» — «Гуляю». — «Не вредно!» —
«Со мною?» — «С тобою». — «Айда!»

<1911>

ДВЕ БАСНИ

1

Гуляя в городском саду,
Икс влопался в беду:
Навстречу шел бифштекс в нарядном женском
платье.
Посторонившись с тонким удальством,
Икс у забора — о, проклятье! —
За гвоздик зацепился рукавом.
Трах! Вдребезги сукно,
Скрежещет полотно —
И локоть обнажился.
От жгучего стыда Икс пурпуром покрылся:
«Что делать? Боже мой!»
Прикрыв рукою тело,
Бегом к извозчику, вскочил, как очумелый,
И рысью марш домой!..

Последний штрих — и кончена картина:
Сей Икс имел лицо кретина
И сорок с лишним лет позорил им творца, —
Но никогда,
Сгорая от стыда,
Ничем не прикрывал он голого лица.

2

Мудрейший индивид,
Враг всех условных человеческих вериг,
Пожравший сорок тысяч книг
И даже Ницше величающий буржуем,
Однажды был судьбою испытуем
Ужасней, чем Кандид:

Придя на симфонический концерт
И взором холодно блуждая по партеру,
Заметил, что сосед, какой-то пошлый ферт,
Косится на него, как на пантеру.
Потом другой, и третий, и четвертый —
И через пять минут почти вся зала,
Впивая остроту нежданного скандала,
Смотрела на него, как сонм святых на черта.
Спокойно индивид
В складное зеркальце взглянул в недоуменьи:
О, страшный вид!
«В зобу дыханье сперло! ..»
Растерянно, закрыв программой горло,
Во все лопатки
Бежал он из театра, —
Краснел,
Бледнел,
И дома принял три облатки
Бромистого натра.

Зачем же индивид удрал с концерта вспять?
Забыл в рассеянности галстук повязать.

<1913>

СТИЛИСТЫ

На последние полушки
Покупая безделушки,
Чтоб свалить их в Петербурге
В ящик старого стола, —

У поддельных ваз этрусских
Я нашел двух бравых русских,
Зычно спорящих друг с другом,
Тыча в бронзу пятерней:

«Эти вазы, милый Филя,
Ионического стиля!»

— «Брось, Петруша! Стиль дорийский
Слишком явно в них сквозит...»

Я взглянул: лицо у Фили
Было пробкового стиля,
А из галстука Петруши
Бил в глаза армейский стиль.

<1910>

ВО ИМЯ ЧЕГО?

Во имя чего уверяют,
Что надо кричать: «Рад стараться!»?
Во имя чего заливают
Помоями правду и свет?

Ведь малые дети и галки
Друг другу давно рассказали,
Что в скинии старой — лишь палки
Да тухлый, обсосанный рак...

Без белых штанов с позументом
Угасло бы солнце на небе?
Мир стал бы без них импотентом?
И груши б в садах не росли?..

Быть может, не очень прилично
Средь сладкой мелодии храпа
С вопросом пристать нетактичным:
Во имя, во имя чего?

Но я ведь не действую скопом:
Мне вдруг захотелось проверить,
Считать ли себя мне холопом
Иль сыном великой страны...

Во имя чего так ласкают
Союзно-ничтожную падаль?

Во имя чего не желают,
Чтоб все научились читать?

Во имя чего казнокрады
Гурьбою бегут в патриоты?
Во имя чего как шарады
Приходится правду писать?

Во имя чего ежечасно
Думбадзе плюют на законы?
Во имя чего мы несчастны,
Бессильны, бедны и темны?..

Чины из газеты «Россия»,
Прошу вас, молю вас — скажите
(Надеюсь, что вы не глухие),
Во имя, во имя чего?!

<1911>

УТЕШЕНИЕ

В минуты,
Когда, озираясь, беспомощно ждешь перемены,
Невольно
Скуратова образ всплывает, как призрак гангрены...
О, счастье,
Что в мир мы явились позднее, чем предки!
Всё лучше
По Чехову жить, чем биться под пытками в клетке...
Чтó муки
Духовных застенков, смягченных привычной печалью,
Пред адом
Хрустящих костей и мяса под жадною сталью?
У нас ведь
Симфонии, книги, поездки в Европу... и Дума —
При Грозном
Так страшно и так бесконечно угрюмо...
Умрем мы,
И дети умрут, и другое придет поколенье —

В минуты
Повышенных, новых и острых сомнений
Вновь скажут
Они, озираясь, с беспомощным смехом угрюмым:
«О, счастье,
Что мы родились после той удивительной Думы!
Всё лучше
К исканиям новым идти, томясь и срываясь,
Чем молча
Позором своим любоваться, в плену задыхаясь».

<1913>

БИРЮЛЬКИ

Лекционная религия пудами прибывает:
На безверьи заработать можно очень хорошо.

Современные банкроты испугались беспроблемья —
Отрыгнув Проблему Пола, надо ж что-нибудь жевать!

Много есть на свете мяса, покупающего книги,
Заполняющего залы из-за месячных проблем.

Кто-то хитрый и трусливый первый крикнул рыбье
слово,
И сбежались остальные, как на уличный скандал!

Успокоиться так любо! Дай им с формулами веру,
С иностранными словами, с математикой тоски.

Брось им кость для нудных споров о Великом
Незнакомце —
Эта тема бесконечна для варьяций индюков.

Как приятно строить мостик из бездарных слов
и воплей,
И научно морщить брови, и мистически сопеть...

И с куриным самомненьем сожалеть о тех «незрячих»,
Кто, закрыв лицо руками, целомудренно молчит.

С авиатикою слабо... И уже надоедает
Каждый день читать, как Игрек грудь и череп
раздробил...

От идей слова остались, а от слов остались буквы, —
Что нам стоит! Можно к небу на безверьи полететь.

На Шаляпина билеты достают одни счастливцы —
Здесь же можно за полтинник вечность щупать за бока!

Мой знакомый, Павел Стружкин, замечательная
личность:
Он играет на бильярде, как армейский капитан.

Двести двадцать слов он знает на российском диалекте
И завязывает галстук на двенадцать номеров.

Но вчера я на заборе увидал с тоской афишу:
Павел Стружкин. «Бог и вечность». Бедный
Тенишевский зал!

Вам смешно? А мне нисколько. Я его не буду слушать,
Ну а вам не удержаться, мой читатель дорогой...

Можно вволю посмеяться, покричать, побесноваться —
Кой-кому сия проблема заменяет даже цирк.

«Скучно жить на белом свете!» — это Гоголем открыто,
До него же — Соломоном, а сейчас — хотя бы мной.

<1910>

В ДЕРЕВНЕ

Так странно: попал к незнакомым крестьянам —
Приветливость, ровная ласка... За что?
Бывал я в гостиных, торчал по ночным ресторанам,
Но меня ни один баран не приветил. Никто!

Так странно: мне дали сметаны и сала,
Черного хлеба, яиц и масла кусок.
За что? За деньги, за смешные кружочки металла?
За звонкий символ обмена, проходящий сквозь мой
кошелек?

Так странно. Когда бы вернулась вновь мена —
Что дал бы я им за хлеб и вкусный крупник?
Стихи? Но, помявши в руках их, они непременно
Вернули бы мне их обратно, сказав с усмешкой:
«Шутник!»

Конфузясь, в другую деревню пошел бы, чтоб снова
Обросшие люди отвергли продукт мой смешной,
Чтоб, приняв меня за больного, какой-нибудь Митрич
сурово
Ткнул мне боком краюшку с напутствием: «С богом,
блажной!»

Обидно! Искусство здесь в страшном загоне:
В *первый день Пасхи* парни, под русскую брань,
Орали циничные песни под тявканье пьяной гармони,
А девки плясали на сочном холме «падеспань».

Цветут анемоны. Опушки лесов всё чудесней,
Уносятся к озеру ленты сверкающих вод...
Но в сытинских сборниках дремлют народные песни,
А девки в рамах на выставках водят цветной хоровод.

Крестьяне на шляпу мою реагируют странно:
Одни меня «барином» кличут, — что скажешь в ответ?
Другие вдогонку, без злобы, но очень пространно,
Варьируют сочно и круто единственно русский привет.

И в том и в другом разобраться не сложно —
Но скучно... Пчела над березой дрожит и жужжит.
Дышу и молчу, червяка на земле обхожу осторожно,
И солнце на пальцах моих всё ярче, всё жарче горит.

Двухлетнюю Тоню, крестьянскую дочку,
Держу на руках -- и ей моя шляпа смешна:
Разводит руками, хохочет, хватает меня за сорочку,
Но, к счастью, еще говорить не умеет она...

1910
Заозерье

СЕВЕРНЫЕ СУМЕРКИ

В небе полоски дешёвых чернил
Со снятым молоком вперемежку,
Пес завалился в пустую тележку
И спит. Дай, господи, сил!

Черви на темных березах висят
И колышут устало хвостами.
Мошки и тени дрожат над кустами.
Как живописен вечерний мой сад!

Серым верблюдом стала изба.
Стекла — как очи тифозного сфинкса.
С видом с Марса упавшего принца
Пот неприятия злобно стираю со лба...

Кто-то порывисто дышит в сарайную щель,
Больная корова, а может быть, леший?
Лужи блестят, как старцев-покойников плеши.
Апрель? Неужели же это апрель?!

Вкруг огорода пьяный, беззубый забор.
Там, где закат, узкая ниточка жёлчи.
Страх всё растет, гигантский, дикий и волчий...
В темной душе запутанный темный узор.

Умерли люди, скворцы и скоты.
Воскреснут ли утром для криков и жвачки?
Хочется стать у крыльца на карачки
И завыть в глухонемые кусты...

Разбудишь деревню, молчи! Прибегут
С соломою в патлах из изб печенеги,
Спросонья воткнут в тебя вилы с разбега
И триста раз повернут...

Черным верблюдом стала изба.
А в комнате пусто, а в комнате гулко.
Но лампа разбудит все закоулки,
И легче станет борьба.

Газетной бумагой закрою пропасть окна.
Не буду смотреть на грязь небосвода!
Извините меня, дорогая природа,—
Сварю яиц, заварю толокна.

1910
Заозерье

ПИЩА

«Ну, тащися, сивка!»

Варвара сеет ртом петрушку,
Морковку, свеклу и укроп.
Смотрю с пригорка на старушку,
Как отдыхающий Эзоп.

Куры вытянули клювы...
Баба гнется вновь и вновь.
Кыш! Быть может, сам Петр Струве
Будет есть ее морковь.

Куда ни глянь — одно и то же:
Готовят новую еду.
Покинув ласковое ложе,
Без шляпы в ближний лес иду.

Озимь выперло щетиной.
Пища-с... Булки на корню.
У леска мужик с скотиной
Ту же подняли возню:

Михайла, подбирая вожжи,
На рахитичной вороной
С полос сдирает плугом кожи.
Дед рядом чешет бороной.

Вороная недовольна:
Через два шага — антракт.
Но вожжа огреет больно —
И опять трясутся в такт.

На пашне щепки, пни и корни —
Берез печальные следы:
Здесь лягут маленькие зерна
Для пресной будущей еды.

Пыльно-потная фигура
Напружает зверски грудь:
«Ну, тащися, сивка, шкура!
Надо ж лопать что-нибудь».

Не будет засух, ливней, града —
Смолотят хлеб и станут есть...
Ведь протянуть всю зиму надо,
Чтоб вновь весной в оглобли влезть.

Плуг дрожит и режет глину.
Как в рулетке! Темный риск...
Солнце жжет худую спину,
В небе — жаворонка писк.

Пой, птичка, пой! Не пашут птички.
О ты, Великий Агроном!
Зачем нельзя иметь привычки
Быть сытым мыслью, зреньем, сном?!

Я спросил у мужичонки:
«Вам приятен этот труд?»
Мужичок ответил тонко:
«Ваша милость пожуют».

1910

ВИЗИТ

Садик. День. Тупой, как тумба,
Гость — учитель Ферапонт.
Непреклоннее Колумба
Я смотрю на горизонт.

Тускло льются переливы.
Гость рассказывает вслух
По последней книжке «Нивы»
Повесть Гнедича «Петух».

Говори... Чрез три недели
Сяду в поезд... Да, да, да! —
И от этой канители
Не останется следа.

Садик. Вечер. Дождик. Клумба.
Гость уполз, раскрывши зонт.
Непреклоннее Колумба
Я смотрю на горизонт.

1911
Кривцово

СООБЩА

«Отчего такая радость
У багровских мужиков?»
— «В заказном лугу поймали
Нижнедарьинских коров».

— «Ну и что ж?» — «А очень просто:
За потраву — четвертной».
— «Получили?» — «Уж по-лу-чат!
Под него вот и пропой».

— «Отчего же их так много?»
— «Эх ты, милая душа, —
Нижнедарьинцы ведь тоже
Пропивают сообща!»

<1913>

ПРЯНИК

Как-то, сидя у ворот,
Я жевал пшеничный хлеб,
А крестьянский мальчик Глеб
Не дыша смотрел мне в рот.

Вдруг он буркнул, глядя вбок:
«Дай-кась толичко и мне!»
Я отрезал на бревне
Основательный кусок.

Превосходный аппетит!
Вмиг крестьянский мальчик Глеб,
Как акула, съел свой хлеб
И опять мне в рот глядит.

«Вкусно?» Мальчик просиял:
«Быдто пряник! Дай ишо!»
Я ответил: «Хорошо»,
Робко сжался и завял...

Пряник?.. Этот белый хлеб
Из пшеницы мужика —
Нынче за два пятака
Твой отец мне продал, Глеб.

<1911>

В КАРЦЕРЕ

За сверхформенно отросшие волосья
Третий день валяюсь здесь во тьме.
В теле зуд. Прическа — как колосья.
Пыль во рту и вялый гнев в уме.

Неуютно в черном помещеньи...
Доски жестки, и скамья узка,

А шинель скользит как привиденье —
Только дразнит сонные бока.

Отобрали ремешок мой брючный
И табак (ложись и умирай!) —
Чтобы я в минуты мути скучной
Не курил и не стремился к рай.

Запою ль вполголоса, лютея,
Щелкнет в дверце крошечный квадрат
И, светясь, покажется, как фея,
Тыкволицый каменный солдат:

«Арестованному петь не дозволятца».
Ротный друг мой, Бурлюков-мурло!
За тебя, осинового братца,
Мало ль писем я писал в село?

Оторвал зубами клок краюхи
И жую противный, кислый ком.
По лицу ползут, скучая, мухи,
Отогнал — и двинул в дверь носком.

«Черт, Бурлюк! Гнусит «не дозволятца!»
Ишь, завел, псковской гиппопотам...»
Замолчал. А в караульной святцы
Стал доить ефрейтор по складам.

Спать? От сна распухло переносье...
Мураши в коленях и в спине...
О, зачем я не носил волосьев
По казенной форменной длине!

Время стало. В ноздри бьет опойкой...
Воздух сперт, как в чреве у кита!
Крыса точит дерево под койкой.
Для чего я обращен в скота?

Во дворе березки и прохлада.
В горле ходит жесткое бревно...

Осенній день.

I.

Какая кротость умиранья!
На грядках иней, словно пух.
В саду цвѣтное увяданье
И павших листьев прѣлый дух.

Рѣка клубится сѣрым паром.
Хрустит промерзшій старый плот..
Далеким радостным пожаром
Зардѣлись клены у болот.

Зардѣвшій дуб среди площадки.
Скрутились листья, темен ствол.
Под ним столпились в безпорядкѣ
Скамейки голыя и стол.

Ель в небѣ легче кипариса.
Всѣм осень — ей зеленый взлет...
На алых зернах барбариса
Морозно-матовый налет.

Цвѣты поникли на дорожках,
На лепестках комки земли.
В узлах душистаго горошка
Не всѣ бутоны расцвѣли...

В аллеѣ свѣжій вѣтер пляшет:
То гнет березы, как рабов,
То, утомясь, веревкой машет
У гимнастических столбов.

В вершинах робкій шепот зова
И безпокойный смутный бѣг.
Как странно будет видѣть снова
Пушистый бѣлый-бѣлый снѣг...

II.

Всплески весел и скрипы уключин —
Еле слышные, жалкіе скрипы.
Под кустами ряд черных излучин
Заткан желтыми листьями липы.

Сколько листьев... Под выгнутой ивой,
Как лимонно-румяныя пятна
Стынут в лонѣ воды сиротливой.
Небо сѣро, и даль непонятна.

«Эй, Бурлюк! Веди скорее... Надо!»
Эту хитрость я постиг давно.

Скрип задвижки. Контрабасный ропот:
«Не успел прийтить, опять веди!»
Лязг ружья. Слоноподобный топот
И сочувственно-угрюмое: «Иди!»

<1911>

НОВАЯ ИГРА

Чахлый классный надзиратель
Репетирует ребят:
«Бабкин, черт, стоишь как дятел!
Грудь вперед, живот назад...
Смирно! Смирррна!! Не сморкайся,
Индюки, ослиный фарш!
Ряды вздвой! Не на-кло-няйся.
Бег на месте. Бегом... аррш!!
Спасский, пояса не щупай!
Кто на правом фланге ржет?
За-пи-шу! В строю как трупы, —
Морду выше, гррудь вперред!
Ать-два, ать-два, ать-два... Лише!
Заморился... Ать-два, ать!
Сундуков — коленки выше,
Бабкин — задом не вилять!
Не пыхтеть, дыши ровнее,
Опускайся на носки,
Локти к телу, прямо шеи...
Не сбивайся там с доски!
Ать-два, ать... Набей мозоли!
Что?! Устал? Не приставай...
Молодчаги! Грянем, что ли...
Запевало, запевай!»

— «Три деревни, два села,
Восемь девок, один я,
Куды де-эвки, туды я!»

<1910>

ПРАЗДНИК

Гиацинты ярки, гиацинты пряны.
В ласковой лампаде нежный изумруд.
Тишина. Бокалы, рюмки и стаканы
Стерегут бутылки и гирлянды блюд.

Бледный поросенок, словно труп ребенка,
Кротко ждет гостей, с петрушкою во рту.
Жареный гусак уткнулся в поросенка
Парою обрубков и грозит посту.

Крашеные яйца, смазанные лаком,
И на них узором — буквы Х и В.
Царственный индюк румян и томно-лаком,
Розовый редис купается в траве.

Бабы и сыры навалены возами,
В водочных графинах спит шальной угар,
Окорок исходит жирными слезами,
Радостный портвейн играет, как пожар.

Снова кавалеры, наливая водку,
Будут целовать чужих супруг взасос
И, глотая яйца, пасху и селедку,
Вежливо мычать и осаждать поднос.

Будут выбирать неспешно и любовно,
Чем бы понежней набить пустой живот,
Сочно хохотать и с масок полнокровных
Отирать батистом добродушный пот.

Локоны и фраки, плеши и проборы
Будут наклоняться, мокнуть и блестеть,
Наливать мадеру, раздвигать приборы,
Тихо шелестеть и чинно соловеть.

После разберут, играя селезенкой,
Выставки, награды, жизнь и красоту...
Бледный поросенок, словно труп ребенка,
Кротко ждет гостей, с петрушкою во рту.

<1910>

РОЖДЕНИЕ ФУТУРИЗМА

Художник в парусиновых штанах,
Однажды сев случайно на палитру,
Вскочил и заметался впопыхах:
«Где скипидар?! Давай — скорее вытру!»

Но, рассмотревши радужный каскад,
Он в трансе творческой интуитивной дрожи
Из парусины вырезал квадрат
И... учредил салон «Ослиной кожи».

<1912>

* * *

Если при столкновении книги с головой раздастся пустой звук, — то всегда ли виновата книга?

Георг Лихтенберг

Книжный клоп, давясь от злобы,
Раз устроил мне скандал:
«Ненавидеть — очень скверно!
Кто не любит — тот шакал!
Я тебя не утверждаю!
Ты ничтожный моветон!
Со страниц литературы
Убирайся к черту вон!»

Пеплом голову посыпав,
Побледнел я, как яйцо,
Проглотил семь ложек брому
И закрыл плащом лицо.
Честь и слава — всё погибло!
Волчий паспорт навсегда...
Ах, зачем я был злодеем
Без любви и без стыда!

Но в окно впорхнула Муза
И шепнула: «Лазарь, встань!

Прокурор твой слеп и жалок,
Как протухшая тарань...
Кто не глух, тот сам расслышит,
Сам расслышит вновь и вновь,
Что под ненавистью дышит
Оскорбленная любовь».

<1922>

ТРАГЕДИЯ

Я пришел к художнику Миноге —
Он лежал на низенькой тахте
И, задравши вверх босые ноги,
Что-то мазал кистью на холсте.

Испугавшись, я спросил смущенно:
«Что с тобой, maestro[1]? Болен? Пьян?»
Но Минога гаркнул раздраженно,
Гениально сплюнув на диван:

«Обыватель с заячьей душою!
Я открыл в искусстве новый путь, —
Я теперь пишу босой ногою...
Всё, что было, — пошлость, ложь и муть.

Футуризм стал ясен всем прохожим.
Дальше было некуда леветь...
Я нашел!» — И он, привстав над ложем,
Ногу с кистью опустил, как плеть.

Подстеливши на пол покрывало,
Я колено робко преклонил
И, косясь на лоб микрокефала,
Умиленным шепотом спросил:

«О Минога, друг мой, неужели? —
Я себя ударил гулко в грудь. —

---

[1] Маэстро, учитель (итал.). — *Ред.*

Но, увы, чрез две иль три недели
Не состарится ль опять твой новый путь?»

И Минога тоном погребальным
Пробурчал, вздыхая как медведь:
«Н-да-с... Извольте быть тут гениальным...
Как же, к черту, дальше мне леветь?!»

<1922>

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕТРАРКА

Говорите ль вы о Шелли иль о ценах на дрова,
У меня, как в карусели, томно никнет голова,
И под смокингом налево жжет такой глухой тоской,
Словно вы мне сжали сердце теплой матовой рукой...

Я застенчив, как мимоза, осторожен, как газель,
И намека, в скромной позе, жду уж целых пять
недель.
Ошибиться так нетрудно — черт вас, женщин, разберет.
И глаза невольно тухнут, стынут пальцы, вянет рот.

Но влачится час за часом, мутный голод всё острей, —
Так сто лет еще без мяса настоишься у дверей.
Я нашел такое средство — больше ждать я не хочу:
Нынче в семь, звеня браслетом, эти строки вам вручу...

Ваши пальцы будут эхом, если вздрогнут, и листок
Забелеет в рысьем мехе у упругих ваших ног, —
Я богат, как двадцать Крезов, я блажен, как царь
Давид,
Я прощу всем рецензентам сорок тысяч их обид!

Если ж с миною кассирши вы решитесь молча встать
И вернете эти вирши с равнодушным баллом «5»,
Я шутил! Шутил — и только, отвергаю сладкий плен...
Ведь фантазия поэта — как испанский гобелен.

Пафос мой мгновенно скиснет, а стихи... пошлю
в журнал,
Где наборщик их оттиснет под статьею «Наш развал»,
Почтальон через неделю принесет мне гонорар,
И напьюсь я, как под праздник напивается швейцар!..

<1922>

* * *

Безглазые глаза надменных дураков,
Куриный кодекс модных предрассудков,
Рычание озлобленных ублюдков
И наглый лязг очередных оков...
А рядом, словно окна в синий мир,
Сверкают факелы безумного Искусства:
Сияет правда, пламенеет чувство,
И мысль справляет утонченный пир.

Любой пигмей, слепой, бескрылый крот,
Вползает к Аполлону, как в пивную, —
Нагнет, икая, голову тупую
И сладостный нектар как пиво пьет.
Изучен Дант до неоконченной строфы,
Кишат концерты толпами прохожих,
Бездарно и безрадостно похожих,
Как несгораемые тусклые шкафы...

Вы, гении, живущие в веках,
Чьи имена наборщик знает каждый,
Заложники бессмертной вечной жажды,
Скопившие всю боль в своих сердцах!
Вы все — единой донкихотской расы,
И ваши дерзкие, святые голоса
Всё так же тщетно рвутся в небеса,
И вновь, как встарь, вам рукоплещут
папуасы...

<1922>

РУССКОЕ

«Руси есть *веселие* пити».

Не умеют пить в России!
Спиртом что-то разбудив,
Тянут сиплые витии
Патетический мотив
О наследственности шведа,
О началах естества,
О бездарности соседа
И о целях божества.
Пальцы тискают селедку...
Водка капает с усов,
И сосед соседям кротко
Отпускает «подлецов».
Те дают ему по морде
(Так как лиц у пьяных нет),
И летят в одном аккорде
Люди, рюмки и обед.
Благородные лакеи
(Помесь фрака с мужиком)
Молча гнут хребты и шеи,
Издеваясь шепотком...
Под столом гудят рыданья,
Кто-то пьет чужой ликер.
Примиренные лобзанья,
Брудершафты, спор и вздор...
Анекдоты, словоблудье,
Злая грязь циничных слов...
Кто-то плачет о безлюдье,
Кто-то врет: «Люблю жидов!»
Откровенность гнойным бредом
Густо хлещет из души...
Людоеды ль за обедом
Или просто апаши?
Где хмельная мощь момента?
В головах угарный шиш,
Сутенера от доцента
В этот миг не отличишь!

Не умеют пить в России!..
Под прибой пустых минут,

Как взлохмаченные Вии,
Одиночки молча пьют.
Усмехаясь, вызывают
Все легенды прошлых лет
И, глумясь, их растлевают,
Словно тешась словом: «Нет!»
В перехваченную глотку,
Содрогаясь и давясь,
Льют безрадостную водку
И надежды топчут в грязь.
Сатанеют равнодушно,
Разговаривают с псом,
А в душе пестро и скучно
Черти ходят колесом.
Цель одна: скорей напиться...
Чтоб смотреть угрюмо в пол
И, качаясь, колотиться
Головой о мокрый стол...

Не умеют пить в России!
Ну а как же надо пить?
Ах, взлохмаченные Вии...
Так же точно — как любить!

<1911>

В ДЕТСКОЙ

«Сережа! Я прочел в папашином труде,
Что плавает земля в воде,
Как клецка в миске супа...
Так в древности учил мудрец Фалес Милетский...»

— «И глупо! —
Уверенно в ответ раздался голос детский. —
Ученостью своей, Павлушка, не диви,
Не смыслит твой Фалес, как видно, ни бельмеса,
Мой дядя говорил — а он умней Фалеса, —
Что плавает земля... семь тысяч лет в крови!»

<1908>

БОРЬБА

Сползаются тучи.
Всё острее мечта о заре...
А они повторяют: «Чем хуже, тем лучше» —
И идут... в кабаре.

<1913>

БЕССМЕННЫЙ

Мой грозный шаг звенит в веках,
Мое копье всегда готово,
В моих железных кулаках
Спит сила в холоде суровом.

Я с каждым годом всё расту
На океанах и на суше,
Железным льдом сковал мечту
И мощью тела проклял души.

Не раз под ратный барабан
Я шел на окрик воеводин
Громить соседей-христиан
И воевать за гроб господень...

Мне всё равно — Нерон иль Кир,
И кто враги — свои иль мавры...
Я исшагал весь божий мир
И, сея ужас, бил в литавры.

Сильнее правды и идей,
Мое копье — всему развязка.
Стою бессменный средь людей,
А Вечный Мир далек, как сказка...

Мой грозный шаг звенит в веках...
В лицо земли вонзил я шпоры!
В моих железных кулаках —
Все духи ящика Пандоры.

<1910>

* * *

Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.

(Книга притч Соломоновых, гл. 15—17)

Пред каждым дураком душа пылает гневом.
Вот он — чудовище, владыка бытия!
Проклятый граммофон с затасканным напевом,
Безглазый судия...

В любой квартире, развалясь беспечно,
Он в сердце истины вбивает грубый кол —
И вежливо в ответ мычишь: «Да-да, конечно...»
А в горле вопль: «Осел!»

В искусстве — прокурор, всё смял он, кроме моды;
В быту — надменный крот, обрел все «нет» и «да»,
И, словно саранча, зудит в садах природы
Бессчетные года!

Рак человечества, вовек неизлечимый, —
Лишь он блажен в житейском кабаре.
Стучится в дверь. Кипишь, непримиримый, —
И говоришь: «Entrez!» [1]

<1922>

АНЕМОНЫ

Сорвавши белые перчатки
И корчась в гуще жития,
Упорно правлю опечатки
В безумной книге бытия.

Увы, их с каждой мыслью больше:
Их так же трудно сосчитать,
Как блох в конце июля в Польше —
Поймал одну, а рядом пять...

[1] «Войдите!» (франц.). — *Ред.*

Но всех больней одна кусает:
Весь смрадный мусор низких сил
Себя вовеки не узнает
Ни здесь, ни в прочном сне могил!

Всю жизнь насилуя природу
И запятнав неправдой мир,
Они, тучнея год от году,
Как боги кончат злой свой пир...

И, как лесные анемоны,
С невинным вздохом отойдут...
Вот мысль страшней лица Горгоны!
Вот вечной мести вечный спрут!

<1913>

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Адам молчал сурово, зло и гордо,
Спеша из рая бледный как стена;
Передник кожаный зажав в руке нетвердой,
По-детски плакала дрожащая жена...

За ними шло волнующейся лентой
Бесчисленное пестрое зверье:
Резвились юные, не чувствуя момента,
И нехотя плелось угрюмое старье.
Дородный бык мычал в недоуменьи:
«Ярмо... Труд в поте морды... О Эдем!
Я яблок ведь не ел от сотворенья,
И глупых фруктов я вообще не ем»...
Толстяк-баран дрожал, тихонько блея:
«Пойдет мой род на жертвы и в очаг!
А мы щипали мох на триста верст от змея,
И сладкой кротостью дышал наш каждый шаг»...
Ржал вольный конь, страшась неволи вьючной,
Тоскливо мекала смиренная коза,
Рыдали раки горько и беззвучно,
И зайцы терли лапами глаза.
Но громче всех в тоске визжала кошка:
«За что должна я в муках чад рожать?»

А крот вздыхал: «Ты маленькая сошка,
Твое ли, друг мой, дело рассуждать?..»
Лишь обезьяны весело кричали,
Почти все яблоки пожрав уже в раю,
Бродяги верили, что будут без печали
Они их рвать — теперь в ином краю.
И хищники отчасти были рады:
Трава в раю была не по зубам!
Пусть впереди облавы и засады,
Но кровь и мясо, кровь и мясо там!

Адам молчал сурово, зло и гордо,
По-детски плакала дрожащая жена.
Зверье тревожно подымало морды.
Лил серый дождь, и даль была черна.

<1910>

НАСТРОЕНИЕ

«Sing, Seele, sing...»
Dehmel[1]

Ли-ли! В ушах поют весь день
Восторженные скрипки.
Веселый бес больную лень
Укачивает в зыбке.

Подняв уютный воротник
И буйный сдерживая крик,
По улицам шатаюсь
И дерзко ухмыляюсь.

Ли-ли! Мне скучно взрослым быть
Всю жизнь до самой смерти
И что-то нудное пилить
В общественном концерте.

Удрал куда-то дирижер,
Оркестр несет нестройный вздор.
Я ноты взял под мышку
И покидаю вышку...

---

[1] «Пой, душа, пой...» *Демель* (нем.). — *Ред.*

Ли-ли! Пусть жизнь черна, как кокс,
    Но смерть еще чернее!
Трепещет радость-парадокс,
    Как губы Гименея...

Задорный бес толкает в бок:
Зайди в игрушечный ларек,
    Купи себе пастушку,
    Свистульку, дом и пушку...

Ли-ли! Фонарь!.. Имею честь —
    Пройдись со мной в кадрили...
Увы! Фитиль и лампа есть,
    А масло утащили.

Что делать с радостью моей
Среди кладбищенских огней?..
    Как месть, она воскресла
    И бьет, ликуя, в чресла!

Ли-ли! Вот рыженький студент
    С серьезным выраженьем;
Позвольте, будущий доцент,
    Позвать вас на рожденье!

Мы будем басом петь «Кармен»,
Есть мед, изюм и суп-жюльен,
    Пьянясь холодным пивом
    В неведеньи счастливом...

Ли-ли! Боишься? Черт с тобой,
    Проклятый рыжий штопор!
Растет несдержанный прибой,
    Хохочет радость в рупор:

Ха-ха! Как скучно взрослым быть,
По скучным улицам бродить,
    Смотреть на скучных братьев
    И скуке мстить проклятьем!

<1910>

НА РАССТОЯНИИ

Друзья и родственники холодно молчат,
И девушки любимые не пишут...
Печальна жизнь покинутых галчат,
Которых ветер бросил через крышу;
Еще печальнее нести из poste-restante [1]
В глазах усмешку, в сердце ураган.

Почтовый франт сквозь дырочку в окне
Косится на тебя с немым презреньем:
Как низко нужно пасть в своей стране,
Чтоб заслужить подобное забвенье!
За целый месяц только carte postale: [2]
Внизу «поклон», а сверху — этуаль.

Противны горы, пальмы и маяк!
На языке вкус извести и серы.
Ужель все девушки вступили скопом в брак,
А все друзья погибли от холеры?!
Иль, может быть, пронесся дикий слух,
Что я ограбил двух слепых старух?

Всё может быть... У нас ведь всяким вракам
На расстояньи верят так легко.
Уехал — значит, шулер и собака...
Поди доказывай, когда ты далеко!
А девушки любимые клюют
Всё то, что под рукою, рядом, тут...

Особенно одно смешно и кисло знать:
Когда вернешься, — вновь при свете лампы
Друзья сойдутся и начнут ругать
И наш и заграничные почтамты, —
Окажется, что зверски все писали,
Но только письма, как всегда... пропали.

1910
Santa Margherita

---

[1] Почта до востребования (франц.). — *Ред.*
[2] Почтовая открытка (франц.). — *Ред.*

БОЛЬНОМУ

Есть горячее солнце, наивные дети,
Драгоценная радость мелодий и книг.
Если нет — то ведь были, ведь были на свете
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ...

Есть незримое творчество в каждом мгновеньи —
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь творцом! Созидай золотые мгновенья —
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз...

Бесконечно позорно в припадке печали
Добровольно исчезнуть, как тень на стекле.
Разве Новые Встречи уже отсияли?
Разве только собаки живут на земле?

Если сам я угрюм, как голландская сажа
(Улыбнись, улыбнись на сравненье мое!),
Это черный румянец — налет от дренажа,
Это Муза меня подняла на копье.

Подожди! Я сживусь со своим новосельем —
Как весенний скворец запою на копье!
Оглушу твои уши цыганским весельем!
Дай лишь срок разобраться в проклятом тряпье.

Оставайся! Так мало здесь чутких и честных...
Оставайся! Лишь в них оправданье земли.
Адресов я не знаю — ищи неизвестных,
Как и ты неподвижно лежащих в пыли.

Если лучшие будут бросаться в пролеты,
Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц!
Полюби безотчетную радость полета...
Разверни свою душу до полных границ.

Будь женой или мужем, сестрой или братом,
Акушеркой, художником, нянькой, врачом,
Отдавай — и, дрожа, не тянись за возвратом:
Все сердца открываются этим ключом.

Есть еще острова одиночества мысли —
Будь умен и не бойся на них отдыхать.
Там обрывы над темной водою нависли —
Можешь думать... и камешки в воду бросать...

А вопросы... Вопросы не знают ответа —
Налетят, разожгут и умчатся, как корь.
Соломон нам оставил два мудрых совета:
Убегай от тоски и с глупцами не спорь.

<1910>

ПРИЗНАНИЕ

Какая радость — в бешенстве холодном
Метать в ничтожных греческий огонь
И обонять в азарте благородном
Горящих шкур дымящуюся вонь!

Но гарь от шкур и собственного сала
Ничтожных радует, как крепкий вкусный грог:
«В седьмой строке лишь рифма захромала,
А в двадцать третью втерся лишний слог...»

Цветам земли — невиннейшим и кротким —
Больней всего от этого огня...
Еще тесней встают перегородки,
Еще тусклей печальный трепет дня.

От этой мысли, черной и косматой,
Душа кричит, как пес под колесом!
Кричи, кричи!.. Ты так же виновата,
Как градовая туча над овсом...

<1910>

* * *

Любовь должна быть счастливой —
Это право любви.
Любовь должна быть красивой —
Это мудрость любви.
Где ты видел такую любовь?
У господ писарей генерального штаба?
На эстраде, где бритый тенóр,
Прижимая к манишке перчатку,
Взбивает сладкие сливки
Из любви, соловья и луны?
В лирических строчках поэтов,
Где любовь рифмуется с кровью
И почти всегда голодна?..

К ногам Прекрасной Любви
Кладу этот жалкий венок из полыни,
Которая сорвана мной в ее опустелых садах...

<1913>

ТАК СЕБЕ

Тридцать верст отшагав по квартире,
От усталости плечи горбя,
Бледный взрослый увидел себя
Бесконечно затерянным в мире.
　　Перебрал всех знакомых, вздохнул
　　И поплелся, покорный как мул.

На углу покачался на месте
И нырнул в темный ящик двора.
Там жила та, с которою вместе
Он не раз убивал вечера.
Даже дружба меж ними была —
Так знакомая близко жила.

Он застал ее снова не в духе.
Свесив ноги, брезгливо-скучна,
И крутя зубочисткою в ухе,
В оттоманку вдавилась она.
И белели сквозь дымку зефира
Складки томно-ленивого жира.

Мировые проблемы решая,
Заскулил он, шагая пред ней,
А она потянулась, зевая,
Так что бок обтянулся сильней,
И, хребет выгибая дугой,
По ковру застучала ногой.

Сел. На плотные ноги сурово
Покосился и гордо затих.
Сколько раз он давал себе слово
Не решать с ней проблем мировых!
Отмахнул горьких дум вереницу
И взглянул на ее поясницу.

Засмотрелся с тупым любопытством,
Поперхнулся и жадно вздохнул,
Вдруг зарделся и с буйным бесстыдством
Всю ее, как дикарь, оглянул...
В сердце вгрызлись голодные волки,
По спине заплясали иголки.

Обернулась, зевая, сирена
И невольно открыла зрачки:
Любопытство и дерзость мгновенно
Сплин и волю схватили в тиски.
В сердце грызлись голодные щуки,
И призывно раскинулись руки...

. . . .

Воротник поправляя измятый,
Содрогаясь, печален и тих,
В дверь, потупясь, шмыгнул воровато
Разрешитель проблем мировых.
    На диване, брезгливо-скучна,
    В потолок засмотрелась она.

<1913>

АМУР И ПСИХЕЯ

Пришла блондинка-девушка в военный лазарет,
Спросила у привратника: «Где здесь Петров, корнет?»

Взбежал солдат по лестнице, оправивши шинель:
«Их благородье требует какая-то мамзель».

Корнет уводит девушку в пустынный коридор;
Не видя глаз, на грудь ее уставился в упор.

Краснея, гладит девушка смешной его халат,
Зловонье, гам и шарканье несется из палат.

«Прошел ли скверный кашель твой? Гуляешь или нет?
Я, видишь, принесла тебе малиновый шербет...»

— «Merci.[1] Пустяк, покашляю недельки три еще».
И больно щиплет девушку за нежное плечо.

Невольно отодвинулась и, словно в первый раз,
Глядит до боли ласково в зрачки красивых глаз.

Корнет свистит и сердится. И скучно, и смешно!
По коридору шляются — и не совсем темно...

Сказал блондинке-девушке, что ужинать пора,
И проводил смущенную в молчаньи до двора...

В палате венерической бушует зычный смех,
Корнет с шербетом носится и оделяет всех.

---

[1] Благодарю (франц.). — *Ред.*

Друзья по койкам хлопают корнета по плечу,
Смеясь, грозят, что завтра же расскажут всё врачу.

Растут предположения, растет басистый вой,
И гордо в подтверждение кивнул он головой...

Идет блондинка-девушка вдоль лазаретных ив,
Из глаз лучится преданность, и вера, и порыв.

Несет блондинка-девушка в свой дом свой первый сон:
В груди зарю желания, в ушах победный звон.

<1910>

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

1

Окруженный кучей бланков,
Пожилой конторщик Банков
Мрачно курит и косится
На соседний страшный стол.

На занятиях вечерних
Он вчера к девице Керних,
Как всегда, пошел за справкой
О варшавских накладных

И, склонясь к ее затылку,
Неожиданно и пылко
Под лихие завитушки
Вдруг ее поцеловал.

Комбинируя событья,
Дева Керних с вялой прытью
Кое-как облобызала
Галстук, баки и усы.

Не нашелся бедный Банков,
Отошел к охапкам бланков
И, куря, сводил балансы
До ухода, как немой.

2

Ах, вчера не сладко было!
Но сегодня как могила
Мрачен Банков и косится
На соседний страшный стол.

Но спокойна дева Керних:
На занятиях вечерних
Под лихие завитушки
Не ее ль он целовал?

Подошла как по наитью
И, муссируя событье,
Села рядом и солидно
Зашептала не спеша:

«Мой оклад полсотни в месяц,
Ваш оклад полсотни в месяц, —
На сто в месяц в Петербурге
Можно очень мило жить.

Наградные и прибавки,
Я считаю, на булавки,
На Народный дом и пиво,
На прислугу и табак».

Улыбнулся мрачный Банков —
На одном из старых бланков
Быстро свел бюджет их общий
И невесту ущипнул.

Так Петр Банков с Кларой Керних
На занятиях вечерних,
Экономией прельстившись,
Обручились в добрый час.

3

Проползло четыре года.
Три у Банковых урода
Родилось за это время
Неизвестно для чего.

Недоношенный четвертый
Стал добычею аборта,
Так как муж прибавки новой
К Рождеству не получил.

Время шло. В углу гостиной
Завелось уже пьянино
И в большом недоуменьи
Мирно спало под ключом.

На стенах висел сам Банков,
Достоевский и испанка.
Две искусственные пальмы
Скучно сохли по углам.

Сотни лиц различной масти
Называли это счастьем...
Сотни с завистью открытой
Повторяли это вслух!

Это ново? Так же ново,
Как фамилия Попова,
Как холера и проказа,
Как чума и плач детей.

Для чего же повесть эту
Рассказал ты снова свету?
Оттого лишь, что на свете
Нет страшнее ничего...

<1913>

НАКОНЕЦ!

В городской суматохе
Встретились двое.
Надоели обои,
Неуклюжие споры с собою
И бесплодные вздохи
О том, что случилось когда-то...

В час заката,
Весной в зеленеющем сквере,
Как безгрешные звери,

Забыв осторожность, тоску и потери,
Потянулись друг к другу легко,
безотчетно и чисто.

Не речисты
Были их встречи и кротки.
Целомудренно-чутко молчали,
Не веря и веря находке,
Смотрели друг другу в глаза,
Друг на друга надели растоптанный
старый венец.

И, не веря и веря, шептали:
«Наконец!»
Две недели тянулся роман.
Конечно, они целовались.
Конечно, он, как болван,
Носил ей какие-то книги —
Пудами.
Конечно, прекрасные миги
Казались годами,
А старые скверные годы куда-то ушли.
Потом
Она укатила в деревню, в родительский дом,
А он в переулке своем
На лето остался.

Странички первого письма
Прочел он тридцать раз.
В них были целые тома
Нестройных жарких фраз...
Чтó сладость лучшего вина,
Когда оно не здесь?
Но он глотал, пьянел до дна
И отдавался весь.
Низал в письме из разных мест
Алмазы нежных слов
И набросал в один присест
Четырнадцать листков.

Ее второе письмо было гораздо короче.
И были в нем повторения, стиль и вода,

Но он читал, с трудом вспоминал ее очи
И, себя утешая, шептал: «Не беда, не беда!»
Послал «ответ», в котором невольно и вольно
Причесал свои настроенья и тонко подвил,
Писал два часа и вздохнул легко и довольно,
Когда он в ящик письмо опустил.

На двух страничках третьего письма
Чужая женщина описывала вяло:
Жару, купанье, дождь, болезнь мама́,
И всё это «на ты», как и сначала...
В ее уме с досадой усумнясь,
Но в смутной жажде их осенней встречи,
Он отвечал ей глухо и томясь,
Скрывая злость и истину калеча.
Четвертое письмо не приходило долго.
И наконец пришла «с приветом» carte postale,[1]
Написанная лишь из чувства долга...
Он не ответил. Кончено? Едва ль...

Не любя, он осенью, волнуясь,
В адресном столе томился много раз,
Прибегал, невольно повинуясь
Зову позабытых, темно-серых глаз...
Прибегал, чтоб снова суррогатом рая
Напоить тупую скуку, стыд и боль,
Горечь лета кое-как прощая
И опять входя в былую роль.
День, когда ему на бланке написали,
Где она живет, был трудный, нудный день:
Чистил зубы, ногти, а в душе кричали
Любопытство, радость и глухой подъем...
В семь он, задыхаясь, постучался в двери
И вошел шатаясь, не любя и злясь,
А она стояла, прислонясь к портьере,
И ждала не веря, и звала смеясь.
Через пять минут безумно целовались,
Снова засиял растоптанный венец,
И глаза невольно закрывались,
Прочитав в других немое: «Наконец!..»

<1913>

---

[1] Почтовая открытка (франц.). — *Ред.*

ХЛЕБ

(Роман)

Мечтают двое...
Мерцает свечка.
Трещат обои.
Потухла печка.

Молчат и ходят...
Снег бьет в окошко,
Часы выводят
Свою дорожку.

«Как жизнь прекрасна
С тобой в союзе!» —
Рычит он страстно,
Копаясь в блузе.

«Прекрасней рая...»
Она взглянула
На стол без чая,
На дырки стула.

Ложатся двое...
Танцуют зубы.
Трещат обои,
И воют трубы.

Вдруг в двери третий
Ворвался с плясом —
Принес в пакете
Вино и мясо:

«Вставайте, черти!
У подворотни
Нашел в конверте
Четыре сотни!!»

Ликуют трое.
Жуют, смеются.
Трещат обои,
И тени вьются...

Прощаясь, третий
Так осторожно
Шепнул ей: «Кэти!
Теперь ведь можно?»

Ушел. В смущеньи
Она метнулась,
Скользнула в сени
И не вернулась...

Улегся сытый.
Зевнул блаженно
И как убитый
Заснул мгновенно.

<1910>

ОШИБКА

Это было в провинции, в страшной глуши.
Я имел для души
Дантистку с телом белее известки и мела,
А для тела —
Модистку с удивительно нежной душой.

Десять лет пролетело.
Теперь я большой...
Так мне горько и стыдно
И жестоко обидно:
Ах, зачем прозевал я в дантистке
Прекрасное тело,
А в модистке
Удивительно нежную душу!
Так всегда:
Десять лет надо скучно прожить,
Чтоб понять иногда,
Что водой можно жажду свою утолить,
А прекрасные розы — для носа.

О, я продал бы книги свои и жилет
(Весною они не нужны)

И под свежим дыханьем весны
Купил бы билет
И поехал в провинцию, в страшную глушь...
Но, увы!
Ехидный рассудок уверенно каркает: «Чушь!
Не спеши —
У дантистки твоей,
У модистки твоей
Нет ни тела уже, ни души».

<1910>

ФАКТ

У фрау Шмидт отравилась дочь,
Восемнадцатилетняя Минна.
Конечно, мертвым уже не помочь,
Но весьма интересна причина.

В местечке редко кончали с собой, —
Отчего же она отравилась?
И сплетня гремит иерихонской трубой:
«Оттого, что чести лишилась!»

«Сын аптекаря Курца, боннский студент,
Жрец Амура, вина и бесчинства,
Уехал, оставивши Минне в презент
Позорный залог материнства».

«Кто их не видал в окрестных горах,
Гуляющих нежно под ручку?
Да, с фрейлейн Шмидт студент-вертопрах
Сыграл нехорошую штучку!..»

В полчаса облетел этот скверный слух
Всё местечко от банка до рынка,
И через каких-то почтенных старух
К фрау Шмидт долетела новинка.

Но труп еще не был предан земле, —
Фрау Шмидт, надевши все кольца,
С густым благородством на вдовьем челе,
Пошла к герр-доктору Штольцу.

Герр-доктор штольц приехал к ней в дом,
Осмотрел холодную Минну
И дал фрау Шмидт свидетельство в том,
Что Минна была невинна.

<1911>

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(Для мужского голоса)

Мать уехала в Париж...
И не надо! Спи, мой чиж.
А-а-а! Молчи, мой сын,
Нет последствий без причин.
Черный, гладкий таракан
Важно лезет под ди-ван,
От него жена в Париж
Не сбежит, о нет! шалишь!
С нами скучно. Мать права.
Новый гладок, как Бова,
Новый гладок и богат,
С ним не скучно... Так-то, брат!
А-а-а! Огонь горит,
Добрый снег окно пушит.
Спи, мой кролик, а-а-а!
Всё на свете трын-трава...
Жили-были два крота,
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж, —
Мать уехала в Париж.
Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза...
Жили козлик и коза...
Кот козу увез в Париж...
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через... год... вернется... мать...
Сына нового рожать...

<1910>

«ДУРАК»

Под липой пение ос.
Юная мать, пышная мать
В короне из желтых волос,
С глазами святой,
Пришла в тени почитать —
Но книжка в крапиве густой...

Трехлетняя дочь
Упрямо
Тянет чужого верзилу: «Прочь!
Не смей целовать мою маму!»
Семиклассник не слышит,
Прилип, как полип,
Тонет, трясется и пышет.
В смущеньи и гневе
Мать наклонилась за книжкой:
«Мальчишка!
При Еве!»
Встала, поправила складку
И дочке дала шоколадку.

Сладостен первый капкан!
Три блаженных недели,
Скрывая от всех, как артист,
Носил гимназист в проснувшемся теле
Эдем и вулкан.
Не веря губам и зубам,
До боли счастливый,
Впивался при лунном разливе
В полные губы...
Гигантские трубы,
Ликуя, звенели в висках,
Сердце в горячих тисках,
Толкаясь о складки тужурки,
Играло с хозяином в жмурки, —
Но ясно и чисто
Горели глаза гимназиста.

Вот и развязка:
Юная мать, пышная мать

Садится с дочкой в коляску —
Уезжает к какому-то мужу.
Склонилась мучительно-близко,
В глазах улыбка и стужа,
Из ладони белеет наружу —
Записка!

Под крышей, пластом,
Семиклассник лежит на диване
Вниз животом.
В тумане,
Пунцовый как мак,
Читает в шестнадцатый раз
Одинокое слово: «Дурак!»
И искры сверкают из глаз
Решительно, гордо и грозно.
Но поздно...

<1913>

ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА

(Повесть)

Арон Фарфурник застукал наследницу дочку
С голодранцем студентом Эпштейном:
Они целовались! Под сливой у старых качелей.
Арон, выгоняя Эпштейна, измял ему страшно сорочку,
Дочку запер в кладовку и долго сопел над бассейном,
Где плавали красные рыбки. «Несчастный капцан!»[1]

Что было! Эпштейна чуть-чуть не съели собаки,
Madame иссморкала от горя четыре платка,
А бурный Фарфурник разбил фамильный поднос.
Наутро очнулся. Разгладил бобровые баки,
Сел с женой на диван, втиснул руки в бока
И позвал от слез опухшую дочку.

Пилили, пилили, пилили, но дочка стояла как идол,
Смотрела в окно и скрипела, как злой попугай:

---

[1] Нищий.

«Хочу за Эпштейна». — «Молчать!!!» — «Хо-чу
за Эпштейна».
Фарфурник подумал... вздохнул. Ни словом решенья
не выдал,
Послал куда-то прислугу, а сам, как бугай,
Уставился тяжко в ковер. Дочку заперли в спальне.

Эпштейн-голодранец откликнулся быстро на зов:
Пришел, негодяй, закурил и расселся как дома.
Madame огорченно сморкается в пятый платок.
Ой, сколько она наплела удручающих слов:
«Сибирщик! Босяк! Лапацон! Свиная трахома!
Провокатор невиннейшей девушки, чистой как мак!..»

«Ша... — начал Фарфурник. — Скажите, могли бы ли
вы
Купить моей дочке хоть зонтик на ваши несчастные
средства?
Галошу одну могли бы ли вы ей купить?!»
Зажглись в глазах у Эпштейна зловещие львы:
«Купить бы купил, да никто не оставил наследства».
Со стенки папаша Фарфурника строго косится.

«Ага, молодой человек! Но я не нуждаюсь! Пусть так.
Кончайте ваш курс, положите диплом на столе
и венчайтесь —
Я тоже имею в груди не лягушку, а сердце...
Пускай хоть за утку выходит — лишь был бы
счастливый ваш брак.
Но раньше диплома, пусть гром вас убьет,
не встречайтесь,
Иначе я вам сломаю все руки и ноги!»

«Да, да... — сказала madame. — В дворянской бане
во вторник
Уже намекали довольно прозрачно про вас и про
Розу, —
Их счастье, что я из-за пара не видела, кто!»
Эпштейн поклялся, что будет жить как затворник,
Учел про себя Фарфурника злую угрозу
И вышел, взволнованным ухом ловя рыданья
из спальни.

Вечером, вечером сторож бил
В колотушку что есть силы!
Как шакал Эпштейн бродил
Под окошком Розы милой.
Лампа погасла, всхлипнуло окошко,
В раме — белое, нежное пятно.
Полез Эпштейн — любовь не картошка:
Гоните в дверь, ворвется в окно.

Заперли, заперли крепко двери,
Задвинули шкафом, чтоб было верней.
Эпштейн наклонился к Фарфурника дщери
И мучит губы больней и больней...

Ждать ли, ждать ли три года диплома?
Роза цветет — Эпштейн не дурак:
Соперник Поплавский имеет три дома
И тоже питает надежду на брак...

За дверью Фарфурник, уткнувшись в подушку,
Храпит баритоном, жена — дискантóм.
Раскатисто сторож бубнит в колотушку,
И ночь неслышно обходит дом.

<1910>

В БАШКИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ

За тяжелым гусем старшим
Вперевалку, тихим маршем
Гуси шли, как полк солдат.

Овцы густо напылили,
И сквозь клубы серой пыли
Пламенел густой закат.

А за овцами коровы,
Тучногруды и суровы,
Шли, мыча, плечо с плечом.

На веселой лошаденке
Башкиренок щелкал звонко
Здоровеннейшим бичом.

Козы мекали трусливо
И щипали торопливо
Свежий ивовый плетень.

У плетня на старой балке
Восемь штук сидят, как галки, —
Исхудалые, как тень.

Восемь штук туберкулезных,
Совершенно не серьезных,
Ржут, друг друга тормоша.

И башкир, хозяин старый,
На раздольный звон гитары
Шепчет: «Больно караша!»

Вкруг сгрудились башкирята.
Любопытно, как телята,
В городских гостей впились.

В стороне худая дева
С волосами королевы
Удивленно смотрит ввысь.

Перед ней туберкулезный
Жадно тянет дух навозный
И, ликуя, говорит —

О закатно-алой тризне,
О значительности жизни,
Об огне ее ланит.

«Господа, пора ложиться —
Над рекой туман клубится».
— «До свиданья!», «До утра!»

Потонули в переулке
Шум шагов и хохот гулкий...
Вечер канул в вечера.

А в избе у самовара
Та же пламенная пара
Замечталась у окна.

Пахнет йодом, мятой, спиртом,
И, смеясь над бедным флиртом,
В стекла тянется луна.

1909 (?)

ПРЕКРАСНЫЙ ИОСИФ

Томясь, я сидел в уголке,
Опрыскан душистым горошком.
Под белою ночью в тоске
Стыл черный канал за окошком.

Диван, и рояль, и бюро
Мне стали так близки в мгновенье,
Как сердце мое и бедро,
Как руки мои и колени.

Особенно стала близка
Владелица комнаты Алла...
Какие глаза и бока,
И голос... как нежное жало!

Она целовала меня,
И я ее тоже — обратно,
Следя за собой, как змея,
Насколько мне было приятно.

Приятно ли также и ей?
Как долго возможно лобзаться?
И в комнате стало белей,
Пока я успел разобраться.

За стенкою сдержанный бас
Ворчал, что его разбудили.
Фитиль начадил и погас.
Минуты безумно спешили...

На узком диване крутом
(Как тело горело и ныло!)
Шептался я с Аллой о том,
Что будет, что есть и что было.

Имеем ли право любить?
Имеем ли общие цели?
Быть может, случайная прыть
Связала нас на две недели.

Потом я чертил в тишине
По милому бюсту орнамент,
А Алла нагнулась ко мне:
«Большой ли у вас темперамент?»

Я вспыхнул и спрятал глаза
В шуршащие мягкие складки,
Согнулся, как в бурю лоза,
И долго дрожал в лихорадке.

«Страсть — темная яма... За мной
Второй вас захватит и третий...
Притом же от страсти шальной
Нередко рождаются дети.

Сумеем ли их воспитать?
Ведь лишних и так миллионы...
Не знаю, какая вы мать,
Быть может, вы вовсе не склонны?..»

Я долго еще тарахтел,
Но Алла молчала устало.
Потом я бессмысленно ел
Пирог и полтавское сало.

Ел шпроты, редиску и кекс
И думал бессильно и злобно,
Пока не шепнул мне рефлекс,
Что дольше сидеть неудобно.

Прощался... В тоске целовал,
И было всё мало и мало.
Но Алла смотрела в канал
Брезгливо, и гордо, и вяло.

Извозчик попался плохой.
Замучил меня разговором.

Слепой, и немой, и глухой,
Блуждал я растерянным взором

По мертвой и новой Неве,
По мертвым и новым строеньям, —
И было темно в голове,
И в сердце росло сожаленье...

«Извозчик, скорее назад!» —
Сказал, но в испуге жестоком
Я слез и пошел наугад
Под белым молчаньем глубоким.

Горели уже облака...
И солнце уже вылезало.
Как тупо влезало в бока
Смертельно щемящее жало!

<1910>

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Над крышей гудят провода телефона...
Довольно, бессмысленный шум!
Сегодня опять не пришла моя донна,
Другой не завел я — ворона, ворона!
Сижу, одинок и угрюм.

А так соблазнительно в теплые лапки
Уткнуться губами, дрожа,
И слушать, как шелково-мягкие тряпки
Шуршат, словно листьев осенних охапки
Под мягкою рысью ежа.

Одна ли, другая — не всё ли равно ли?
В ладонях утонут зрачки —
Нет Гали, ни Нелли, ни Мили, ни Оли,
Лишь теплые лапки, и ласковость боли,
И сердца глухие толчки...

<1910>

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ

На скамейке в Александровском саду
Котелок склонился к шляпке с какаду:
«Значит, в десять? Меблированные „Русь“...»
Шляпка вздрогнула и пискнула: «Боюсь».
— «Ничего, моя хорошая, не трусь!
Я ведь в случае чего-нибудь женюсь!»
Засерели злые сумерки в саду,
Шляпка вздрогнула и пискнула: «Приду!»
Мимо шлялись пары пресных обезьян,
И почти у каждой пары был роман.
Падал дождь, мелькали сотни грязных ног,
Выл мальчишка со шнурками для сапог.

<1913>

НА НЕВСКОМ НОЧЬЮ

Темно̀ под арками Казанского собора.
Привычной грязью скрыты небеса.
На тротуаре в вялой вспышке спора
Хрипят ночных красавиц голоса.

Спят магазины, стены и ворота.
Чума любви в накрашенных бровях
Напомнила прохожему кого-то,
Давно истлевшего в покинутых краях...

Недолгий торг окончен торопливо —
Вон на извозчике любовная чета:
Он жадно курит, а она гнусит.

Проплыл городовой, зевающий тоскливо,
Проплыл фонарь пустынного моста,
И дева пьяная вдогонку им свистит.

<1913>

У НЕМЦЕВ

«KINDERBALSAM»[1]

Высоко над Гейдельбергом,
В тихом горном пансионе
Я живу, как институтка,
Благородно и легко.

С «Голубым крестом» в союзе
Здесь воюют с алкоголем, —
Я же, ради дешевизны,
Им сочувствую вполне.

Ранним утром три служанки
И хозяин и хозяйка
Мучат господа псалмами
С фисгармонией не в тон.

После пения хозяин
Кормит кроликов умильно,
А по пятницам их режет
Под навесом у стены.

Перед кофе не гнусавят,
Но зато перед обедом
Снова бога обижают
Сквернопением в стихах.

[1] «Детский бальзам» (нем.). — *Ред.*

На листах вдоль стен столовой
Пламенеют почки пьяниц,
И сердца их и печенки...
Даже портят аппетит!

Но, привыкнув постепенно,
Я смотрю на них с любовью,
С глубочайшим уваженьем
И с сочувственной тоской...

Суп с крыжовником ужасен,
Вермишель с сиропом — тоже,
Но чернила с рыбьим жиром
Всех напитков их вкусней!

Здесь поят сырой водою,
Молочком, цикорным кофе
И кощунственным отваром
Из овса и ячменя.

О, когда на райских клумбах
Подают такую гадость, —
Лучше жидкое железо
Пить с блудницами в аду!

Иногда спускаюсь в город,
Надуваюсь бодрым пивом
И ехидно подымаюсь
Слушать пресные псалмы.

Горячо и запинаясь,
Восхищаюсь их Вильгельмом, —
А печенки грешных пьяниц
Мне моргают со стены...

Так над тихим Гейдельбергом,
В тихом горном пансионе
Я живу, как римский папа,
Свято, праздно и легко.

Вот сейчас я влез в перину
И смотрю в карниз, как ангел:

В чреве томно стонет солод
И бульбулькает вода.

Чу! Внизу опять гнусавят.
Всем друзьям и незнакомым,
Мошкам, птичкам и собачкам
Отпускаю все грехи...

1907

НЕМЕЦКИЙ ЛЕС

Улитки гуляют с улитками
По прилизанной ровной дорожке,
Автомат с шоколадными плитками
Прислонился к швейцарской сторожке.

Солидно стоит под осиною
Корзинка для рваной бумаги,
Но, смеясь над немецкой рутиною,
В беспорядке сбегают овраги.

Воробьи сидят на орешнике,
Соловьи на толстых каштанах,
Только вóроны, старые грешники,
На березах, дубах и платанах.

Сладок запах от лип расцветающих!
Но под липами желтые столики —
Запах шницеля тянет гуляющих
В ресторацию «Синего кролика».

Возле башни палатка с открытками:
Бюст со спицами спит над салфеткой.
И опять с шоколадными плитками
Автомат под дубовою веткой.

Через метр скамейки со спинками,
С краткой надписью: «Только для взрослых».
Хорошо б «Для блондинов с блондинками»,
«Для высоких» — «худых» — «низкорослых»...

Миловидного стиля уборная
«Для мужчин» и «Для дам». А для галок?
На орешнике надпись узорная:
«Не ломать утесов и палок».

Не заблудишься! Стрелки торчащие
Тянут кверху, и книзу, и в стороны.
О, свободно над лесом парящие
Бездорожные старые вороны!..

Озираясь, блудливой походкою,
Влез я в чащу с азартом мальчишки,
Потихоньку пошаркал подметкою
И сорвал две еловые шишки.

1907

«INS GRÜNE»[1]

Набив закусками вощеную бумагу,
Повесивши на палки пиджаки,
Гигиеническим, упорно мерным шагом
Идут гулять немецкие быки.

Идут за полной порцией природы:
До горной башни «с видом» и назад,
А рядом их почтенные комоды
Подоткнутыми юбками шумят.

Увидят виллу с вычурной верандой,
Скалу, фонтан иль шпица в кружевах —
Откроют рты и, словно по команде,
Остановясь, протянут сладко: «Ах!»

Влюбленные, напыживши ланиты,
Волочат раскрахмаленных лангуст
И выражают чувство деловито
Давлением локтей под потный бюст.

---

[1] «На природе» (нем.). — *Ред.*

Мальчишки в галстучках, сверкая глянцем
ваксы,
Ведут сестер с платочками в руках.
Все тут: сознательно гуляющие таксы
И сосуны с рожками на шнурках.

Идет ферейн «Любителей прогулок»,
Под жидкий марш откалывая шаг.
Десятков семь орущих, красных булок,
Значки, мешки и посредине флаг.

Деревья ропщут. Мягко и лениво
Смеется в небе белый хоровод,
А на горе ждет двадцать бочек пива
И с колбасой и хлебом — пять подвод.

<1910>

В НЕМЕЦКОЙ МЕККЕ

1

Дом Шиллера

Немцы надышали в крошечном покое.
Плотные блондины смотрят сквозь очки.
Под стеклом в витринах тлеют на покое
Бедные бессмертные клочки.

Грязный бюст из гипса белыми очами
Гордо и мертво косится на толпу,
Стены пропитались вздорными речами —
Улица прошла сквозь львиную тропу...

Смотрят с каталогом на его перчатки.
На стенах — портретов мертвое клише,
У окна желтеет жесткою загадкой
Гениальный череп из папье-маше.

В угловом покое тихо и пустынно
(Стаду интересней шиллеровский хлам).
Здесь шагал титан по клетке трехаршинной
И скользил глазами по углам.

Нищенское ложе с рваным одеялом.
Ветхих, серых книжек бесполезный ряд.
Дряхлые портьеры прахом обветшалым
Клочьями над окнами висят.

У стены грустят немые клавикорды.
Спит рабочий стол с чернильницей пустой.
Больше никогда поющие аккорды
Не родят мечты свободной и простой...

Дочь привратницы с ужасною экземой
Ходит следом, улыбаясь, как Пьеро.
Над какою новою поэмой
Брошено его гусиное перо?

Здесь писал и умер Фридрих Шиллер...
Я купил открытку и спустился вниз.
У входных дверей какой-то толстый Миллер
В книгу заносил свой титул и девиз...

2

Дом Гёте

Кто здесь жил — камергер, Дон Жуан иль патриций,
Антикварий, художник, сухой лаборант?
В каждой мелочи — чванство вельможных традиций
И огромный, пытливый и зоркий талант.

Ордена, письма герцогов, перстни, фигуры,
Табакерки, дипломы, печати, часы,
Акварели и гипсы, полотна, гравюры,
Минералы и колбы, таблицы, весы...

Маска Данте, Тарквиний и древние боги,
Бюстов герцогов с женами — целый лабаз.
Со звездой, и в халате, и в лаврах, и в тоге —
Снова Гёте и Гёте — с мешками у глаз.

Силуэты изысканно-томных любовниц,
Сувениры и письма, сухие цветы —

Всё открыто для праздных входящих коровниц
До последней интимно-пугливой черты.

Вот за стеклами шкафа опять панорама:
Шарф, жилеты и туфли, халат и штаны.
Где же локон Самсона и череп Адама,
Глаз медузы и пух из крыла Сатаны?

В кабинете уютно, просторно и просто,
Мудрый Гёте сюда убегал от вещей,
От приемов, улыбок, приветствий и тостов,
От случайных назойливо-цепких клещей.

В тесной спаленке кресло, лекарство и чашка.
«Больше света!» В ответ, наклонившись к нему,
Смерть, смеясь, на глаза положила костяшки
И шепнула: «Довольно! Пожалуйте в тьму...»

В коридоре я замер в смертельной тревоге —
Бледный Пушкин, как тень, у окна пролетел
И вздохнул: «Замечательный домик, ей-богу!
В Петербурге такого бы ты не имел».

3

На могилах

Гёте и Шиллер на мыле и пряжках,
На бутылочных пробках,
На сигарных коробках
И на подтяжках...
Кроме того — на каждом предмете:
Их покровители,
Тетки, родители,
Внуки и дети.
Мещане торгуют титанами...
От тошных витрин, по гранитным горбам,
Пошел переулками странными
К великим гробам.

Мимо групп фабрично-грустных
С сладко-лживыми стишками,

Мимо ангелов безвкусных
С толсто-ровными руками
Шел я быстрыми шагами —
И за грядками нарциссов,
Между темных кипарисов,
Распростерших пыльный креп,
Вырос старый, темный склеп.

Тишина. Полумрак.
В герцогском склепе немец в дворцовой фуражке
Сунул мне в руку бумажку
И спросил за нее четвертак.
«За что?» — «Билет на могилу».
Из кармана насилу-насилу
Проклятые деньги достала рука!
Лакей небрежно махнул на два сундука:
«Здесь покоится Гёте, великий писатель, —
Венок из чистого золота от франкфуртских женщин.
Здесь покоится Шиллер, великий писатель, —
Серебряный новый венок от гамбургских женщин.
Здесь лежит его светлость Карл-Август с Софией-
Луизой,
Здесь лежит его светлость Франц-Готтлиб-Фридрих-
Вильгельм...»

Быть может, было нелепо
Бежать из склепа,
Но я, не дослушав лакея, сбежал, —
Там в склепе открылись дверцы
Немецкого сердца:
Там был народной славы торговый подвал!

1907
Веймар

В ОЖИДАНИИ НОЧНОГО ПОЕЗДА

Светлый немец
Пьет светлое пиво.
Пей, чтоб тебя разорвало!
А я, иноземец,

Сижу тоскливо,
Бледнее мизинца,
И смотрю на лампочки вяло.
Просмотрел журналы:
Портрет кронпринца,
Тупые остроты,
Выставка мопсов в Берлине...
В припадке зевоты
Дрожу в пелерине
И страстно смотрю на часы.
Сорок минут до отхода!
Кусаю усы
И кошусь на соседа-урода, —
Проклятый! Пьет пятую кружку!
Шея — как пушка,
Живот — как комод...
О, о, о!
Потерпи, ничего, ничего.
Кельнер, пива!
Где мой карандаш?
Лениво
Пишу эти кислые строки,
Глажу сонные щеки
И жалею, что я не багаж...
Тридцать минут до отхода!
Тридцать минут...

1907
Веймар. Вокзал

С ПРИЯТЕЛЕМ

Фриц, смешная мартышка!
Ты маленький немец,
Шепелявый и толстый мальчишка,
А я иноземец —
Слов твоих мне не понять.
Будем молча гулять,
Фриц, мой маленький Фриц!

Фриц, давай помолчим.
Ты будешь большим,

Солидным и толстым купцом,
Счастливым отцом
(Не бей меня по щеке)
Нового Фрица,
И на том языке,
Который в моей голове сейчас рассуждает
сурово,
Никогда не скажешь ни слова...
Фриц, мой маленький Фриц.
Фриц, без слов мы скорей
Поймем друг друга.
Вон елка, мак и порей.
Вон пчелка полезла под кисть винограда...
Чего еще надо?
А мы — мы пара ленивых зверей.
Слышишь, какой в орешнике гул?
Это ветер запутался в листьях.
Уснул.
Ну ладно — пойду отнесу к мамаше
(Вон вяжет под грушей гамаши),
А я погуляю один.
Фриц, мой маленький Фриц!..

1907

КОРПОРАНТЫ

Бульдоговидные дворяне,
Склонив изрубленные лбы,
Мычат над пивом в ресторане,
Набив свининою зобы.

Кто сцапал кельнершу под жабры
И жмет под общий смех стола,
Другой бросает в канделябры
Окурки с важностью посла.

Подпивший дылда, залихватски
На темя сдвинув свой колпак,
Фиксирует глазами штатских
И багровеет, как бурак.

В углу игрушечное знамя,
Эмблема пьянства, ссор и драк,
Над ним кронпринц с семейством в раме,
Кабанья морда и чепрак.

Мордатый бурш, в видáх рекламы,
Двум желторотым червякам,
Сопя, показывает шрамы, —
Те робко жмутся по бокам.

Качаясь, председатель с кружкой
Встает и бьет себя в жилет:
«Собравшись... грозно... за пирушкой,
Мы шлем... отечеству... привет...»

Блестит на рожах черный пластырь.
Клубится дым, ревут ослы,
И ресторатор, добрый пастырь,
Обходит, кланяясь, столы.

1907
Гейдельберг

ФИЛОСОФЫ

Профессор Виндельбанд
Введенье в философию читал...
Какой талант!
Набив огромный зал,
Студенты слушали, не упуская слова,
Полны такого понимания живого,
Что Кант на небесах сердечно умилялся
И сладко улыбался.
Вдруг оборвав рассказ
(Должно быть, опасаясь, что забудет),
Профессор заявил, что в следующий раз
Он им читать не будет,
Затем что приглашен в ученое собранье
На заседанье.
Вмиг крики поднялись
И топот ног и ржанье —

Философы как с цепи сорвались:
«Hoch! Hoch![1] Благодарим! Отлично! Браво!»

Профессор посмотрел налево и направо,
Недоуменно поднял плечи
И, улыбаясь, перешел к дальнейшей речи.

1907
Гейдельберг

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Рудой гранит каменоломни
Раскрыл изломы и зубцы.
Под пышной липой так тепло мне
Смотреть, пьянясь, во все концы.

Не умолкая свищут птицы.
Присело небо на обрыв.
Как гул далекой колесницы,
Загрохотал протяжный взрыв...

Томится сладкий ладан липы,
Кишит жужжаньем желтый цвет.
Лесного матового скрипа
Напьюсь, как зверь, на много лет!

Сквозь зелень сосен в пасти дола
Краснеют пятна черепиц:
Костел... театр... больница... школа...
Я там живу? У фрейлейн Тиц?

Но глупый вензель на скамейке
(В пузатом сердце со стрелой)
Запел из-под улитки клейкой:
«Долой иллюзии, долой!»

Я там живу? «А ты не знаешь?
Спеши, брат, вниз! Чрез час обед.
На две минуты опоздаешь —
Ни габерсупа, ни котлет!»

<1911>

[1] «Ура! Ура!» (нем.). — *Ред.*

ЕЩЕ ФАКТ

В зале «Зеленой свиньи» гимнастический клуб «На здоровье»
Под оглушительный марш праздновал свой юбилей.
Немцы в матрацном трико, выгибая женские бюсты,
То наклонялись вперед, то отклонялись назад.

После классических поз была лотерея и танцы —
Максы кружили Матильд, как шестерни жернова.
С красных досок у стены сверкали великим соблазном
Лампы, щипцы для волос, кружки и желтый Вильгельм.

Вдруг разразился вокруг сочувственный радостный рев,
Смолкнул медлительный вальс, пары друг друга теснят:
Ах, это плотный блондин, интимную выиграв вазу,
Пива в нее нацедив, пьет среди залы, как Вакх! ..

<1913>

ОСТРОВ

В харчевне лесной,
Окруженной ночной тишиной,
Было тепло и уютно.

Низкий и старенький зал
Гостей насилу вмещал,
И хлопала дверь поминутно.

Вдоль стен висели рога.
За стойкой хозяйка-карга
Расплывалась субботней улыбкой.

К столам мимо печки-старушки
Проплывали вспененные кружки
И служанки с походкою гибкой.

Я пил янтарное пиво.
В окошко стучалась слезливо
Дождливая ночь и испуг.

Под лампою-молнией — дым.
На лицах малиновый грим.
Как много людей вокруг!

Чугунная печь покраснела...
Толпа гудела и пела,
И зал превращался в деревню.

Как мало нужно для счастья —
Уйти от ночного ненастья
И попасть в лесную харчевню!

1907
Оденвальд

РЫНОК

Бледно-жирные общипанные утки
Шеи свесили с лотков.
Говор, смех, приветствия и шутки
И жужжанье полевых жуков.

Свежесть утра. Розовые ласки
Первых, робких солнечных лучей.
Пухлых немок ситцевые глазки
И спокойствие размеренных речей.

Груды лилий, васильков и маков
Вянут медленно в корзинах без воды.
Вперемежку рыба, горы раков,
Зелень, овощи и сочные плоды.

В центре площади какой-то вождь чугунный
Мирно дремлет на раскормленном коне.
Вырастает говор многострунный
И дрожит в нагретой вышине.

Маргариты, Марты, Фриды, Минны —
Все с цветами и корзинками в руках.
Скромный взгляд, кокетливые мины —
О, мужчины вечно в дураках!

Я купил гусиную печенку
И пучок росистых васильков.
А по небу мчались вперегонку
Золотые перья облаков...

<1910>

ПРЕДМЕСТЬЕ

Стали хмурые домишки
Сжатым строем в тесный ряд.
В узких улочках мальчишки
Расшалились и кричат.

Заостренные фронтоны,
Стекол выпуклых игра.
С колокольни льются звоны,
Как когда-то, как вчера...

Силуэт летучей мыши
Прочертил над головой.
Словно выше стали крыши
В черной тени неживой.

Тонет в сумраке долина.
Где-то плещется река.
Давит серая чужбина,
Снятся средние века.

К склону цепко присосавшись,
Замер сонный городок.
Ходят девушки обнявшись,
Светит лунный ободок.

«Добрый вечер!» Это слово —
Словно светлый серафим...
И у странника чужого
Сердце тянется к чужим.

1907
Гейдельберг

ИДИЛЛИЯ

Гигантские спички,
Стволы без коры,
Легли к перекличке
На склоне горы.

Визжат лесопилки
И ночью и днем,
И брызжут опилки
Янтарным дождем.

Колеса кружатся.
Под запах смолы
Покорно ложатся
Сухие стволы.

Пахучи и плоски,
Немало уж лет
Веселые доски
Родятся на свет...

Изжарились крыши,
Сверкает ручей,
А солнце всё выше
И всё горячей.

У старого моста,
В одежде простой,
Огромного роста
Кирпичный святой.

Сжимает распятье
В сладчайшей тоске.
Вон пестрые платья
Мелькнули в леске:

Три пасторских дочки
Ушли от жары
И вяжут веночки
Под склоном горы.

По пыльной дороге,
Согнувшись как хлыст
И скорчивши ноги,
Несется циклист.

Полощатся утки,
Теленок мычит,
Сквозят незабудки,
И солнце горит.

1907
Шварцвальд

* * *

Узкий палисадник,
Белые дорожки,
Крошечный рассадник,
Низкие окошки.
Перед красным домиком на стуле
Спит старик в лиловом колпаке.
Разморило, сдался — зноен день в июле...
Спит чубук в опущенной руке.
Храп — как свист свирели...
Над макушкой — лозы.
Распевают шмели.
Пламенеют розы.
Как нарядно и пестро на клумбах!
Дождь цветов, а садик — метра в два.
Карлики стоят на выкрашенных тумбах...
Спит старик... Всё ниже голова.
Сквозь ворота: дворик,
Плуг; навоз, повозка,
Выгнутый заборик,
Тонкая березка...
Стог разрытого и пахнущего сена,
Одуревший от жары петух.
Сказка или правда? «Сказка Андерсена!» —
Кто-то вдруг над ухом рассмеялся вслух.

1907

КЕЛЬНЕРША

Я б назвал ее мадонной,
Но в пивных мадонн ведь нет...
Косы желтые — короной,
А в глазах — прозрачный свет.
    В грубых пальцах кружки с пивом.
    Деловито и лениво
    Чуть скрипит тугой корсет.

Улыбнулась корпорантам,
Псу под столиком — и мне.
Прикоснуться б только к бантам,
К черным бантам на спине!
    Ты шиповник благовонный...
    Мы — прохожие персоны —
    Смутный сон в твоей весне...

К сатане бы эти кружки,
И прилавок, и счета!
За стеклом дрожат опушки,
Май синеет... Даль чиста...
    Кто и что она, не знаю,
    Вечной ложью боль венчаю:
    Все мадонны, ведь, мечта.

Оглянулась удивленно —
Непонятно и смешно?
В небе тихо и бездонно,
В сердце тихо и темно.
    Подошла, склонилась: «Пива?»
    Я кивнул в ответ учтиво
    И, зевнув, взглянул в окно.

<1922>

В ПУТИ

Словно звон бессонной цитры,
В глубине поет поток.
Горы — пепельные митры...

За спиной скрипит мешок.
Даль — цветистее палитры.
Сбоку вьется ветер хитрый.
Взмок...

Сел под елкой. Вынул ножик.
Сыра, что ли, откроить?
Вниз сбегает сто дорожек.
Впереди шоссе — как нить...
Под сосной хлопочет ежик.
С лип слетает дождь сережек.
Пить!

Солнце пляшет в водопаде.
Дилижанс ползет, как клоп:
Сонный кучер, горы клади
И туристов пыльный сноп.
Удивительные дяди!
Прицепиться, что ли, сзади?
Стоп!

Плащ — и в путь! Пешком честнее:
Как библейский Илия...
Жук, подлец, ползет по шее.
Снег в горах — как клок белья.
Две козы с глазами феи...
Кто сегодня всех добрее?
Я!

Диск заката тлеет плошкой.
Дом над лугом. Звонкий лай...
Стол под липой с жирной кошкой,
Пиво с пеной через край,
Шницель с жареной картошкой
И постель с цветной дорожкой —
Рай!

<1922>

* * *

В полдень тенью и миром полны переулки.
Я часами здесь сонно слоняться готов,
В аккуратных витринах рассматривать булки,
Трубки, книги и гипсовых сладких Христов.

Жалюзи, словно веки, на спящих окошках,
Из ворот тянет солодом, влагой и сном.
Корпорант дирижирует тростью на дрожках
И бормочет в беспомощной схватке с вином.

Вот Валькирия с кружкой... Скользнешь по фигуре,
Облизнешься — и дальше. Вдоль окон — герань.
В высоте, оттеняя беспечность лазури,
Узких кровель причудливо-темная грань.

Бродишь, бродишь. Вдруг вынырнешь томный
к Неккару.
Свет и радость. Зеленые горы — кольцом.
Заслонив на скамье краснощекую пару,
К говорливой воде повернешься лицом.

За спиной беглый шепот и милые шашни.
Старый мост перекинулся мощной дугой.
Мирно дремлют пузатые низкие башни,
И в реке словно отзвуки арфы тугой.

Вы бывали ль, принцесса, хоть раз в Гейдельберге?
Приезжайте! В горах у обрыва теперь
Расцветают на липах душистые серьги
И пролет голубеет как райская дверь.

1907 (?)

В БЕРЛИНЕ

1

Над крышами мчатся вагоны, скрежещут машины,
Под крышами мчатся вагоны, автобусы гнусно пыхтят.
О, скоро будут людей наливать по горло бензином,
И люди, шипя, по серым камням заскользят!

Летал по подземной дороге, летал по надземной,
Ругал берлинцев и пиво тянул без конца,
Смотрел на толстый шаблон, убого системный,
И втайне гордился своим выраженьем лица...

Потоки парикмахеров с телячьими улыбками
Щеголяли жилетами орангутангских тонов,
Ватные военные, украшенные штрипками,
Вдев в ноздри усы, охраняли дух основ.

Нелепые монументы из чванного железа —
Квадратные Вильгельмы на наглых лошадях, —
Умиляя берлинских торгующих Крезов,
Давили землю на серых площадях.

Гармония уборных, приветствий, извинений,
Живые манекены для шляп и плащей.
Фабричная вежливость всех телодвижений,
Огромный амбар готовых вещей...

Продажа, продажа! Галстуки и подтяжки
Завалили окна до пятых этажей.
Портреты кайзера, пепельницы и чашки,
Нижнее белье и гирлянды бандажей...

Буквы вдоль стен, колыхаясь, плели небылицы:
«Братья Гешвиндер»... Наверно, ужасно толсты,
Старший, должно быть, в пенсне, блондин и тупица,
Младший играет на цитре и любит цветы.

Военный оркестр! Я метнулся испуганно к стенке,
Толкнул какую-то тушу и зло засвистал.
От гула и грохота нудно дрожали коленки,
А едкий сплин и бензин сердце мое провонял...

2

Спешат старые дети в очках,
Трясутся ранцы на пиджачках.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат девушки — все как одна:
Сироп в глазах, прическа из льна.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат юноши — все как один:
Один потемнее, другой блондин.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат старухи. Лица — как гриб...
Жесткая святость... Кто против — погиб!
Солидно смеются. Скучно!

Спешат дельцы. Лица в мешках.
Сопящая сила в жирных глазах.
Солидно смеются. Скучно!

Спешат трамваи, повозки, щенки.
Кричат рожки, гудки и звонки.
Дымится небо. Скучно!

1907

«БАВАРИЯ»

Мюнхен, Мюнхен, как не стыдно!
Что за грубое безвкусье —
Эта баба из металла
Ростом в дюжину слонов!

Между немками немало
Волооких монументов
(Смесь Валькирии с коровой), —
Но зачем же с них лепить?

И потом, что за идея —
На баварские финансы
Вылить в честь баварцев бабу
И «Баварией» назвать?!

После этих честных мыслей
Я у ног почтенной дамы
Приобрел билет для входа
И полез в ее живот.

В животе был адский климат!
Как разваренная муха,
Вверх по лестнице спиральной
Полз я в гулкой темноте.

Наконец, с трудом, сквозь горло
Влез я в голову пустую,
Где напев сквозного ветра
Спорил с дамской болтовней.

На дешевом стертом плюше
Тараторили две немки.
Потный бурш, расставив ноги,
Впился в дырку на челе.

Чтобы выполнить программу,
Поглядел и я сквозь дырку:
Небо, тучки — и у глаза
Голубиные следы.

Я, вздохнув, склонился к горлу,
Но оттуда вдруг сверкнула,
Загораживая выход,
Темно-розовая плешь.

Это был толстяк-баварец.
Содрогаясь, как при родах,
Он мучительно старался
Влезть «Баварии» в мозги.

Гром железа... Град советов...
Хохот сверху. Хохот снизу...
Залп проклятий — и баварец,
Пятясь задом, отступил.

В тщетном гневе он у входа
Деньги требовал обратно:
Величавый сфинкс-привратник
Был, как рок, неумолим!

И, скрывая смех безумный,
Смех, сверлящий нос и губы,

Смех, царапающий горло,
Я по-русски прошептал:

«О наивный мой баварец!
О тщеславный рыцарь жира!
Не узнать тебе вовеки,
Чтó в «Баварской» голове!»

1907 (?)

НА РЕЙНЕ

Размокшие от восклицаний самки,
Облизываясь, пялятся на Рейн:
«Ах, волны! Ах, туман! Ах, берега! Ах, замки!»
И тянут, как сапожники, рейнвейн.

Мужья в патриотическом азарте
На иностранцев пыжатся окрест
И карандашиками чиркают по карте
Названия особо пышных мест.

Гремит посуда. Носятся лакеи.
Сюсюкают глухие старички.
Перегрузившись лососиной, Лорелеи
Расстегивают медленно крючки...

Плавучая конюшня раздражает!
Отворотясь, смотрю на берега.
Зелено-желтая вода поет и тает,
И в пене волн танцуют жемчуга.

Ползет туман задумчиво-невинный,
И вдруг в разрыве — кручи буйных скал,
Темнеющих лесов безумные лавины,
Далеких облаков янтарно-светлый вал...

Волна поет... За новым поворотом
Сбежались виноградники к реке,
На голову скалы взлетевший мощным взлетом
Сереет замок-коршун вдалеке.

Кто там живет? Пунцовые перины
Отчетливо видны в морской бинокль.
Проветривают... В кресле — немец длинный
На Рейн, должно быть, смотрит сквозь монокль...

Волна поет... А за спиной крикливо
Шумит упитанный восторженный шаблон.
Ваш Рейн? Немецкий Рейн? Но разве он из пива,
Но разве из колбас прибрежный смелый склон?

Ваш Рейн? Но отчего он так светло прекрасен,
Изменчив и певуч, свободен и тосклив,
Неясен и кипуч, мечтательно-опасен,
И весь — туманный крик, и весь — глухой порыв!

Нет, Рейн не ваш! И вы лишь тли на розе, —
Сосут и говорят: «Ах, это *наш* цветок!»
От ваших плоских слов, от вашей гадкой прозы
Исчез мой дикий лес, поблек цветной поток...

Стаканы. Смех. Кружась, бегут опушки,
Растут и уплывают города.
Артиллерийский луг. Дымок и грохот пушки...
Рокочет за кормой вспененная вода.

Гримасы и мечты, сплетаясь, бились в Рейне.
Таинственный туман свил влажную дугу.
Я думал о весне, о женщине, о Гейне
И замок выбирал на берегу.

1907 (?)

НА ЛЫЖАХ

Желтых лыж шипящий бег,
Оснеженных елей лапы,
Белый, белый, белый снег,
Камни — старые растяпы,
Воздух пьяный,
Ширь поляны...
Тишина!
Бодрый лес мой, добрый лес
Разбросался, запушился
До опаловых небес.
Ни бугров, ни мху, ни пней —
Только сизый сон теней,
Только дров ряды немые,
Только ворон на сосне...
Успокоенную боль
Занесло глухим раздумьем.
Всё обычное — как роль
Резонерства и безумья...
Снег кружится,
Лес дымится.
В оба, в оба! —
Чуть не въехал в мерзлый ельник!
Вон лохматый можжевельник
Дерзко вылез из сугроба.
След саней свернул на мызу...
Ели встряхивают ризу.
Руки ниже,
Лыжи ближе,
Бей бамбуковою палкой
О хрустящий юный снег!

Ах, быть может, Петербурга
На земле не существует?
Может быть, есть только лыжи,
Лес, запудренные дали,
Десять градусов, беспечность
И сосульки на усах?
Может быть, там, за чертою
Дымно-праздничных деревьев,
Нет гогочущих кретинов,
Громких слов и наглых жестов,
Изменяющих красавиц,
Плоско-стертых серых Лишних,
Патриотов и шпионов,
Терпеливо-робких стонов,
Бледных дней и мелочей?..
На ольхе, вблизи дорожки,
Чуть качаются сережки,
Истомленные зимой.
Желтовато-розоватый
Побежал залив заката —
Снег синей,
Тень темней...
Отчего глазам больней?
Лес и небо ль загрустили,
Уходя в ночную даль;
Я ли в них неосторожно
Перелил свою печаль?
Тише, тише, снег хрустящий,
Темный, жуткий, старый снег...

Ах, зовет гудящий гонг:
«Диги-донг!» —
К пансионскому обеду...
Снова буду молча кушать,
Отчужденный, как удод,
И привычно-тупо слушать,
Как сосед кричит соседу,
Что Исакий каждый год
Опускается всё ниже...
Тише, снег мой, тише, лыжи!

1911

НИРВАНА

На сосне хлопочет дятел,
У сорок дрожат хвосты...
Толстый снег законопатил
Все овражки, все кусты.

Чертов ветер с хриплым писком,
Взбив до неба дымный прах,
Мутно-белым василиском
Бьется в бешеных снегах.

Смерть и холод! Хорошо бы
С диким визгом взвиться ввысь
И упасть стремглав в сугробы,
Как подстреленная рысь...

И выглядывать оттуда,
Превращаясь в снежный ком,
С безразличием верблюда,
Занесенного песком.

А потом — весной лиловой —
Вдруг растаять... закружить...
И случайную корову
Беззаботно напоить.

1911

* * *

В чужой толпе,
Надевши шляпу набекрень,
Весь день
Прогуливаю лень
По радостной тропе.

Один! И очень хорошо.
Ловлю зрачки случайных глаз,
Клочки каких-то странных фраз,
Чужую скуку и экстаз
И многое еще.

Лежат в свободном чердаке
Семьсот ребячеств без табу,
Насмешка, вызов на борьбу
И любопытство марабу,
Как бутерброды на доске.

Одно сменяется другим.
Заряд ложится на заряд.
Они в бездействии лежат,
А я ужасно рад —
Я вольный пилигрим!

Хочу — курю, хочу — плюю.
Надевши шляпу набекрень,
Весь день
Прогуливаю лень
И зверски всех люблю!

1912
Santa Margherita

УГОЛОК

В генуэзском заливе,
Как сардинка счастливый,
Я купаюсь, держась за веревку.
Плещет море рябое,
И в соленом прибое
Заплетаются ноги неловко.

Синьорины с кругами
Подымают ногами
Водопады клокочущей пены,
И купальные ткани,
Обвисая на стане,
Облепляют худые колена.

Выхожу из купальни.
Взор на парусе дальнем
Задержался любовно и жадно...
Хорошо на лоханке
У рыбацкой стоянки
Мирно думать под аркой прохладной.

Страшно важные люди
Загорелые груди
Наклоняют над дымной смолою.
Чинят сети и барки
И медянкою яркой
Молча красят борта над водою.

Как значительны лица!
В стороне кружевницы
Быстро нитки сплетают в узоры.
В жгучем солнечном свете
Голоногие дети,
А вдали пыльно-сизые горы.

Вспыхнул голод-обжора...
Накупил помидоров —
Жадно в мякоть вонзаются зубы.
Пальмы перья раскрыли.
Запах соли и пыли.
Спят домов светло-пестрые кубы.

<1910>

ЖАРА

Куцый, курносый и жирный
Виктор-и-Эммануил
В позе воинственно-мирной
Глазки в залив устремил.

Пальмы вокруг постамента
И фонари по углам.
В ближней харчевне поленту
С мухами ем пополам.

Терпнет язык от кьянти —
Третья уж фляжка пуста.
Мухи, отстаньте, отстаньте!
Лезьте к соседу в уста...

Вон он на скатерти липкой,
Губы развесив, уснул.

Треплется ветер негибкий,
С моря — то шорох, то гул.

Рдеют ликеры на полках,
Хмурится уголь-жерло.
Вдруг огневые иголки
Солнце к нему провело.

Занавес сальный и грязный
Вздулся — и сбоку видны
Дремлющий мул безобразный
И полисмена штаны.

Эй! Синьорина Беллина!
Новую фляжку и фиг!
Пусть угасает невинно
Миг, спотыкаясь о миг...

1911
Santa Margherita

* * *

Солнце жарит. Мол безлюден.
Пряно пахнет пестрый груз.
Под водой дрожат, как студень,
Пять таинственных медуз.
Волны пухнут...

Стая рыб косым пятном
Затемнила зелень моря.
В исступлении шальном,
Воздух крыльями узоря,
Вьются чайки.

Молча, в позе Бонапарта,
Даль пытаю на молу:
Где недавний холод марта?
Снежный вихрь, мутящий мглу?
Зной и море!

Отчего нельзя и мне
Жить, меняясь как природа,
Чтоб усталость по весне
Унеслась, как время года?..
Сколько чаек!

Солнце жжет. Где холод буден?
Темный сон случайных уз?
В глубине дрожат, как студень,
Семь божественных медуз.
Волны пухнут...

1911
Ялта

В МОРЕ

Если низко склониться к воде
И смотреть по волнам на закат —
Нет ни неба, ни гор, ни людей,
Только красных валов перекат.

Мертвый отблеск... Холодная жуть,
Тускло смотрит со дна глубина...
Где же лодка моя и гребец?
Где же руки, и ноги, и грудь?

О, как любо, отпрянув назад,
Милый берег глазами схватить,
Фонарей ярко-желтую нить
И пустынного мола черту!

1911 (?)

В КРЫМУ

Турки носят канифоль.
Ноздри пьют морскую соль.
Поплавок в арбузных корках...

Ноги свесились за мол...
Кто-то сбоку подошел:
Две худых ступни в опорках.

«Пятачишку бы...» — «Сейчас».
Чайки сели на баркас.
Пароход завыл сурово.

Раз! Как любо снять с крючка
Толстолобого бычка
И крючок закинуть снова!

1911

ДОЖДЬ

Потемнели срубы от воды,
В колеях пузырятся потоки.
Затянув кисейкою сады,
Дробно пляшет дождик одинокий.
Вымокла рябинка за окном,
Ягоды блестят в листве, как бусы.
По колоде, спящей кверху дном,
Прыгает в канавке мальчик русый.
Изумрудней рощи и сады.
В пепле неба голубь мчится к вышке.
Куры на крыльце, поджав хвосты,
Не спускают сонных глаз с задвижки...
Свежий дождь, побудь, побудь у нас!
Сей свое серебряное семя...
За ворота выбегу сейчас
И тебе подставлю лоб и темя.

<1914>

* * *

Почти перед домом
Тропинка в зеленые горы
Кружится изломом,
Смущает и радует взоры.
Айда, без помехи,
К покатой и тихой вершине,
Где ясны, как вехи,
Деревья в укрытой низине!..

Дорогой — крапива,
Фиалки и белые кашки,
А в небе лениво
Плывут золотые барашки.
Добрался с одышкой,
Уселся на высшую точку.
Газета под мышкой —
Не знаю, прочту ли хоть строчку.
Дома как игрушки,
Румяное солнце играет,
Сижу на макушке,
И ветер меня продувает...

<1913>

ЛУНАТИК

Не могу закрытого взора
Оторвать от бледной луны, —
На луне застывшие озера
И поля холодной тишины.

Трепещут лунные крылья,
Исчезает тело, звеня,
Но не в силах бледные усилья
Оторвать от крыши меня.

Шумят душистые липы,
Рубашка бьет по плечам...
Лунные лучи, как липкие полипы,
Присосались к плачущим очам.

Скользят застывшие ноги,
Листы гремят и гудят, —
Полшагá направо от дороги —
И слетел бы вниз, в далекий сад!

Сижу у трубы бессонный,
О спину трется кот...
Соловьи свистят неугомонно,
Теплый ветер жалобно поет.

Внизу постель моя смята
И дышит моим теплом,
Но туда мне больше нет возврата...
Как сойду со сломанным крылом?

Не могу закрытого взора
Оторвать от бледной луны, —
На луне застывшие озера
И поля холодной тишины...

<1910>

У НАРВСКОГО ЗАЛИВА

Я и девочки-эстонки
Притащили тростника.
Средь прибрежного песка
Вдруг дымок завился тонкий.

Вал гудел, как сто фаготов,
Ветер пел на все лады.
Мы в жестянку из-под шпротов
Молча налили воды.

Ожидали, не мигая,
Замирая от тоски, —
Вдруг в воде, шипя у края,
Заплясали пузырьки!

Почему событье это
Так обрадовало нас?
Фея северного лета,
Это, друг мой, суп для вас...

Трясогузка по соседству
По песку гуляла всласть.
Разве можно здесь не впасть
Под напевы моря в детство?

1914
Гунгербург

ОГОРОД

За сизо-матовой капустой
Сквозные листики укропа.
А там, вдали — где небо пусто —
Маячит яблоня-растрепа.
Гигантский лук напряг все силы
И поднял семена в коронке.
Кругом забор, седой и хилый.
Малина вяло спит в сторонке.
Кусты крыжовника завяли,
На листьях — ржа и паутина.
Как предосенний дух печали,
Дрожит над банею осина.
Но огород еще бодрее,
И гуще, и щедрей, чем летом.
Смотри! Петрушки и пореи
Как будто созданы поэтом...
Хмель вполз по кольям пышной сеткой
И свесил гроздья светлых шишек.
И там, и там — под каждой веткой
Широкий радостный излишек.
Земля влажна и отдыхает.
Поникли мокрые травинки,
И воздух кротко подымает
К немому небу паутинки.
А здесь, у ног, лопух дырявый
Раскинул плащ в зеленой дреме...
Срываю огурец шершавый
И подношу к ноздрям в истоме.

<1914>

СИЛУЭТЫ

Вечер. Ивы потемнели.
За стволами сталь речонки.
Словно пьяные газели,
Из воды бегут девчонки.
Хохот звонкий.
Лунный свет на белом теле.

Треск коряг...
Опустив глаза к дороге, ускоряю тихий шаг.

Наклонясь к земле стыдливо,
Мчатся к вороху одёжи.
И, смеясь, кричат визгливо...
Что́ им сумрачный прохожий?
Тени строже.
Жабы щелкают ревниво.
Спит село.
Темный путь всползает в гору, поворот — и всё ушло.

<1914>
Ромны

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Белеют хаты в молчаливо-бледном рассвете.
Дорога мягко качает наш экипаж.
Мы едем в город, вспоминая безмолвно о лете...
Скрипят рессоры, и сонно бормочет багаж.

Зеленый лес и тихие долы — не мифы:
Мы бегали в рощах, лежали на влажной траве,
На даль, залитую солнцем, с кургана, как скифы,
Смотрели, вверяясь далекой, немой синеве...

Мы едем в город. Опять углы и гардины,
Снег за окном, книги и мутные дни —
А здесь по бокам дрожат вдоль плетней георгины
И синие сливы тонут в зеленой тени...

Мой друг, не вздыхайте, — здесь тоже не лучше зимою:
Снега, почерневшие ивы, водка и сон.
Никто не придет... Разве нищая баба с сумою
Спугнет у крыльца хоровод продрогших ворон.

Скрипят рессоры... Качаются потные кони.
Дорога и холм спускаются к сонной реке.
Как сладко жить! Выходит солнце в короне,
И тени листьев бегут по вашей руке.

<1914>
Ромны

* * *

Еле тлеет погасший костер.
Пепел в пальцах так мягко пушится.
Много странного в сердце таится
И, волнуясь, спешит на простор.
Вдоль опушки сереют осины.
За сквозистою рябью стволов
Чуть белеют курчавые спины
И метелки овечьих голов.
Деревенская детская банда
Чинно села вокруг пастуха
И горит, как цветная гирлянда,
На желтеющей зелени мха.
Сам старик сед и важен. Так надо...
И пастух, и деревья, и я,
И притихшие дети, и стадо...
Где же мудрый пророк Илия?
Из-за туч, словно веер из меди,
Брызнул огненный сноп и погас.
Вы ошиблись, прекрасная леди, —
Можно жить на земле и без вас!

<1922>

БЕЛАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Ветер с визгом кра́дется за полость.
Закурился снежный океан,
Желтым глазом замигала волость
И нырнула в глубину полян.

Я согрелся в складках волчьей шубы,
Как детеныш в сумке кенгуру,
Только вихрь, взвевая к небу клубы,
Обжигает щеки на юру...

О, зима, холодный лебедь белый,
Тихий праздник девственных пространств!..
Промелькнул лесок заиндевелый,
Весь в дыму таинственных убранств.

Черный конь встречает ветер грудью.
Молчаливый кучер весь осел...
Отдаюсь просторам и безлюдью
И ударам острых снежных стрел.

<1916>
Кривцово

СУМЕРКИ

Хлопья, хлопья летят за окном,
За спиной теплый сумрак усадьбы.
Лыжи взять да к деревне удрать бы,
Взбороздив пелену за гумном...

Хлопья, хлопья... Всё глуше покой,
Снег ровняет бугры и ухабы.
Островерхие ели — как бабы,
Занесенные белой мукой.

За спиною стреляют дрова,
Пляшут тени... Мгновенья всё дольше.
Белых пчелок всё больше и больше...
На сугробы легла синева.

Никуда, никуда не пойду...
Буду долго стоять у окошка
И смотреть, как за алой сторожкой
Растворяется небо в саду.

<1916>
Кривцово

НА ПРУДУ

Не ангелы ль небо с утра
Раскрасили райскою синькой?
Даль мирно сквозит до бугра
Невинною белой пустынькой...
Березки толпятся кольцом
И никнут в торжественной пудре,

А солнце румяным лицом
Сияет сквозь снежные кудри.
На гладком безмолвном пруду
Сверкают и гаснут крупицы.
Подтаяв, мутнеют во льду
Следы одинокой лисицы...
Пожалуй, лежит за кустом —
Глядит и, готовая к бегу,
Поводит тревожно хвостом
По свежему, рыхлому снегу...
Напрасно! Я кроток, как мышь...
И первый, сняв дружески шляпу,
Пожал бы, раздвинув камыш,
Ее оснеженную лапу.

<1916>

РАДОСТЬ

По балке ходит стадо
Медлительных коров.
Вверху дрожит прохлада
И синенький покров.

На пне — куда как любо!
Далекий, мягкий скат...
Внизу кружит у дуба
Компания ребят.

Их красные рубашки
На зелени холмов —
Как огненные чашки
Танцующих цветов...

Девчонки вышивают,
А овцы там и сям
Сбегают и взбегают
По лакомым бокам.

Прибитая дорожка
Уходит вдаль, как нить...
Мышиного горошка
И палки б не забыть!

Шумит ракитник тощий,
Дыбятся облака.
Пойти в луга за рощей,
Где кротко спит Ока?

Встаю. В коленях дрема,
В глазах зеленый цвет.
Знакомый клоп Ерема
Кричит: «Заснул аль нет?»

Прощай, лесная балка!
Иду. Как ясен день!..
В руке танцует палка,
В душе играет лень.

А крошечней мизинца
Малыш кричит мне вслед:
«Товарищ, дай гостинца!»
Увы, гостинца нет.

1911
Кривцово

НА ПЧЕЛЬНИКЕ

На лик напялив решето,
Под черным копюшоном,
Брожу по пчельнику в манто
Изысканным бароном.

Воздух свеж, как пепермент,
В небе тучек звенья...
О, лирический момент
Высшего давленья!

Вишни буйно вскрыли цвет —
Будет много меда.
Мне сейчас не тридцать лет,
А четыре года.

Пчелки в шею — щелк и щелк
И гудят, как трубы.
Прокуси-ка драп и шелк,
Обломаешь зубы!

Всуньте лучше в пряный цвет
Маленькие ножки.
Я лирический поэт,
Безобидней мошки...

Не стучите в решето —
Живо за работу!
Я же осенью за то
Опростаю соты.

Улетели... Буль, буль, буль!
Солнце лупит в щели.
Не бывает ли июль
Иногда в апреле?

Пропадаю ни за что...
Где моя невеста?
Под изысканным манто
Слишком много места.

Я б ей многое сказал
(Не в стихах, конечно!)
Я б в глаза ее лобзал
Долго и беспечно.

Но на нет суда ведь нет.
Будем без невесты...
Пусть лирический поэт
Служит в храме Весты!

Весной, когда растаял лед
Скептического зелья,
Собрал я этот сладкий мед
С густых цветов безделья.

Апрель 1910
Заозерье

«ПУЩА-ВОДИЦА»

Наш трамвай летел, как кот,
Напоенный жидкой лавой.
Голова рвалась вперед,
Грудь назад, а ноги вправо.
Мимо мчались без ума
Косогоры,
Двухаршинные дома
И заборы...
Парники, поля, лошадки,
Синий Днепр...
Я качался на площадке,
Словно сонный, праздный вепрь,
Солнце било, как из бочки!
Теплый, вольный смех весны
Выгнал хрупкие цветочки —
Фиолетовые «сны».
Зачастил густой орешник,
Бор и рыженький дубняк,
И в груди сатир-насмешник
Окончательно размяк...
Сосны, птички, лавки, дачки,
Миловидные солдаты,
Незнакомые собачки
И весенний вихрь крылатый!
Ток гнусавил, как волчок,
Мысли — божие коровки —
Уползли куда-то вбок...
У последней остановки
Разбудил крутой толчок.

Молча в теплый лес вошел по теплой хвое
И по свежим изумрудам мхов.
На ветвях, впивая солнце огневое,
Зеленели тысячи стихов:
Это были лопнувшие почки,
Гениальные, неписанные строчки...
Пела пеночка. Бродил в стволах прохладных
Свежий сок и гнал к ветвям весну.
Захотелось трепетно и жадно

Полететь, взмахнув руками, на сосну
И, дрожа, закрыв глаза, запеть, как птица.
Я взмахнул... Напрасно: не летится!..
. . . .

1911
Киев

ДЕКОРАЦИЯ

На старой башне скоро три.
Теряясь в жуткой дали,
Блестящей лентой фонари
Вдоль набережной встали.

В реке мерцает зыбь чернил
И огненных зигзагов.
Скамейки мокнут у перил
Мертвее саркофагов.

У бальной залы длинный ряд
Фиакров, сном объятых.
Понурясь, лошади дрожат
В попонах полосатых.

Возницы сбились под навес
И шепчутся сердито.
С меланхолических небес
Дождь брызжет, как из сита.

Блестит намокнувший асфальт,
Вода стучит и моет.
Бездомный вихрь поет как альт
И хриплым басом воет.

Дома мертвы. Аллеи туй
Полны тревогой смутной...
А мне в прохладной дымке струй
Так дьявольски уютно!

1907
Гейдельберг

* * *

Грохочет вода о пороги,
И мысли в ленивом мозгу
За гулкой волной убегают.
На том берегу
Сигналы железной дороги
Спокойно и кротко мигают.
Высоты оделись туманом.
На темной скамье под каштаном
Сегодня особенно любо сидеть и молчать.

Стучат по шоссе экипажи,
И фыркают кони.
Дрожат силуэты из сажи,
И тени, как духи погони,
За ними запрыгали в тьму.
Да. Так хорошо одному
Молчать и следить, как колеса вдали затихают.

Разнеженно-теплые струи.
Река монотонно поет.
А рядом слышны поцелуи,
И кто-то минуты крадет
У жизни, у счастья, у ночи...
Тоска заглянула мне в очи:
Да? Так хорошо одному? Сидеть и молчать?

1907
Гейдельберг

НА ЗАМКОВОЙ ТЕРРАСЕ

Наивная луна, кружок из белой жести,
Над башней замка стынет.
Деревья в парке свили тени вместе —
Сейчас печаль нахлынет...

На замковой террасе ночь и тьма.
Гуляют бюргеры, студенты и бульдоги,
Внизу мигают тихие дома,
Искрятся улицы и теплятся дороги.

Из ресторана ветер вдруг примчал
Прозрачно-мягкую мелодию кларнета,
И кто-то в сердце больно постучал,
Но в темном сердце не было ответа.

Невидимых цветов тяжелый, пряный яд,
И взрывы хохота, и беспокойность мая,
И фонари средь буковых аркад...
Но Евы нет — и мрачны кущи Рая.

1907
Гейдельберг

* * *

Месяц выбелил пол,
Месяц молча вошел
Через окна и настежь открытые двери.
Ускользающий взгляд заблудился в портьере.
Тишина беспокойно кричит,
И сильней напряженное сердце стучит.
О, как льстиво и приторно пахнет душистый горошек
На решетке балкона!
С теплым ветром вплывают в пролеты окошек
Бой полночного звона,
Отдаленные вскрики флиртующих кошек,
Дробь шагов за углом.

Старый месяц! Твой диск искривленный
Мне сегодня противен и гадок.
Почти примиренный,
Бегу от навязанных кем-то загадок,
Не хочу понимать
И не стану чела осквернять
Полосами мучительных складок...

Сторожко дома выступают из темени.
Гаснут окна, как будто глаза закрывают.
Чьи-то нежные руки, забывши о времени,
В темноте безумолчно играют.
Всё вкрадчивей запах горошка,
Всё шире лунный разлив.

В оранжевом пятне последнего окошка
Так выпукло ясны
Бумага, счеты. Кто-то щелкал, щелкал,
Вздыхал, смотрел в окно и снова щелкал...

Старый месяц! Бездушный фанатик!
Мне сегодня сознаться не стыдно —
К незнакомым рукам,
Что волнуют рояль по ночам,
Я тянусь, как лунатик!

<1911>

* * *

Цветы от солнца пьяны...
О, сколько их! Взгляни:
Герани и тюльпаны —
Как пестрые огни
На зелени поляны.

На крылечке припекло,
Виноград ползет на крышу,
Где-то близко-близко, слышу,
Бьется муха о стекло.

Вишневый цвет опал,
Миндальный распустился,
Как розовый коралл,
На голых ветках вскрылся
И сердце взволновал.

Но хозяйка так комично
Вдоль стволов белье развесила...
Это было б неприлично,
Если б не было так весело...

Пусть бог простит ее,
Как я ее прощаю.
Смотрю — не понимаю
И белое белье
Цветами называю.

<1913>

* * *

Вся ограда
В темных листьях винограда.
Облупилась колоннада. Старый дом уныл и пуст.
Плеск фонтана.
Бог Нептун в ужасных ранах...
Злая жалоба внезапно вырывается из уст:
«Свиньи! Где-нибудь в Берлине,
В серо-каменной твердыне,
На тюках из ассигнаций
Вы сидите каплунами безотлучные года,—
Что бы этот дом прекрасный подарить мне навсегда!»
Шум акаций.
Пред оградой божья матерь,
Опоясанная хмелем...
На реке зеленый катер
Уморительно пыхтит.
Растревоженный апрелем,
Безработным менестрелем
Я склоняюсь, я шатаюсь, я бесцельно улыбаюсь,
И кружится под ногами прибережное шоссе.

1907
Гейдельберг

НА САНКАХ С ГОР

Пятки резво бьют о снег,
Встречный ветер режет щеки,
Всё порывистее бег,
Ели мчатся, как намеки.
Дальше, дальше, мимо, мимо...
Белой пылью бьет в глаза,
Хохочу неудержимо
И, как горная коза,
В сизый сумрак окунаюсь.
Острый воздух жгуч, как лед.
Озираюсь, содрогаюсь —
И бесшумно мчусь вперед...
Слева лес и крутизна
Сторожат гостеприимно.

Голубая белизна
Полускрыта мглою дымной, —
Оплошал — и вмиг слетишь
К мерзлым соснам величавым,
Гулко череп раскроишь,
И конец твоей забаве...
Кто-то сзади нагоняет.
Писк полозьев, резкий свист.
Мимо, мимо... Вон мелькает
За бугром, как белый лист.
Колокольчик выбивает
Тонко-звонкий плеск стекла.
В фонаре огонь мигает,
На дорогу тьма стекла.
Дальше, дальше... Всё смешалось
В снегом скованных глазах.
Мутно море взволновалось
В убежавших берегах...
Скрип и тьма. Колючий холод,
Сумасшедший плавный бег.
Я беспечен, чист и молод,
Как сейчас упавший снег.

<1910>

РАЗГУЛ

Буйно-огненный шиповник,
    Переброшенная арка
        От балкона до ворот,
Как несдержанный любовник,
    Разгорелся слишком ярко
        И в глаза, как пламя, бьет!

Но лиловый цвет глициний,
    Мягкий, нежный и желанный,
        Переплел лепной карниз,
Бросил тени в блекло-синий
    И, изящный и жеманный,
        Томно свесил кисти вниз.

Виноград, бобы, горошек
    Лезут в окна своевольно...
        Хоровод влюбленных мух,
Мириады пьяных мошек,
    И на шпиле колокольном
        Зачарованный петух.

1907

НА ПАРОМЕ

Сизый воздух в белых точках,
Мутно бесится река.
Перевозчик пьян, как бочка, —
Заменю-ка старика!

Снег садится на ресницы,
Мягко тает на усах.
Вынимаю рукавицы
И лениво тру в глазах.

«Перевозчик!» Острой сталью
Льется голос над водой,
Словно там за мутной далью
Крикнул дьявол молодой...

Я канат перебираю
В разгулявшихся руках
И молчу, не отвечаю,
И лютею на толчках.

Странен бок кирпичной дачи
В темной зелени плюща...
И река шумит иначе,
Торжествуя и плеща.

Хлопья падают за ворот.
Впереди в молочной мгле
Чуть дрожит вечерний город
С фонарями на челе.

<1911>

В ЧАЩЕ

По бурому скату,
Где мертвые листья гниют,
Медлительно-важно туманы плывут
К закату.
Пятнистые, мшистые буки
Раскинули ярко-зеленые руки.
Глаза сквозь ажурную зелень
Бегут до гранитных расщелин,
Язычески жадно горят,
Проснувшись от долгого сна;
Целуют зеленый наряд,
Томятся, и тайно смеются,
И кротко ласкают закат.
    Тишина, тишина, тишина.

Кто выйдет из зелени темной:
Олень с золотыми рогами?
Сатир? Колесница с богами?
Русалка с улыбкою томной?..
Прохожий, поднявшийся снизу,
Задумчиво ежится в старом пальто,
Пронзает зеленую ризу
И шепчет: «Никто!»
Прошел... С далекого дна
Туманы плывут и прозрачно белеют,
Зеленые буки темнеют.
    Тишина, тишина, тишина.

<1910>

* * *

Качаются томные листики,
Душа покидает причал.
В волнах немигающей мистики
Смотрю в светло-синий провал.

Так сонно звенят насекомые,
Так мягко спине и бокам...
Прощайте, друзья и знакомые, —
Плыву к золотым облакам!

Сквозной холодок бестелесности
Наполнил меня до бровей.
О, где вы, земные окрестности
И пыльные гроздья ветвей?

Разлазится облачко ватное.
Пищит ветерок в волосах.
И всё холодней необъятное
Смеется в пустых небесах.

Забыл я свой адрес и звание.
Всё выше, всё глубже мой путь...
В глазах голубое дрожание,
И в сердце блаженная жуть.

<1910>

АПЕЛЬСИН

Вы сидели в манто на скале,
Обхвативши руками колена.
А я — на земле,
Там, где таяла пена, —
Сидел совершенно один
И чистил для вас апельсин.

Оранжевый плод!
Терпко-пахучий и плотный...
Ты наливался дремотно
Под солнцем где-то на юге
И должен сейчас отправиться в рот
К моей серьезной подруге.
Судьба!

Пепельно-сизые финские волны!
О чем она думает,
Обхвативши руками колена
И зарывшись глазами в шумящую даль?
Принцесса! Подите сюда,
Вы не поэт, к чему вам смотреть,
Как ветер колотит воду по чреву?
Вот ваш апельсин!

И вот вы встали.
Раскинув малиновый шарф,
Отодвинули ветку сосны
И безмолвно пошли под смолистым навесом.
Я за вами — умильно и кротко.

Ваш веер изящно бил комаров —
На белой шее, щеках и ладонях.
Один, как тигр, укусил вас в пробор,
Вы вскрикнули, топнули гневно ногой
И спросили: «Где мой апельсин?»
Увы, я молчал.
Задумчивость, мать томно-сонной мечты,
Подбила меня на ужасный поступок...
Увы, я молчал!

<1913>

* * *

Неподвижно-ленивые кости
Раскаленные стрелы жгут.
Хорошо лежать на помосте,
Наклонивши прическу в пруд.

Какие-то пестрые мухи
Танцуют в искристой слюде.
Муравей путешествует в ухе,
Пауки бегут по воде.

Изумительно мелкая рыбка
Удирает от тени своей.
На дне жестянка и штрипка
И семья разноцветных камней.

Облака проплывают под носом.
Намокает спустившийся чуб.
Где-то сзади шумит над откосом
Бесконечно далекий дуб.

В голове человечки из стали
Друг на дружке несутся верхом.
Отрываюсь от зыбкой вуали —
И внезапно кричу петухом.

<1910>

* * *

Я конь, а колено — седельце.
Мой всадник всех всадников слаще...
Двухлетнее теплое тельце
Играет, как белочка в чаще.

Склоняюсь с застенчивой лаской
К остриженной круглой головке:
Ликуют серьезные глазки,
И сдвинуты пухлые бровки.

Несется... С доверчивым смехом
Взмахнет вдруг ручонкой, как плеткой, —
Ответишь сочувственным эхом —
Такою же детскою ноткой...

Отходит, стыдясь, безнадежность,
Надежда растет и смелеет,
Вскипает безбрежная нежность
И бережно радость лелеет...

<1913>

КВАРТИРАНТКА

Возвратясь усталая с примерки,
Облечется в клетчатый капот,
Подойдет вразвалку к этажерке,
Оборвет гвоздику и жует.
Так, уставясь в сумерки угла,
Простоит в мечтах в теченье часа:
Отчего на свете столько зла
И какого вкуса жабье мясо?
Долго смотрит с сонным любопытством
На саму себя в зеркальный шкаф.

Вдруг, смутясь, с беспомощным бесстыдством
Отстегнет мерцающий аграф...
Обернется трепетно на скрип —
У дверей хозяйские детишки,
Колченогий Мишка и Антип.
«В кошки-мышки? Ладно, в кошки-мышки!»

Звуки смеха мечутся, как взрывы...
Вспыхнет дикий топот и возня,
И кружит несытые порывы
В легком вихре буйного огня.
Наигравшись, сядет на диван
И, брезгливо выставив мальчишек,
Долго смотрит, как растет туман,
Растворяя боль вечерних вспышек.
Тьма. Склонивши голову и плечи,
Подойдет к роялю. Дрогнет звук.
Заалеют трепетные свечи,
Золотя ладони мягких рук.
Тишина задумчивого мига.
Легкий стук откинутой доски —
И плывет бессмертный «Лебедь» Грига
По ночному озеру тоски.

<1911>

* * *

Мы женили медвежонка
На сияющей Матрешке,
Ты пропела тонко-тонко:
«Поздравляем вас, медведь!»
Подарили им ребенка —
Темно-бронзовую таксу,
Завернули всех в пеленку,
Накормили киселем.

«Ну а дальше?» — «Хочешь, встану,
Как коза, на четвереньки?
Или буду по дивану
Прыгать кверху животом?..»
— «Не желаю». — «Эла, птичка,
Не сердись, — чего ты хочешь?»

Резко вздернулась косичка:
«Я желаю, чтоб ты пел».
— «Чижик, чижик...» — «Нет, не надо!
Каждый день всё „чижик-чижик“
Или глупое „дид-Ладо“...
Сам придумай, сам, сам, сам!»

Огорошенный приказом,
Долго я чесал в затылке,
Тер под глазом и над глазом —
Не придумал ничего.
Эла дерзко ухмылялась
И развешивала тряпки.
Что мне больше оставалось?..
Я простился и ушел.

О, позор! О, злое горе!
Сколько песен скучным взрослым
Я, копаясь в темном соре,
Полным голосом пропел...
Лишь для крошечного друга
Не нашел я слов внезапных
И, краснея, — как белуга,
Как белуга, промолчал!

<1911>

ЗИРЭ

Чья походка, как шелест дремотной травы на заре?
Зирэ.
Кто скрывает смущенье и смех в пестротканной чадре?
Зирэ.
Кто сверкает глазами, как хитрая змейка в норе?
Зирэ.
Кто тихонько поет, проносясь вдоль перил во дворе?
Зирэ.
Кто нежнее вечернего шума в вишневом шатре?
Зирэ.
Кто свежее снегов на далекой лиловой горе?
Зирэ.
Кто стройнее фелуки в дрожащем ночном серебре?
Зирэ.

Зирэ.

Чья походка, как шелест дремотной травы на заре?
Зирэ.
Кто скрывает смущенье и смех в нестроткаемой чадре?
Зирэ.
Кто сверкает глазами, как хитрая змейка в норе?
Зирэ.
Кто тихонько поет, проносясь вдоль перил на дворе?
Зирэ.
Кто нужнее вечернего шума в вишневом шатре?
Зирэ.
Кто свежее снегов на далекой лиловой горе?
Зирэ.
Кто стройнее фелуки в дрожащем ночном серебре?
Зирэ.
Чье я имя вчера вырезал на гранатной коре?
Зирэ.
И к кому, уезжая, смутясь обернусь на заре?
К Зирэ!

Саша Черный

Чье я имя вчера вырезал на гранатной коре?
Зирэ.
И к кому, уезжая, смутясь, обернусь на заре?
К Зирэ!

1911
Мисхор

ПЬЯНАЯ ПЕСНЯ

В бутылке вина
Сидит сатана
И лукаво мигает: «Налей!
Багряный мой сок
Сбивает всех с ног —
Держись же покрепче и пей.
По жилам козлом
Промчусь напролом,
За сердце тебя ущипну...
Гори и ликуй,
Всех женщин целуй, —
Быть может, забудешь одну...
Что в ней ты любил?
Веселье и пыл,
И ямку у губ на щеке?
Пришла и ушла,
Как тень от весла
На синей, весенней реке.
Не пьешь ты — а пьян.
Что плачешь в стакан?
Багряный мой сок замутишь...
Ах, глупый чудак,
Ах, странный дурак, —
Попался, попался, как мышь!»

<1922>

ОПИСАНИЕ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

(Шутка)

Два раба на веслах повисли.
На скамье апельсины желтели.
Мы с сотрудником «Киевской мысли»
Совершали прогулку без цели.

Копошилась вода у бортов.
Между двух долговязых мостов,
Распирая крутые бока,
Проносилась река.

Бородатый, как Сарданапал,
Мой попутчик с небрежностью светской
Снисходительно руль направлял
На мужской монастырь Выдубецкий.
«Правый берег — направо». — «Merci!»
— «Левый берег — налево». — «Спасибо!»
Объяснил и опять замолчал,
Как солидная рыба.

Монастырь. Пили в садике чай
(Самовар, два стакана и блюдца).
Служка крикнул: «На лодочке, чай?»
— «Да, на лодке». — «Счастливо вернуться!»
Поглазели на сонм куполов,
Закурили и двинулись кротко
К тишине прибрежных стволов
Безразличной походкой.

Возвращались. Днепр глухо урчал.
Мост сносило теченьем на лодку.
Весла гнулись, — я робко мечтал
Довезти свои рифмы в Слободку...
«Правый берег — направо». — «Merci!»
— «Левый берег — налево». — «Спасибо!»
Через час нос ударил в мостки:
Мы приехали ибо.

Апрель 1911
Киев

УТРОМ

Бодрый туман, мутный туман
Так густо замазал окно —
А я умываюсь!
Бесится кран, фыркает кран...
Прижимаю к щекам полотно
И улыбаюсь.

Здравствуй, мой день, серенький день!
Много ль осталось вас, мерзких?
Все проживу!
Скуку и лень, гнев мой и лень
Бросил за форточку дерзко.
Вечером вновь позову...

<1910>

ТИФЛИССКАЯ ПЕСНЯ

Как лезгинская шашка твой стан,
Рот — рубин раскаленный!
Если б был я турецкий султан,
Я бы взял тебя в жены...

Под чинарой на пестром ковре
Мы играли бы в прятки.
Я б, склонившись к лиловой чадре,
Целовал твои пятки.

Жемчуг вплел бы тебе я средь кос!
Пусть завидуют люди...
Свое сердце тебе б я поднес
На эмалевом блюде...

Ты потупила взор, ты молчишь?
Ты скребешь штукатурку?
А зачем ты тихонько, как мышь,
Ночью бегаешь к турку?

Он проклятый мединский шакал!
Он шайтан! Он невежа!
Третий день я точу свой кинжал,
На четвертый — зарррежу!..

Искрошу его в мелкий шашлык...
Кабардинцу дам шпоры —
И на брови надвину башлык,
И умчу тебя в горы.

<1921>

ЛЕНИВАЯ ЛЮБОВЬ

Пчелы льнут к зеленому своду.
На воде зеленые тени.
Я смотрю не мигая на воду
Из-за пазухи матери-лени.

Почтальон прошел за решеткой, —
Вялый взрыв дежурного лая.
Сонный дворник, продушенный водкой,
Ваш конверт принес мне, икая.

Ничего не пойму в этом деле...
Жить в одной и той же столице
И писать два раза в неделю
По четыре огромных страницы.

Лень вскрывать ваш конверт непорочный:
Да, я раб, тупой и лукавый, —
Соглашаюсь на всё заочно.
К сожаленью, вы вечно правы.

То — нелепо, то — дико, то — узко...
Вам направо? Мне, видно, налево...
Между прочим, зеленая блузка
Вам ужасно к лицу, королева.

Нет, не стану читать, дорогая!..
Вон плывут по воде ваши строки.
Пусть утопленник встречный, зевая,
Разбирает ваши упреки.

Если ж вам надоест сердиться
(Грех сердиться в такую погоду), —
Приходите вместе лениться
И смотреть не мигая на воду.

<1922>

В ТИРОЛЕ

Над кладбищенской оградой вьются осы...
Далеко внизу бурлит река.
По бокам — зеленые откосы.
В высоте застыли облака.

Крепко спят под мшистыми камнями
Кости местных честных мясников.
Я, как друг, сижу, укрыт ветвями,
Наклонясь к охапке васильков.

Не смеюсь над вздором эпитафий,
Этой чванной выдумкой живых,
И старух с поблекших фотографий
Принимаю в сердце как своих.

Но одна плита мне всех здесь краше:
В изголовье старый темный куст,
А в ногах, где птицы пьют из чаши,
Замер в рамке смех лукавых уст...

Вас при жизни звали, друг мой, Кларой?
Вы смеялись только двадцать лет?
Здесь, в горах, мы были б славной парой —
Вы и я, кочующий поэт...

Я укрыл бы вас плащом, как тогой,
Мы, смеясь, сбежали бы к реке,
В вашу честь сложил бы я дорогой
Мадригал на русском языке.

Вы не слышите? Вы спите?.. Очень жалко...
Я букет свой в чашу опустил
И пошел, гремя о плиты палкой,
Вдоль рядов алеющих могил.

<1914>

ПРИБОЙ

Как мокрый парус, ударила в спину волна,
Скосила с ног, зажала ноздри и уши.
Покорно по пестрым камням прокатилась спина,
И ноги, в беспомощной лени, поникли на суше.
Кто плещет, кто хлещет, кто злится в зеленой волне?

Лежу и дышу... Сквозь ресницы струится вода.
Как темный Самсон, упираюсь о гравий руками
И жду... А вдали закипает, белеет живая гряда,
И новые волны веселыми мчатся быками...
Идите, спешите, скорее, скорее, скорее!

Мотаюсь в прибое. Поэт ли я, рыба иль краб?
Сквозь влагу сквозит-расплывается бок полосатый,
Мне сверху кивают утесы и виллы, но, ах, я ослаб,
И чуть, в ответ, шевелю лишь ногой розоватой.
Веселые, милые, белые-белые виллы...

Но взмыла вода. Ликующий берег исчез.
Зрачки изумленно впиваются в зыбкие скаты.
О, если б на пухнущий вал, отдуваясь и ухая, влез
Подводный играющий дьявол, пузатый-пузатый!..
Верхом бы на нем бы — в море... далеко...
далеко...

Соленым, холодным вином захлебнулись уста.
Сбегает вода, и шипит светло-пепельный гравий.
Душа обнажилась до дна, и чиста, и пуста —
Ни дней, ни людей, ни идей, ни имен, ни заглавий...
Сейчас разобьюсь-растворюсь и о берег лениво
ударю.

1912
Капри

* * *

На веранде кромешная тьма.
По брезенту лопочут потоки...
Спят сады и дома.
Ветер дышит упруго в глаза и кусает горячие щеки...
Олеандр шелестит у стены,
Под верандой какие-то тигры бушуют в таверне,
А вокруг теплый сон тишины
В колыбели вечерней...
За спиною квадрат освещенных дверей.
На столе розовеют приборы,
Белобрюхая камбала — нежное чудо морей,
Сыр, вино, помидоры...

В переулке сквозь дождь зазвенели по плитам шаги.
«Кто идет?» — «Боттичелли!»
Русский нос, борода, сапоги,
Черный плащ до панели.
Улыбаясь, в столовую мирно идем,
На бокале огонь, словно солнечный луч в брилланте.
Хорошо под бурчащим дождем
В светлой комнате пить молодое киянти!..
Пить киянти, шутить и молчать,
Над раскрытою папкой склоняться к офортам,
Сигарету крепчайшую зверски сосать
И смеяться раскатистым чертом...

1912
Капри

* * *

Там внизу синеет море.
Даль — как сон.
Сколько нас сегодня в сборе?
Три, четыре, семь персон.
У художницы Маревны
Роза в желтых волосах,
А глаза воды синей...
Я бедней:
У меня дрожит плачевно
Только крошка на усах...
Эй, синьор, графин наш пуст!
После жирных макарон
Надо пить!
Тихих волн дремотный хруст.
Даль — как сон...
Парусина над нами надулась — едва, едва...
В сонном море сквозит всё синей синева.
Скалы меркнут на солнце и тихо кружатся в глазах.
Волны ровно и глухо гудят на низах, —
И хозяйская дочка, склонившись, стройна и легка,
Подает золотой виноград, улыбаясь слегка...

1912
Капри

НАД МОРЕМ

Над плоской кровлей древнего храма
Запели флейты морского ветра.
Забилась шляпа, и складки фетра
В ленивых пальцах дыбятся упрямо.

Направо море — зеленое чудо.
Налево — узкая лента пролива.
Внизу безумная пляска прилива
И острых скал ярко-желтая груда.

Крутая барка взрезает гребни,
Ныряет, рвется и всё смелеет,
Раздулся парус — с холста алеет
Петух гигантский с подъятым гребнем.

Глазам так странно, душе так ясно:
Как будто здесь стоял я веками,
Стоял над морем на древнем храме
И слушал ветер в дремоте бесстрастной.

1912
Portovenere. Spezia

ЛУКАВАЯ СЕРЕНАДА

О Розина!
Какая причина,
Что сегодня весь день на окошке твоем жалюзи?
Дело было совсем на мази —
Ты конфеты мои принимала,
Ты в ресницы меня целовала, —
А теперь, под стеною, в грязи,
Безнадежно влюбленный,
Я стою, словно мул истомленный,
С мандолиной в руках,
Ах!

О Розина!
Ты чище жасмина...
Это знает весь дом как вполне установленный факт.
Но, забывши и клятвы и такт,

Почему ты с художником русским
В ресторане кутила французском?!
        Пусть пошлет ему бог катаракт!
        Задушу в переулке повесу...
Закажу похоронную мессу
И залью шерри-бренди свой грех...
                        Эх!

                    О Розина!
Умираю от сплина...
Я сегодня по почте, мой друг, получил гонорар...
Нарядись в свое платье веселого цвета «омар», —
Поплывем мы к лазурному гроту,
Дам гребцам тридцать лир за работу,
        В сердце алый зардеет пожар —
        В складках нежного платья
Буду пальцы твои целовать я,
Заглушая мучительный вздох...
                        Ох!

                    О Розина!
Дрожит парусина...
Быстрый глаз твой с балкона лукаво стрельнул
                                        и пропал,
В небе — вечера нежный опал.
Ах, на лестнице тихо запели ступени,
Подгибаются сладко колени, —
        О, единственный в мире овал!
        Если б мог свое сердце к порогу,
Как ковер, под прекрасную ногу
Я б швырнул впопыхах...
                        Ах!

1912
Капри

ЧЕЛОВЕК

Жаден дух мой! Я рад, что родился
И цвету на всемирном стволе.
Может быть, на Марсе и лучше,
Но ведь мы живем на Земле.

Каждый ясный — брат мой и друг мой,
Мысль и воля — мой щит против «всех»,
Лес и небо — как нежная правда,
А от боли лекарство — смех.

Ведь могло быть гораздо хуже:
Я бы мог родиться слепым,
Или платным предателем лучших,
Или просто камнем тупым...

Всё случайно. Приятно ль быть волком?
О, какая глухая тоска
Выть от вечного голода ночью
Под дождем у опушки леска...

Или быть безобразной жабой,
Глупо хлопать глазами весь век
И любить только смрад трясины...
Я доволен, что я человек.

Лишь в одном я завидую жабе, —
Умирать ей, должно быть, легко:
Бессознательно вытянет лапки,
Пробурчит и уснет глубоко.

<1912>

ПРИЗРАКИ

Неспокойно сердце бьется, в доме всё живое спит,
Равномерно, безучастно медный маятник стучит...
За окном темно и страшно, ветер в бешенстве слепом
Налетит с разбега в стекла — звякнут стекла,
вздрогнет дом,
И опять мертво и тихо... но в холодной тишине
Кто-то крадучись, незримый, приближается ко мне.
Я лежу похолоделый, руки судорожно сжав,
Дикий страх сжимает сердце, давит душу, как удав...
Кто неслышными шагами в эту комнату вошел?
Чьи белеющие тени вдруг легли на темный пол?
Тише, тише... Это тени мертвых, нищих, злых недель
Сели скорбными рядами на горячую постель.
Я лежу похолоделый, сердце бешено стучит,

В доме страшно, в доме тихо, в доме всё живое спит.
И под вой ночного ветра и под бой стенных часов
Из слепого мрака слышу тихий шепот вещих слов:
«Быть беде непоправимой, оборвешься, упадешь —
И к вершине заповедной ты вовеки не дойдешь».
Ночь и ветер сговорились: «Быть несчастью, быть беде!»
Этот шепот нестерпимый слышен в воздухе везде,
Он из щелей выползает, он выходит из часов —
И под это предсказанье горько плакать я готов!..
Но блестят глаза сухие и упорно в тьму глядят,
За окном неугомонно ставни жалобно скрипят,
И причудливые тени пробегают по окну.
Я сегодня до рассвета глаз усталых не сомкну.

1906

* * *

Замираю у окна.
Ночь черна.
Ливень с плеском лижет стекла.
Ночь продрогла и измокла.
Время сна.
Время тихих сновидений,
Но тоска прильнула к лени,
И глаза ночных видений
Жадно в комнату впились.
Закачались, унеслись.
Тихо новые зажглись...
Из-за мокрого стекла
Смотрят холодно и строго,
Как глаза чужого бога, —
А за ними дождь и мгла.
Лоб горит.
Ночь молчит.
Летний ливень льнет и льется.
Если тело обернется, —
Будет свет,
Лампа, стол, пустые стены,
Размышляющий поэт
И глухой прибой вселенной.

1907

НА КЛАДБИЩЕ

Весна или серая осень?
Березы и липы дрожат.
Над мокрыми шапками сосен
Тоскливо вороны кружат.

Продрогли кресты и ограды,
Могилы, кусты и пески,
И тускло желтеют лампады,
Как вечной тоски маяки.

Кочующий ветер сметает
С кустарников влажную пыль.
Отчаянье в сердце вонзает
Холодный железный костыль...

Упасть на могильные плиты,
Не видеть, не знать и не ждать,
Под небом навеки закрытым
Глубоко уснуть и не встать...

<1910>

* * *

У моей зеленой елки
Сочно-свежие иголки,
Но, подрубленный под корень, в грубых ранах нежный ствол.

Освещу ее свечами,
Красно-желтыми очами, —
И поставлю осторожно на покрытый белый стол.

Ни цветных бумажных пташек,
Ни сусальных деревяшек
Не развешу я на елке, бедной елочке моей.

Пестрой тяжестью ненужной
Не смущу расцвет недужный
Обреченных, но зеленых, пышно никнущих ветвей.

Буду долго и безмолвно
На нее смотреть любовно,
На нее, которой больше не видать в лесу весны.

Не видать густой лазури
И под грохот снежной бури
Никогда не прижиматься к телу мачтовой сосны!

Не расти, не подыматься,
С вольным ветром не венчаться
И смолы не лить янтарной в тихо льющийся ручей...

О, как тускло светят свечи —
Панихидные предтечи
Долгих дней, и долгих вздохов, и заплаканных ночей...

Тает воск. Трещат светильни.
Тени зыблются бессильно,
Умирают, оживают, пропадают и растут.

Юной силой иглы пахнут.
О, быть может, не зачахнут?
О, быть может, новый корень прорастет... сейчас...
вот тут...

<1909>

ДОЖДЬ

Сквозь распластанные ветки
Мокрых, никнущих берез
Густо затканные сетки
Нижут нити частых слез.

На трепещущие листья
Капли крупные летят,
И печальных сосен кисти
Чуть кивают ветру в лад.

А в просветах, где вершины
Одиноко смотрят ввысь,
Однотонной паутиной
Тучи тусклые сплелись.

Острый ветер бродит в чаще,
Хлещет каплями в окно.
Дождь ровней, скучней и чаще
Раскружил веретено.

Закрываешь тихо веки —
Но далекий плач не стих:
Небу скорбному вовеки
Слез не выплакать своих.

<1910>

У БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

1

Ольховая роща дрожит у морского обрыва,
Свежеющий ветер порывисто треплет листву,
Со дна долетают размерные всплески и взрывы,
И серый туман безнадежно закрыл синеву.
Пары́, как виденья, роятся, клубятся и тают,
Сквозь влажную дымку маячит безбрежная даль,
Далекие волны с невидимым небом сливают
Раздолье и холод в жемчужно поющую сталь.
А здесь, на вершине, где крупная пыль водяная
Осыпала старые камни, поблекшие травы и мхи, —
Поднялся лиловый репейник, и эта улыбка цветная
Нежнее тумана и дробного шума ольхи...

2

Гнется тростник и какая-то серая травка,
Треплются ивы по ветру туда и сюда,
Путник далекий мелькает в песках, как булавка,
Полузарытые бревна лижет морская вода.
Небо огромно, и тучи волнисты и сложны,
Море шумит, и не счесть белопенных валов.
Ветер метет шелестящий песок бездорожный,
Мерно за дюнами пенье сосновых стволов.
Я как песчинка пред этим безбрежным простором,
Небо и море огромны, дики и мертвы, —
К тесным стволам прижимаюсь растерянным взором
И наклоняюсь к неясному шуму травы.

3

Ветер борется с плащом
И дыханье обрывает.
Ветер режущим бичом
Черный воздух рассекает.
В небе жутко и темно.
Звезды ежатся и стынут.
Пляска волн раскрыла дно,
Но сейчас другие хлынут.
Трепыхаются кусты —
Захлебнулись в вихре диком.
Из бездонной пустоты
Веет вечным и великим.
Разметались космы туч
И бегут клочками к югу.
На закате робкий луч
Холодеет от испуга.
Волны рвутся и гремят,
Закипают тусклой пеной,
И опять за рядом ряд
Налетает свежей сменой.
Только лампа маяка
Разгорается далеко,
Как усталая тоска,
Как задумчивое око.

4

Еле льющаяся зыбь вяло плещется у пляжа.
Из огромных облаков тихо лепятся миражи.
Словно жемчуг в молоке, море мягко, море чисто,
Только полосы сквозят теплотою аметиста.
Солнце низко у воды за завесой сизой тучи
Шлет вишневый страстный цвет, тускло матовый,
но жгучий.
Мокрый палевый песок зашуршит, блеснет водою,
И опять сырая нить убегает за волною.
Горизонт спокойно тих, словно сдержанная нежность,
Гаснут тени парусов, уплывающих в безбрежность, —
Эти тучи и вода с каждым мигом всё чудесней
Чуть баюкают закат колыбельной сонной песней...

5

Видно, север стосковался
По горячим южным краскам —
Не узнать сегодня моря, не узнать сегодня волн...

Зной над морем разметался,
И под солнечною лаской
Весь залив до горизонта синевой прозрачной полн.

На песке краснеют ивы,
Греют листья, греют прутья,
И песок такой горячий, золотистый, молодой!

В небе облачные нивы
На безбрежном перепутье
Собрались и янтарятся над широкою водой.

<1910>

СНЕГИРИ

На синем фоне зимнего стекла
В пустой гостиной тоненькая шведка
Склонилась над работой у стола,
Как тихая наказанная детка.

Суровый холст от алых снегирей
И палевых снопов — так странно мягко-нежен.
Морозный ветер дует из дверей,
Простор за стеклами однообразно-снежен.

Зловеще-холодно растет седая мгла.
Немые сосны даль околдовали.
О снегири, где милая весна?..

Из длинных пальцев падает игла,
Глаза за скалы робко убежали.
Кружатся хлопья. Ветер. Тишина.

1911
Кавантсари

ИЗ ФЛОРЕНЦИИ

В старинном городе, чужом и странно близком,
Успокоение мечтой пленило ум.
Не думая о временном и низком,
По узким улицам плетешься наобум...

В картинных галереях — в вялом теле
Проснулись все мелодии чудес,
И у мадонн чужого Боттичелли,
Не веря, служишь столько тихих месс...

Перед Давидом Микельанджело так жутко
Следить, забыв века, в тревожной вере
За выраженьем сильного лица!

О, как привыкнуть вновь к туманным суткам,
К растлениям, самоубийствам и холере,
К болотному терпенью без конца?..

<1910>

* * *

Если летом по бору кружить,
Слушать свист неведомых птиц,
Наклоняться к зеленой стоячей воде,
Вдыхать остро-свежую сырость и терпкие смолы
И бездумно смотреть на вершины,
Где ветер дремотно шумит, —
Так всё ясно и просто...

Если наглухо шторы спустить
И сидеть у стола, освещенного мирною лампой,
Отдаваясь глубоким страницам любимых поэтов,
И потом, оторвавшись от букв,
Удивленному сердцу дать полную волю, —
Так всё ясно и близко...

Если слушать, закрывши глаза,
Как в притихшем наполненном зале

Томительно-сдержанно скрипки вздыхают,
И расплавить, далекому зову вверяясь,
Железную горечь в туманную боль, —
Так всё ясно и свято...

<1913>

ОСЕНЬ В ГОРАХ

Как в бёкли́новских картинах,
Краски странны...
Мрачны ели на стремнинах
И платаны.

В фантастичном беспорядке
Перспективы —
То пологие площадки,
То обрывы.

Лес растет стеной, взбираясь
Вверх по кручам,
Беспокойно порываясь
К дальним тучам.

Желтый фон из листьев павших —
Ярче сказки,
На деревьях задремавших
Все окраски.

Зелень, золото, багрянец —
Словно пятна...
Их игра, как дикий танец,
Непонятна.

В вакханалии нестройной
И без линий
Только неба цвет спокойный,
Густо-синий,

Однотонный, и прозрачный,
И глубокий,
И ликующий, и брачный,
И далекий.

Облаков плывут к вершине
      Караваны...
Как в бёклиновской картине,
      Краски странны!

1907
Оденвальд

В ПУТИ

Яркий цвет лесной гвоздики.
Пряный запах горьких трав.
Пали солнечные блики,
Иглы сосен пронизав.

Душно. Скалы накалились,
Смольный воздух недвижим,
Облака остановились
И расходятся, как дым...

Вся в пыли, торчит щетина
Придорожного хвоща.
Над листвой гудит пустынно
Пенье майского хруща.

Сброшен с плеч мешок тяжелый,
Взор уходит далеко...
И плечо о камень голый
Опирается легко.

В глубине сырого леса
Так прохладно и темно.
Тень зеленого навеса
Тайну бросила на дно.

В тишине непереходной
Чуть шуршат жуки травой.
Хорошо на мох холодный
Лечь усталой головой!

И, закрыв глаза, блаженно
Уходить в лесную тишь
И понять, что всё забвенно,
Всё, что в памяти таишь.

<1913>

ИЗ ГЕЙНЕ

* * *

Печаль и боль в моем сердце,
Но май в пышноцветном пылу.
Стою, прислонившись к каштану,
Высоко на старом валу.

Внизу городская канава
Сквозь сон, голубея, блестит,
Мальчишка с удочкой в лодке
Плывет и громко свистит.

За рвом разбросался уютно
Игрушечный пестрый мирок:
Сады, человечки и дачи,
Быки, и луга, и лесок.

Служанки белье расстилают
И носятся, как паруса.
На мельнице пыль бриллиантов
И дальний напев колеса.

Под серою башнею будка
Пестреет у старых ворот,
Молодчик в красном мундире
Шагает взад и вперед.

Он ловко играет мушкетом,
Блеск стали так солнечно ал...
То честь отдает он, то целит.
Ах, если б он в грудь мне попал!

<1911>

* * *

За чаем болтали в салоне
Они о любви по душе:
Мужья в эстетическом тоне,
А дамы с нежным туше.

«Да будет любовь платонична!» —
Изрек скелет в орденах,
Супруга его иронично
Вздохнула с усмешкою: «Ах!»

Рек пастор протяжно и властно:
«Любовная страсть, господа,
Вредна для здоровья ужасно!»
Девица шепнула: «Да?»

Графиня роняет уныло:
«Любовь — кипящий вулкан...»
Затем предлагает мило
Барону бисквит и стакан.

Голубка, там было местечко —
Я был бы твоим vis-à-vis [1], —
Какое б ты всем им словечко
Сказала о нашей любви!

<1911>

* * *

В облаках висит луна
Колоссальным померанцем.
В сером море длинный путь
Залит лунным медным глянцем.

Я один... Брожу у волн,
Где, белея, пена бьется.
Сколько нежных сладких слов
Из воды ко мне несется...

---

[1] Визави (франц.). — *Ред.*

О, как долго длится ночь!
В сердце тьма, тоска и крики.
Нимфы, встаньте из воды,
Пойте, вейте танец дикий!

Головой приникну к вам,
Пусть замрет душа и тело!
Зацелуйте в вихре ласк
Так, чтоб сердце онемело!

<1911>

* * *

Этот юноша любезный
Сердце радует и взоры.
То он устриц мне подносит,
То мадеру, то ликеры.

В сюртуке и модных брючках,
В модном бантике кисейном,
Каждый день приходит утром,
Чтоб узнать, здоров ли Гейне?

Льстит моей широкой славе,
Грациозности и шуткам,
По моим делам с восторгом
Всюду носится по суткам.

Вечерами же в салонах
С вдохновенным выраженьем
Декламирует девицам
Гейне дивные творенья.

О, как радостно и ценно
Обрести юнца такого!
В наши дни ведь джентельмены
Стали редки до смешного.

<1911>

ШТИЛЬ

Море дремлет... Солнце стрелы
С высоты свергает в воду.
И корабль в дрожащих искрах
Гонит хвост зеленых борозд.

У руля на брюхе боцман
Спит и всхрапывает тихо.
Весь в смоле, у мачты юнга,
Скорчась, чинит старый парус.

Сквозь запачканные щеки
Краска вспыхнула, гримаса
Рот свела, и полон скорби
Взгляд очей — больших и нежных.

Капитан над ним склонился,
Рвет и мечет, и бушует:
«Вор и жулик! Из бочонка
Ты, злодей, стянул селедку!»

Море дремлет... Из пучины
Рыбка-умница всплывает,
Греет голову на солнце
И хвостом игриво плещет.

Но из воздуха, как камень,
Чайка падает на рыбку —
И с добычей легкой в клюве
Вновь в лазурь взмывает чайка.

<1911>

Из книги третьей

«ЖАЖДА»

ВОЙНА

ПЕСНЯ ВОЙНЫ

Прошло семь тысяч пестрых лет —
Пускай прошло, ха-ха!
Еще жирнее мой обед,
Кровавая уха...
    Когда-то эти дураки
    Дубье пускали в ход
    И, озверев, как мясники,
    Калечили свой род:
        Женщин в пламень,
        Младенцев о камень,
        Пленных на дно —
        Смешно!

Теперь наука — мой мясник,
Уже средь облаков
Порой взлетает хриплый крик
Над брызгами мозгов.
    Мильоны рук из года в год
    Льют пушки и броню,
    И всё плотней кровавый лед
    Плывет навстречу дню.
        Вопли прессы,
        Мессы, конгрессы,
        Жены — как ночь...
        Прочь!

Кто всех сильнее, тот и прав,
А нужно доказать, —

Расправься с дерзким, как удав,
Чтоб перестал дышать!
Враг тот, кто рвет из пасти кость,
Иль — у кого ты рвешь.
Я на земле — бессменный гость,
И мир — смешная ложь!
Укладывай в гроб
Прикладами в лоб,
Штыки в живот, —
Вперед!

Между 1914 и 1917

СБОРНЫЙ ПУНКТ

На Петербургской стороне, в стенах военного училища,
Столичный люд притих и ждет, как души бледные — чистилища.
Сгрудясь пугливо на снопах, младенцев кормят грудью женщины, —
Что́ горе их покорных глаз пред темным грохотом военщины?
Ковчег-манеж кишит толпой. Ботфорты чавкают и хлюпают.
У грязных столиков врачи нагое мясо вяло щупают.
Над головами в полумгле проносят баки с дымной кашею.
Оторопелый пиджачок, крестясь, прощается с папашею...
Скользят галантно писаря, — бумажки треплются под мышками,
В углу, невинный василек, хохочет девочка с мальчишками.
У всех дверей, склонясь к штыкам, торчат гвардейцы меднолицые,
И женский плач, звеня в висках, пугает близкой небылицею...
А в стороне, сбив нас в ряды — для всех чужие и безликие, —
На спинах мелом унтера коряво пишут цифры дикие.

1914

НА ФРОНТ

За раскрытым пролетом дверей
Проплывают квадраты полей,
Перелески кружатся и веют одеждой зеленой,
И бегут телеграфные нити грядой монотонной...
Мягкий ветер в вагон луговую прохладу принес
Отчего так сурова холодная песня колес?

Словно серые птицы, вдоль нар
Никнут спины замолкнувших пар —
Люди смотрят туда, где сливается небо с землею,
И на лицах колеблются тени угрюмою мглою.
Ребятишки кричат и гурьбою бегут под откос.
Отчего так тревожна и жалобна песня колес?

Небо кротко и ясно, как мать, —
Стыдно бледные губы кусать!
Надо выковать новое, крепкое сердце из стали
И забыть те глаза, что последний вагон провожали.
Теплый ворот шинели шуршит у щеки и волос, —
Отчего так нежна колыбельная песня колес?

Август 1914

РЕПЕТИЦИЯ

Соломенное чучело
Торчит среди двора.
Живот шершавый вспучило, —
А сбоку детвора.

Стал лихо в позу бравую,
Штык вынес, стиснул рот,
Отставил ногу правую,
А левую — вперед.

Несусь, как конь пришпоренный:
«Ура! Ура! Ура!»
Мелькает строй заморенный,
Пылища и жара...

Сжал пальцы мертвой хваткою,
Во рту хрустит песок,
Шинель жжет ребра скаткою,
Грохочет котелок.

Легко ли рысью — пешему?
А рядом унтер вскачь:
«Коли! Отставить! К лешему...»
Нет пафоса, хоть плачь.

Фельдфебель, гусь подкованный,
Басит среди двора:
«Видать, что образованный...»
Хохочет детвора.

Между 1914 и 1917

ПРИВАЛ

У походной кухни лентой —
Разбитная солдатня.
Отогнув подол брезента,
Кашевар поит коня...

В крышке гречневая каша,
В котелке дымятся щи.
Небо — синенькая чаша,
Над лозой гудят хрущи.

Сдунешь к краю лист лавровый,
Круглый перец сплюнешь вбок,
Откроишь ломо́ть здоровый,
Ешь и смотришь на восток.

Спать? Не клонит... Лучше к речке —
Гимнастерку простирать.
Солнце пышет, как из печки.
За прудом темнеет гать.

Желтых тел густая каша,
Копошась, гудит в воде...
Ротный шут, ефрейтор Яша,
Рака прячет в бороде.

А у рощицы тенистой
Сел четвертый взвод в кружок.
Русской песней голосистой
Захлебнулся бережок.

Солнце выше, песня лише:
«Таракан мой, таракан!»
А басы ворчат всё тише:
«Заполз Дуне в сарафан...»

Между 1914 и 1917

ПИСЬМО ОТ СЫНА

Хорунжий Львов принес листок,
Измятый розовый клочок,
И фыркнул: «Вот писака!»
    Среди листка кружок-пунктир,
    В кружке каракули: «Здесь мир»,
    А по бокам: «Здесь драка».

В кружке царила тишина:
Сияло солнце и луна,
Средь роз гуляли пары,
    А по бокам толпа чертей,
    Зигзаги огненных плетей
    И желтые пожары.

Внизу, в полоске голубой:
«Ты не ходи туда, где бой.
Целую в глазки. Мишка».
    Вздохнул хорунжий, сплюнул вбок
    И спрятал бережно листок:
    «Шесть лет. Чудак, мальчишка!..»

Между 1914 и 1917

В ОПЕРАЦИОННОЙ

В коридоре длинный хвост носилок...
Все глаза слились в тревожно-скорбный
                                        взгляд, —
Там, за белой дверью, красный ад:
Нож визжит по кости, как напилок, —

Острый, жалкий и звериный крик
В сердце вдруг вонзается, как штык...
За окном играет майский день.
Хорошо б пожить на белом свете!
Дома — поле, мать, жена и дети, —
Всё темней на бледных лицах тень.

А там, за дверью, костлявый хирург,
Забрызганный кровью, словно пятнистой вуалью,
Засучив рукава,
Взрезает острою сталью
Зловонное мясо...
Осколки костей
Дико и странно наружу торчат,
Словно кричат
От боли.
У сестры дрожит подбородок,
Чад хлороформа — как сладкая водка;
На столе неподвижно желтеет
Несчастное тело.
Псковйч-санитар отвернулся,
Голую ногу зажав неумело,
И смотрит, как пьяный, на шкап...
На полу безобразно алеет
Свежим отрезом бедро.
Полное крови и гноя ведро...
За стеклами даль зеленеет,
Чета голубей
Воркует и ходит бочком вдоль карниза.
Варшавское небо — прозрачная риза —
Всё голубей...

Усталый хирург
Подходит к окну, жадно дымит папироской,
Вспоминает родной Петербург
И хмуро трясет на лоб набежавшей прической:
Каторжный труд!
Как дрова, их сегодня несут,
Несут и несут без конца...

Между 1914 и 1917

ЧУЖАЯ КВАРТИРА

Поручик Жмых, сорвав с дверей печать,
Нас водворил в покинутой квартире:
Железная разрытая кровать,
На синей печке кафельные лиры,
На стенке, позабытый впопыхах,
Портрет приготовишки в новой форме.
Лишь час назад, на чьих-то сундуках,
Мы под дождем дрожали на платформе.
Чужой уют... Увы, не в первый раз
Влезали мы в покинутые гнезда...
Кто у окна, не осушая глаз,
В последний час сквозь сад смотрел на звезды?
Кто вырос здесь, в уездном городке,
Под сенью лип и старого костела?
Фонарь дрожит в протянутой руке,
Нырнула мышь у шкафа в щелку пола...
«Где чайник, эй?» Раскрыт походный стол.
Трещит свеча в замусленной бутылке,
И вестовой, работая как вол,
У светлой печки сало жжет на вилке.
Штабс-капитан, разрыв до дна чулан,
Вернулся с книжкой и смеется: «Чехов!»
Спирт на столе. Кряхтит старик-диван.
Закуска? Хлеб и горсти две орехов...
А завтра вновь отхлынем мы назад.
И, может быть, от этого уюта
Останется обугленный фасад, —
И даже мышь не сыщет здесь приюта.
Храпят носы из серых одеял...
Не оторвать ресниц от милой книжки!
А с койки кто-то сонно пробурчал:
«Возьми с собой портрет приготовишки».

Между 1914 и 1917
Замброво

ОТСТУПЛЕНИЕ

Штабы поднялись. Оборвалась торговля и труд.
Весь день по шоссе громыхают обозы.
Тяжелые пушки, как дальние грозы,
За лесом ревут.

Кругом горизонта пылают костры:
Сжигают снопы золотистого жита,—
Полнеба клубами закрыто...
Вдоль улицы — нищего скарба бугры.
Снимаются люди — бездомные птицы-скитальцы,
Фургоны набиты детьми, лошаденки дрожат...
Вдали по жнивью, обмотав раздробленные пальцы,
Угрюмо куда-то шагает солдат.
Возы и двуколки, и кухни, и девушка с клеткой
в телеге,
Поток бесконечных колес,
Тревожная мысль о ночлеге,
И в каждых глазах торопливо-пытливый вопрос.
Встал месяц — оранжевый щит,
Промчались казаки. Грохочут обозы,—
Всё глуше и глуше невидимых пушек угрозы...
Всё громче бездомное сердце стучит.

Между 1914 и 1917

СЕСТРА

Сероглазая женщина с книжкой присела на койку
И, больных отмечая вдоль списка на белых полях,
То за марлей в аптеку пошлет санитара Сысойку,
То, склонившись к огню, кочергой помешает в углях.

Рукавица для раненых пляшет, как хвост трясогузки,
И крючок равномерно снует в освещенных руках,
Красный крест чуть заметно вздыхает на серенькой
блузке,
И, сверкая починкой, белье вырастает в ногах.

Можно с ней говорить в это время о том и об этом,
В коридор можно, шаркая туфлями, тихо уйти —
Удостоит, не глядя, рассеянно-кротким ответом,
Но починка, крючок и перо не собьются с пути.

Целый день она кормит и чинит, склоняется к ранам,
Вечерами, как детям, читает больным «Горбунка»,
По ночам пишет письма Иванам, Петрам и Степанам,
И луна удивленно мерцает на прядях виска.

У нее в уголке, под лекарствами, в шкафике белом,
В грязно-сером конверте хранится армейский приказ:
Под огнем из-под Ломжи в теплушках, спокойно
и смело,
Всех, в боях позабытых, она вывозила не раз.

В прошлом — мирные годы с родными в безоблачном
Пскове,
Беготня по урокам, томленье губернской весны...
Сон чужой или сказка? Река человеческой крови
Отделила ее навсегда от былой тишины.

Покормить надо с ложки безрукого парня-сапера,
Казака надо ширмой заставить — к рассвету умрет.
Под палатой галдят фельдшера. Вечеринка иль ссора?
Балалайка затенькала звонко вдали у ворот.

Зачинила сестра на халате последнюю дырку,
Руки вымыла спиртом — так плавно качанье плеча,
Наклонилась к столу и накапала капель в пробирку,
А в окошке над ней вентилятор завился, журча.

Между 1914 и 1917

НА ПОПРАВКЕ

Одолела слабость злая,
Ни подняться, ни вздохнуть:
Девятнадцатого мая
На разведке ранен в грудь.

Целый день сижу на лавке
У отцовского крыльца.
Утки плещутся в канавке,
За плетнем кричит овца.

Всё не верится, что дома...
Каждый камень — словно друг.
Ключ бежит тропой знакомой
За овраг в зеленый луг.

Эй, Дуняша, королева,
Глянь-ка, воду не пролей!
Бедра вправо, ведра влево,
Пятки сахара белей.

Подсобить? Пустое дело!..
Не удержишь, поплыла,
Поплыла, как лебедь белый,
Вдоль широкого села.

Тишина. Поля глухие,
За оврагом скрип колес...
Эх, земля моя Россия,
Да хранит тебя Христос!

1916

ОАЗИС

«Они войдут в сады эдемские, по которым текут реки: там для них всё, чего ни захотят».

(Коран, гл. 16, ст. 33)

Когда душа мрачна, как гроб,
И жизнь свелась к краюхе хлеба,
Невольно подымаешь лоб
На светлый зов бродяги Феба, —

И смех, волшебный алкоголь,
Наперекор земному аду,
Звеня, укачивает боль,
Как волны мертвую наяду...

Любой зеленый летний день,
Домишко, елка у оврага,
Добряк-приятель, зной и тень —
Волнуют небывалой сагой...

Сядь, Муза, вот тебе канва, —
Распутай все шелка и гарус,
И пусть беспечные слова
Заткут узором вольным парус!

Матвей Степаныч, адвокат,
Владелец хутора под Вильно,
Изящно выгнув торс назад,
Сказал с улыбкою умильной:

«Ну что ж, задумчивый поэт,
Махнем-ка к тетушке на хутор?
Там воздух сладок, как шербет,
Там есть и сыр, и хлеб, и буттер»...

И вот пошли. Плывут поля...
Гудит веселый столб букашек.
Как паруса вдоль корабля,
Надулись пазухи рубашек.

Бормочет пьяный ветерок,
От елок тянет скипидаром,
Степаныч жарит сквозь песок,
А я за ним плетусь омаром.

Пришли! Внизу звенит река
Живой и синенькой полоской.
Вверху с ужимкой старика
Присел на горке домик плоский.

На кухне тетушка стучит.
В столовой солнце — древний пращур...
Матвей Степаныч ест как кит,
А я — как допотопный ящур!

Еда — не майский горизонт
И не лобзание русалки,
Но без еды и сам Бальмонт
В неделю станет тоньше палки...

Господь дал зубы нам и пасть
(Но, к сожаленью, мало пищи), —
За целый тощий месяц всласть
Наелись мы по голенище!..

Ведро парного молока,
Горшок смоленской жирной каши,
Бедро соленого быка
И две лоханки простокваши!!

Набив фундамент, адвокат
Идет, икая, на крылечко.

Я — сзади, выпучив фасад,
Как растопыренная печка.

Перед крыльцом свирепый пес
Раскрыл зловеще глазенапы,
Но вдруг раздумал, поднял нос
И положил на грудь мне лапы.

Сирень, как дьявол, расцвела,
Глотаю воздух жадной глоткой.
Над носом дзыкает пчела,
И машет липа мощной щеткой.

Пошли в лесок и сели в тень.
Степаныч сунул в рот былинку,
Надвинул шляпу набекрень
И затянул свою волынку:

«Интеллигентный блудный сын,
К сосцам земли припал я снова...
Как жук, взобравшийся на тын,
Душа в лазурь лететь готова!

Старик Руссо вполне был прав:
Рок горожан ужасно тяжек...
Как славно средь коров и трав
Дня три прошляться без подтяжек!

Поесть, поспать, пойти в поля,
Присесть с пастушкой возле ели...
Земля! Да здравствует земля!..
Какого черта в самом деле!..»

«Какой, — вздохнул я, — там Руссо!
Здесь — хутор, в городе — клиенты.
Лицо — как круглое серсо...
Бывают, брат, милей моменты:

Пиджак редеет, как вуаль,
В желудке — совестно поведать...»
Племянник, пасть уставив вдаль,
Орет нам издали: «О-бе-дать!»

Опять едим! О, суп с лапшой,
Весь в жирных глазках, желтый, пылкий...
На стул трехногий сев пашой,
Степаныч ест, как молотилка...

«Что слышно в городе?» — «Угу!»
Напрасно тетушка спросила:
Кто примостился к пирогу,
Тот лаконичен, как могила...

В гостиной — рыхлая софа,
На дне софы — живот и пятки.
Дымится трубочка. Лафа!
Синьор, уснули? Взятки гладки.

Как морж, храпит мой визави,
На лбу колышется газета.
И мухи в бешенстве любви
Жужжа флиртуют вдоль жилета.

На стенке в бусах и в чадре
Висит грудастый бюст Тамары.
Запели пилы на дворе,
Душа напевнее гитары...

Шуршат страницы под рукой:
«Война и мир», «Новейший сонник».
Слежу, прильнув к столу щекой,
Как едет в небо подоконник.

Но вот в стекло ползет закат,
Краснея, словно алкоголик.
В столовой мисками стучат...
Не обойтись, увы, без колик!

Кряхтя, приятель мой встает,
Ворчит спросонья заклинанья
И долго смотрит на живот,
Как Чингисхана изваянье.

Хлопочет тетушка опять
И начиняет нас, как уток.

Вдвоем пудов, пожалуй, с пять
Съедим мы здесь в теченье суток.

«Матвей, дай гостю бурачков...»
Трещат все швы! Жую, как пьяный, —
А сон, знай, мажет вдоль зрачков
Тягучим клейстером нирваны.

Племянник Степа, свесив зоб,
Сопит и тычет гвоздь в винтовку.
Лень встать, а то как ахнет в лоб,
Так будешь к празднику с обновкой...

Клокочет толстый самовар.
Внутри — четыре круглых рожи...
Зудит, как муха, сонный пар.
Внизу рычит ночной прохожий.

Бросаем «Ниву» к псам под стол, —
Пред тетушкой склоняем шею,
И, зверски вдавливая пол,
Плетемся к старичку Морфею.

Увы, ужасный диссонанс!
О, где перо Торквато Тассо?!
Мильоны блох, прервав свой транс,
Вонзились сразу в наше мясо.

На чреве, бедрах и боках
Мы били их, как львов в Сахаре!
Крутили яростно в перстах,
На свечке жгли... Какие твари!..

Мой друг в рубашке на полу
Сидел, бледнее туберозы,
И принимал, гремя хулу,
Невероятнейшие позы...

Едва к рассвету замер бой.
Вокруг кольцом белье мерцало.
Лохматый, сонный и рябой,
Я влез с башкой под одеяло

И слышал, как, во сне бурля,
Степаныч ерзал по постели:
«Земля! Да здравствует земля!
Какого черта в самом деле!..»

1919
Вильна

ЯБЛОКИ

На рогатинах корявых ветви грузные лежат,
Гроздья яблок нависают, как гигантский виноград..
Их весь день румянит солнце, обвевает ветерок,
И над ними сонно вьется одуревший мотылек.
А внизу скосили травы, сохнет блеск густых рядов,
И встревоженные пчелы ищут, жалуясь, цветов...
Сколько яблок! В темных листьях сквозь узлы тугих сетей
Эти — ярче помидоров, те — лимонов золотей.
Подойдешь к тяжелой ветке и, зажмуривши глаза,
Дух их радостный вдыхаешь, как хмельная стрекоза...
Посмотри! Из-под забора поросята влезли в сад, —
Приманил и их, как видно, духовитый аромат:
Оглянулись вправо-влево, как бы не было беды,
И накинулись гурьбою на опавшие плоды.
Ходят ноги, ходят уши, ходят хвостики винтом,
А взволнованная кошка притаилась за кустом...
Непонятно ей и странно: разве яблоки еда?
В синем небе сонно тает белоснежная гряда.
И до самого забора, до лохматой бузины
Гроздья яблок расцветили тень зеленой глубины.
Пахнет осенью и медом, пахнет яблочным вином,
Петушок веселым басом распевает за гумном...

<1921>

* * *

На миг забыть — и вновь ты дома:
До неба — тучные скирды,
У риги — пыльная солома,
Дымятся дальние пруды;

Снижаясь, аист тянет к лугу,
Мужик коленом вздел подпругу, —
Всё до пастушьей бороды,
Увы, так горестно знакомо!
И бор, замкнувший круг небес,
И за болотцем плеск речонки,
И голосистые девчонки,
С лукошком мчащиеся в лес...
Ряд новых изб вдаль вывел срубы,
Сады пестреют в тишине,
Печеным хлебом дышат трубы,
И Жучка дремлет на бревне.
А там, под сливой, где белеют
Рубахи вздернутой бока, —
Смотри, под мышками алеют
Два кумачовых лоскутка!
Но как забыть? На облучке
Трясется ксендз с бадьей в охапке;
Перед крыльцом, склонясь к луке,
Гарцует стражник в желтой шапке;
Литовской речи плавный строй
Звенит забытою латынью...
На перекрестке за горой
Христос, распластанный над синью.
А там, у дремлющей опушки,
Крестов немецких белый ряд, —
Здесь бой кипел, ревели пушки...
Одни живут — другие спят.

Очнись. Нет дома — ты один:
Чужая девочка сквозь тын
Смеется, хлопая в ладони.
В возах — раскормленные кони,
Пылят коровы, мчатся овцы,
Проходят с песнями литовцы —
И месяц, строгий и чужой,
Встает над дальнею межой...

1920

ПОДАРОК

Видали вы литовские цветные пояса?
Как будто вдоль овса —
Средь маков васильковая струится полоса.

Я у ксендза-приятеля в июле был в гостях:
Средь белых стен, как стяг,
Из поясов настеганных ковер дышал в дверях.

Хозяин сузил щелочки веселых, добрых глаз:
«Понравилось? Алмаз!
От прихожан в день ангела. Хоть шаху напоказ!..»

В окошко к нам таращился подсолнечник дугой,
На скатерти рябой
Штоф сидра, мед, вареники и окорок тугой.

Смеясь, мне ксендз показывал мозоли крепких рук:
Всё сам — и сад, и луг,
И свиньи с поросятами, и огород, и плуг».

Мадонна в звездном венчике сияла со стены,
Кот жался у спины.
У сада жеребеночек звенел средь тишины.

Хозяин на прощание полез в свой сундучок:
«На память, мой дружок!»
И подарил мне радужный литовский поясок.

Веселым этим поясом я очень дорожу...
Сказать вам? Я скажу:
Какая книга нравится, ту им и заложу.

1920

АИСТЫ

В воде декламирует жаба,
Спят груши вдоль лона пруда.
Над шапкой зеленого граба
Топорщатся прутья гнезда.

Там аисты, милые птицы,
Семейство серьезных жильцов...
Торчат материнские спицы,
И хохлятся спинки птенцов.

С крыльца деревенского дома
Смотрю — и как сон для меня:
И грохот далекого грома,
И перьев пушистых возня.

И вот... От лугов у дороги,
На фоне грозы, как гонец,
Летит, распластав свои ноги,
С лягушкою в клюве отец.

Дождь схлынул. Замолкли перуны.
На листьях — расплавленный блеск.
Семейство, настроивши струны,
Заводит неслыханный треск.

Трещат про лягушек, про солнце,
Про листья и серенький мох —
Как будто в ведерное донце
Бросают струею горох...

В тумане дороги и цели,
Жестокие черные дни...
Хотя бы, хотя бы неделю
Пожить бы вот так, как они!

<1922>

МОГИЛА В САДУ

В заглохшем саду колыхаются травы.
Широкие липы в медвяном цвету
Подъемлют к лазури кудрявые главы,
И пчелы гудят на лету.
Под липой могила:
Плита и чернеющий орденский крест.
Даль холм обнажила.
Лесные опушки толпятся окрест.

От сердца живого, от глаз, напоенных цветеньем,
К безвестным зарытым костям потянулась печаль...
Кто он, лейтенант-здоровяк, навеки спеленатый тленьем,
Принесший в чужие поля смертоносную сталь?
Над Эльбою в замке
Мать дремлет в стенах опустелых,
А в траурной рамке —
Два глаза, лучистых и смелых...

Литовское небо дрожит от пчелиного хора.
Пушистый котенок лениво прижался к щеке.
Осколок снаряда торчит из земли у забора.
Клуб ржавых колючек сквозь маки сквозит на песке...
Вдали над оврагом
Конь плугом взрывает пласты
И медленным шагом
Обходит густые кусты.

1920

ЧУЖОЕ СОЛНЦЕ

ИЗ ЦИКЛА «С ПРИЯТЕЛЕМ»

1

Сероглазый мальчик, радостная птица,
Посмотри в окошко на далекий склон:
Полосой сбегает желтая пшеница,
И леса под солнцем — как зеленый сон.

Мы пойдем с тобою к ласковой вершине
И орловской песней тишину вспугнем.
Там холмы маячат полукругом синим,
Там играют пчелы над горбатым пнем...

Если я отравлен темным русским ядом,
Ты, веселый мальчик, сероглазый гном...
Свесим с камня ноги, бросим палки рядом,
Будем долго думать каждый о своем.

А потом свернем мы в чащу к букам серым,
Сыроежек пестрых соберем в мешок.
Ржавый лист сквозит там, словно мех пантеры,
Белка нас увидит, вскочит на сучок.

Всё тебе скажу я, всё, что сам я знаю:
О грибах-горкушах, про житье ежей;
Я тебе рябины пышной наломаю...
Ты ее не помнишь у родных межей?

А когда тумана мглистая одежда
Встанет за горой — мы вниз сбежим свистя.
Зрей и подымайся, русская надежда,
Сероглазый мальчик, ясное дитя!..

2

Мы с тобой два знатных иностранца:
В серых куртках, в стоптанных туфлях.
Карусель кружится в ритме танца,
И девчонки ввысь летят в ладьях...
Вдосталь хлеба, смеха и румянца,
Только мы — полынь в чужих полях.

Опустивши худенькие плечи,
Теребишь ты тихо мой мешок
И внимаешь шумной чуждой речи,
Как серьезный, умный старичок.
Ноги здесь, а сердце — там, далече,
Уплывает с тучей на восток.

Над лужком холмов зеленый ярус
Манит нас раздольной тишиной.
Бок шатра надул под ветром парус,
Собачонка лает за спиной...
Карусель взвевает свой стеклярус
И кружится, словно шар земной!

Солнце — наше, горы — тоже наши...
Ты послушай, что поет поток:
В голубой, для всех раскрытой чаше
Тонет всё: и запад, и восток...
Будет жизнь и радостней, и краше...
Хочешь, купим глиняный свисток?

На углу закрякали тромбоны:
Впереди — двенадцать медных труб.
Сзади — пары, девочки-бутоны.
Сколько ярких деревенских губ!
Закачались белые колонны
И пошли плясать в прохладный клуб.

Улыбнись, поправь свою подвязку, —
Веет ветер, в путь зовет, злодей!
Мы в лесу напишем нынче сказку —
Там, где пахнет сыростью груздей, —
Про людей, любивших смех и пляску,
Никого не мучивших людей...

8

Всё местечко засыпает,
На закате — сноп пожаров.
С колокольни долетает
Девять медленных ударов.
Мальчик, спать!
Под немецкую перину, в исполинскую кровать.

Рано? Дай мешок со стула,
Перечтем-ка небылицу,
Как летал кузнец Вакула
На чертенке к нам в столицу.
Знаешь, да?
Эта сказка — словно песня у полтавского пруда...

Кот немецкий в удивленьи
Водит спинкою сутулой.
Ты раскрыл глаза в волненьи,
Ты умчался за Вакулой...
Вечер тих.
Электрическая лампа освещает нас троих.

Прочитали. Спит мальчишка.
Кот колдует на пороге.
На полу — родная книжка,
В небе — месяц златорогий.
Проживем!..
Завтра утром к водопаду на свидание пойдем.

1921

СОЛНЦЕ

На грязь вдоль панели
Из облачной щели
Упали лучи —
Золотые мечи.
Запрыгало солнце
На прутьях балконца,

Расплавилось лавой
На вывеске ржавой.
От глаз через рынок
Столб рыжих пылинок,
Бульдог на повозке
Весь в блеске, весь в лоске,
Отрепья старушки,
Как райские стружки,
Трепещут и блещут,
Сквозят и горят...
В окне ресторанном,
Цветисты и пылки,
Бенгальским фонтаном
Зарделись бутылки.
На шапках мальчишек
Зыбь пламенных вспышек,
Вдоль зеркала луж —
Оранжевый уж...
И даже навоз —
Как клумба из роз.

А там на углу,
Сквозь алую мглу,
Сгибаясь дугой,
На бечевке тугой
Ведет собачонка
Вдоль стен, как ребенка,
Слепого солдата...
И солнце на нем
Пылает огнем.
Оно ль виновато?

Между 1920 и 1923
Берлин

* * *

На берлинском балконе
Солнце греет ладони,
А усатый и дикий густой виноград —
Мой вишневый сегодняшний сад.
Много ль надо глазам?
Наклоняюсь к гудящим возам,
На мальчишек румяных глазею,

А потом в виноград, как в аллею,
Окунаю глаза.
А вверху — бирюза,
Голубой удивительный цвет;
Острогранной больницы сухой силуэт.
Облака.
И стрижей мимолетно живая строка...
Надо мной с переплета жердей
Темно-рыжий комочек глядит на прохожих людей:
Это белка — мой новый и радостный друг...
Жадно водит усами вокруг,
Глазки — черные бусы.
Ветер, солнце и я — ей по вкусу.
Посидит, посидит,
А потом, словно дикий бандит,
Вдруг проскачет галопом по зелени крепкой,
Свесит голову вниз и качается цепко
Над моей головой,
Как хмельной домовой...
Достаю из кармана тихонько орех:
Вмиг мелькнет вдоль плеча переливчатый мех,
И толкает в кулак головой, как в закрытый сарай:
«Открывай!»
Солнце греет ладони,
Посидим на балконе
И уйдем: белка — в ящик со стружками спать,
Я — по комнате молча шагать.

Между 1920 и 1923

ВЕСНА В ШАРЛОТТЕНБУРГЕ

Цветет миндаль вдоль каменных громад.
Вишневый цвет вздымается к балкону.
Трамваи быстрые грохочут и гремят,
И облачный фрегат плывет по небосклону...
И каждый луч, как алая струна.
Весна!

Цветы в петлицах, в окнах, на углах,
Собаки рвут из рук докучные цепочки,

А дикий виноград, томясь в тугих узлах,
До труб разбросил клейкие листочки —
И молодеет старая стена...
Весна!

Играют девочки. Веселый детский альт
Смеется и звенит без передышки.
Наполнив скрежетом наглаженный асфальт,
На роликах несутся вдаль мальчишки,
И воробьи дерутся у окна.
Весна!

В витрине греется, раскинув лапы, фокс.
Свистит маляр. Несут кули в ворота.
Косматые слоны везут в телегах кокс,
Кипит спокойная и бодрая работа...
И скорбь растет, как темная волна.
Весна?

1920 или 1921

* * *

Когда, как бес,
Летишь на санках с гор,
И под отвес
Сбегает снежный бор,
И плещет шарф над сильною рукой —
Не упрекай за то, что я такой!

Из детства вновь
Бегут к глазам лучи...
Проснулась кровь,
В душе поют ключи,
Под каблуком взлетает с визгом снег, —
Благословен мальчишеский разбег!

Но обернись:
Усталый и немой,
Всползаю ввысь,

Закованный зимой...
За легкий миг плачу глухой тоской.
Не упрекай за то, что я такой.

<1923>

МИРАЖ

С девчонками Тосей и Инной
В сиреневый утренний час
Мы вырыли в пляже пустынном
Кривой и глубокий баркас.

Борта из песчаного крема.
На скамьях пестрели кремни.
Из ракушек гордое «Nemo»[1]
Вдоль носа белело в тени.

Мы влезли в корабль наш пузатый.
Я взял капитанскую власть.
Купальный костюм полосатый
На палке зареял, как снасть.

Так много чудес есть на свете!
Земля — неизведанный сад...
«На Яву?» Но странные дети
Шепнули, склонясь: «В Петроград».

Кайма набежавшего вала
Дрожала, как зыбкий опал.
Команда сурово молчала,
И ветер косички трепал...

По гребням запрыгали баки.
Вдали над пустыней седой
Сияющей шапкой Исаакий
Миражем вставал над водой.

---

[1] «Никто» (лат.). — *Ред.*

Горели прибрежные мели,
И кланялся низко камыш:
Мы долго в тревоге смотрели
На пятна синеющих крыш.

И младшая робко сказала:
«Причалим иль нет, капитан?»
Склонившись над кругом штурвала,
Назад повернул я в туман.

<1923>

* * *

Грубый грохот Северного моря.
Грязным дымом стынут облака.
Черный лес, крутой обрыв узоря,
Окаймил пустынный борт песка.
Скучный плеск, пронизанный шипеньем,
Монотонно точит тишину.
Разбивая пенный вал на звенья,
Насыпь душит мутную волну...
На рыбачьем стареньком сарае
Камышинка жалобно пищит,
И купальня дальняя на сваях
Австралийской хижиной торчит.
Но сквозь муть маяк вдруг брызнул светом,
Словно глаз из-под свинцовых век:
Над отчаяньем, над бездной в мире этом
Бодрствует бессонный человек.

1922
Kölpinsee

* * *

Здравствуй, Муза! Хочешь финик?
Или рюмку марсалы?
Я сегодня именинник...
Что глядишь во все углы?

Не сердись: давай ладошку,
Я к глазам ее прижму...
Современную окрошку,
Как и ты, я не пойму.

Одуванчик бесполезный,
Факел нежной красоты!
Грохот дьявола над бездной
Надоел до тошноты...

Подари мне час беспечный!
Будет время — все уснем.
Пусть волною быстротечной
Хлещет в сердце день за днем.

Перед меркнущим камином
Лирой вмиг спугнем тоску!
Хочешь хлеба с маргарином?
Хочешь рюмку коньяку?

И улыбка молодая
Загорелась мне в ответ:
«Голова твоя седая,
А глазам — шестнадцать лет!»

<1923>

МАНДОЛА

Лакированный, пузатый
Друг мой, нежный и певучий,
Итальянская мандола —
Восемь низких гулких струн...
    В час вечерний и крылатый
    Ропот русских перезвучий —
    Слободская баркарола —
    Налетает, как бурун.

Песня бабочкой гигантской
Под карнизами трепещет,

Под ладонью сердце дышит
В раскачавшейся руке...
    В этой жизни эмигрантской
    Даже дождь угрюмей хлещет...
    Но удар струну колышет —
    Песня взмыла налегке.

В старой лампе шепот газа.
Тих напев гудящих звеньев:
Роща, пруд, крутые срубы,
Приозерная трава...
    «Из-под дуба, из-под вяза,
    Из-под липовых кореньев», —
    Вторя песне, шепчут губы
    Изумрудные слова.

Между 1920 и 1923

* * *

Тех, кто страдает гордо и угрюмо,
Не видим мы на наших площадях:
Задавлены случайною работой,
Таятся по мансардам и молчат...
Не спекулируют, не пишут манифестов,
Не прокурорствуют с партийной высоты,
И из своей больной любви к России
Не делают профессии лихой...
Их мало? Что ж... Но только ими рдеют
Последние огни родной мечты.
Я узнаю их на спектаклях русских
И у витрин с рядами русских книг —
По строгому, холодному обличью,
По сдержанной печали жутких глаз...
В Америке, в Каире и в Берлине
Они одни и те же: боль и стыд.
Они — Россия. Остальное — плесень:
Валюта, декламация и ложь,
Развязная, заносчивая наглость,

Удобный символ безразличных — «наплевать»,
Помойка сплетен, купля и продажа,
Построчная истерика тоски
И два десятка эмигрантских анекдотов...

Между 1920 и 1923

* * *

Прокуроров было слишком много!
Кто грехов Твоих не осуждал?..
А теперь, когда темна дорога
И гудит-ревет девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это всё, что здесь мы сберегли...
И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...

Между 1920 и 1923

ИГРУШКИ

1

У Тучкова моста жил художник,
Бородато-пухлое дитя.
Свежий и румяный, как пирожник,
Целый день работал он, свистя:
Медь травил шипящей кислотою,
Затирал на досках пемзой фон,
А потом, упершись в пол пятою,
Налегал на пресс, как грузный слон.
Зимний ветер хныкал из-под вьюшки.
Вдоль лазурно-снежного окна
В ряд стояли русские игрушки —
Сказочная пестрая страна:
Злой Щелкун с башкою вроде брюквы,

Колченогий в яблоках конек,
Ванька-Встанька с пузом ярче клюквы
И олифой пахнущий гусек.
В уголке медведь и мужичонка
В наковальню били обухом,
А Матрешка, наглая бабенка,
Распускала юбки кораблем...
Разложивши влажные офорты,
Отдыхал художник у окна:
Щелкуна пощелкает в ботфорты,
Попищит собачкой. Тишина...
Пыль обдует с глиняных свистулек,
Двухголовой утке свистнет в зад,
Передвинет липовых бабулек
И зевнет, задрав плечо назад.
Поплывет весна перед глазами:
Пензенская ярмарка, ларьки,
Крестный ход, поддевки с образами,
И гармонь, и знойные платки...
За окном декабрь. Вся даль — в закате.
Спит Нева под снежною фатой.
Между рам, средь гаруса на вате,
Янтареет рюмка с кислотой.
Тихо снял с гвоздя художник бурку —
Синей стужей тянет из окна —
И пошел растапливать печурку,
Чтоб сварить с корицею вина.

2

Праздник был. Среди пустой мансарды
На столе дремало деревцо.
Наклонясь, тучковский Леонардо
Спрятал в елку круглое лицо...
У подножья разложил игрушки.
На парче, сверкавшей полосой —
Ром, кутья, румяные ватрушки
И тарелки с чайной колбасой.
В двери лупят кулаками гости —
Волосатый, радостный народ.
Сбросив в угол шапки, шубы, трости,
Завели вкруг елки хоровод...

Пели хором «Из страны далекой»,
Чокались с игрушками рыча,
На комоде в рюмке одинокой
Оплывала толстая свеча.
Звезды млели за окном невинно,
Рождество плыло над синевой...
Щелкуна раскрасили кармином,
А Матрешку пичкали халвой.
Ваньку-Встаньку выпороли елкой,
Окунули с головой в бокал,
Вбили в пуп огромную иголку,
Но злодей назло опять вставал.
Быть всё время взрослыми нелепо:
Завернувшись в скатерть, гость-горняк
Уверял знакомых: «Я Мазепа!»
Но они кричали: «Ты дурак!»
А потом, схватив конька в объятья,
Влез хозяин, сняв пиджак, на печь,
И сказал, что так как люди — братья,
То игрушки нечего беречь!
Раздарил друзьям свое богатство,
Грузно слез, лег на пол и застыл.
А слегка упившееся братство
Над уснувшим спело: «Кто б он был?..»
Одному тогда досталась утка
Со свистком под глиняным хвостом.
Дунешь в хвост — и жалобная дудка
Спрашивает тихо: «Где мой дом?»

8

На резной берлинской этажерке,
У окна, чужих сокровищ ряд:
Сладкий гном в фарфоровой пещерке,
Экипаж с семейством поросят,
Мопс из ваты... Помесь льва с барашком
В золотой фаянсовой траве,
Бонбоньерка в виде дамской ляжки
И Валькирия с копилкой в голове...
Скучно русской глиняной игрушке
На салфетке вязаной торчать:

Справа две булавочных подушки,
Слева козлоногая печать.
Тишина. Часы солидно дышат,
На стене поблекшие рога.
За стеклом ребром взбегает крыша.
Чахлый снег и фонарей дуга.
У окна застыл чудак в тужурке.
Проплывает прошлое, как миф:
Май — Ромны — галдеж хохлушек юрких,
В гуще свиток — пестротканый лиф...
Вдоль стекла ползут бессильно хлопья,
И миражи тают и плывут:
Лес оглобель поднял к солнцу копья,
Гам, волы, беспечный праздный люд.
Здесь — копною серые макитры,
Там — ободья желтые в пыли.
За рекой курганы, словно митры,
Над зеленой степью спят вдали.
Выступают гуси вдоль дороги
Белою горластой полосой...
И дитя у хаты на пороге,
И барвинок, сбрызнутый росой...
Обернулся... Газ, рога, обои.
Взял игрушку милую в ладонь:
Хвост отбит, свисток шипит и воет, —
Всё, что спас он в злые дни погонь.
Ночь гудит. Часы кряхтят лениво.
Сотни лет прошли над головой...
Не она ль, блестя в стекле поливой,
Там в окне стояла над Невой?

Между 1920 и 1923

НЕВСКИЙ

Здесь, в Александровском саду,
Весной пустой скамьи не сыщешь:
В ленивом солнечном чаду
Вдоль по дорожкам рыщешь-свищешь.
Сквозь дымку почек вьется люд.
Горит газон огнем бенгальским,

И отдыхающий верблюд
Прилег на камень под Пржевальским...
Жуковский, голову склоня,
Грустит на узком постаменте,
Снует штабная солдатня,
И Невский вдаль струится лентой.
У «Александра» за стеклом
Пестрят японские игрушки.
Внезапно рявкнул за углом
Веселый рев полдневной пушки.
Мелькнуло алое манто...
Весенний день — отрада взору.
В толпе шинелей и пальто
Плывешь к Казанскому собору:
Многоколонный полукруг
Колеблет мглу под темным сводом,
Цветник, как пестротканый луг,
Цветет и дышит перед входом...
Карнизы банков и дворцов
Румяным солнцем перевиты.
По глади шахматных торцов
Протяжно цокают копыта.
У кучеров-бородачей
Зады подбиты плотной ватой,
А вдоль панелей — гул речей
И восклицаний плеск крылатый...
Гостиный двор раскрыл фасад:
Купить засахаренной клюквы?..
Над белизной сквозных аркад
На солнце золотятся буквы.
Идешь-плывешь. Домой? Грешно.
В канале бот мелькнул дельфином,
Горит аптечное окно
Пузатым голубым графином.
Вот и знакомый, милый мост:
С боков темнеют силуэты —
Опять встают во весь свой рост
Всё те же кони и атлеты...
К граниту жмется строй садков,
Фонтанка даль осеребрила.
Смотри — и слушай гул подков,
Облокотившись на перила...

Гремят трамвайные звонки,
Протяжно цокают копыта, —
Раскинув ноги, рысаки
Летят и фыркают сердито.

<1922>

ВЕСНА НА КРЕСТОВСКОМ

А. И. Куприну

Сеть лиственниц выгнала алые точки,
Белеет в саду флигелек.
Кот томно обходит дорожки и кочки
И нюхает каждый цветок.
Так радостно бросить бумагу и книжки,
Взять весла и хлеба в кульке,
Коснуться холодной и ржавой задвижки
И плавно спуститься к реке...
Качается пристань на бледной Крестовке.
Налево — Елагинский мост.
Вдоль тусклой воды серебрятся подковки,
А небо — как тихий погост.
Черемуха пеной курчавой покрыта,
На ветках мальчишки-жулье.
Веселая прачка склонила корыто,
Поет и полощет белье.
Затекшие руки дорвались до гребли.
Уключины стонут чуть-чуть.
На веслах повисли какие-то стебли,
Мальки за кормою как ртуть...
Под мостиком гулким качается плесень.
Копыта рокочут вверху.
За сваями эхо чиновничьих песен,
А ивы — в цыплячьем пуху...
Краснеют столбы на воде возле дачки,
На ряби — цветная спираль.
Гармонь изнывает в любовной горячке.
И в каждом челне — пастораль.
Вплываю в Неву. Острова — как корона:
Волнисто-кудрявая грань...
Летят рысаки сквозь зеленое лоно,
На барках ленивая брань.

Пестреет нарядами дальняя Стрелка.
 Вдоль мели — щетиной камыш.
Всё шире вода — голубая тарелка,
 Всё глубже весенняя тишь...
Лишь катер порой пропыхтит торопливо,
 Горбом залоснится волна,
Матрос — словно статуя, вымпел — как грива,
 Качнешься — и вновь тишина...

О родине каждый из нас вспоминая,
 В тоскующем сердце унес
Кто Волгу, кто мирные склоны Валдая,
 Кто заросли ялтинских роз...
Под пеплом печали храню и ревниво
 Последний счастливый мой день:
Крестовку, широкое лоно разлива
 И Стрелки зеленую сень.

1920 или 1921

ГОСТИНЫЙ ДВОР

Как прохладно в гостиных рядах!
Пахнет нефтью и кожей
И сырою рогожей...
Цепи пыльною грудой темнеют на ржавых пудах,
У железной литой полосы
Зеленеют весы.
Стонут толстые голуби глухо,
Выбирают из щелей овес...
Под откос,
Спотыкаясь, плетется слепая старуха,
А у лавок, под низкими сводами стен,
У икон, янтареют лампадные чашки.
И купцы с бородами до самых колен
Забавляются в шашки.

<1919>
Псков

ПРУД

Зелененькою ряскою
Покрыта гладь пруда.
Под зыбкою замазкою
Качается вода...

У берега метелочка
Густого тростника,
А на бугре две елочки
Сквозят издалека.

В пруде колода дряхлая
Спит кверху животом.
Склонилась ива чахлая
Взлохмаченным кустом.

Кра-кра! Плывут от берега
Утята-малыши, —
С лягушками — истерика,
Удрали в камыши...

И только жаба важная,
Как будто напоказ,
Дородная и влажная,
Из тины пучит глаз.

В воде бегут пузырики,
Проснулись тростники,
И в сердце, полном лирики,
Рождаются стишки.

<1921>

ЗИМА

1

Над черной прорубью дымится сизый пар.
Под валенками снег шипит и тает.
В далекой деревушке Жучка лает,
А солнце — алый шар!

Пойдем на остров... Пышный и седой,
В озерной белизне он спит глубоко,
Блестя заиндевевшею осокой
Над скованной водой.

2

Елки — беленькие свечи.
Здравствуй, дуб широкоплечий,
Очарованный старик!
Как живешь? Озяб? Еще бы!
У пяты — бугром сугробы,
Над челом — седой парик...
Ветер лютый и бесстыжий
Шелестит листвою рыжей,
С неба сыплется снежок...
Пусть... Весна не за горами:
Пестроглазыми цветами
Закудрявится лужок;
Понатужась, лопнут почки,
И зеленые комочки
Крикнут радостно: «Пора!»
Не ворчи... Ведь я терплю же,
У меня беда похуже:
Видишь — в валенке дыра?

3

Если взрыть снежок под елкою у кочки,
Под навесом зимних дымчатых небес
Ты увидишь чудо из чудес:
На бруснике изумрудные листочки!
Если их к щеке прижать нетерпеливо —
О, как нежен влажный их атлас!
Словно губы матери счастливой,
Перед сном касавшиеся нас...
Иней все березы запушил,
Вербы в белых-белых пышных сетках...
Спит зима на занесенных ветках,
Ветер крылья светло-синие сложил...

Горсть брусничных веток я связал в пучок,
Дома их поставлю в банку из-под меда —
Пусть за дверью воет непогода:
На моем столе — весны клочок...

4

«Тишина!» — шепнула белая поляна.
«Тишина!» — вздохнула, вея снегом, ель.
За стволами зыбь молочного тумана
Окаймила пухлую постель.
Переплет теней вдоль снежного кургана...
Хлопья медленно заводят карусель,
За опушкой — тихая метель,
В небе — мутная, безбрежная нирвана...
«Тишина!» — качаясь, шепчет ель.
«Тишина!» — вздыхает белая поляна.

5

Домой! Чрез озеро в пышном лиловом тумане...
Над синим холмом расцвела на окошке свеча.
Вдали убегают, болтая бубенчиком, сани,
И белые мухи садятся гурьбой вдоль плеча...
Под снегом и льдом дышат сонные, тихие щуки.
Над прорубью в дымке маячит безмолвный рыбак,
А ветер играет и дует в иззябшие руки
И с визгом уносит в снега перекличку собак...
Там, дома, добуду в печурке горячих картошек,
Подую на пальцы — и с солью зернистою в рот.
Раздую лучину... В сенях из-под старых лукошек
Достану салазки — и свистну у наших ворот!
Соседский Илюшка примчится веселою рысью, —
Ох, трудно в тулупчик рукою попасть на ходу, —
Я сяду, он сядет — и с холмика тропкою лисьей
Помчимся, помчимся, помчимся, как птицы,
к пруду!..

<1923>

БАЛ В ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ

1

Пехотный Вологодский полк
Прислал наряд оркестра.
Сыч-капельмейстер, сивый волк,
Был опытный маэстро.
Собрались рядом с залой в класс,
Чтоб рокот труб был глуше.
Курлыкнул хрипло медный бас,
Насторожились уши.
Басы сверкнули вдоль стены,
Кларнеты к флейтам сели, —
И вот над мигом тишины
Вальс томно вывел трели...
Качаясь, плавные лады
Вплывают в зал лучистый,
И фей коричневых ряды
Взметнули гимназисты.
Напев сжал юность в зыбкий плен,
Чтó в мире вальса краше?
Пусть там сморкаются у стен
Папаши и мамаши...
Не вся ли жизнь — хмельной поток
Над райской панорамой?
Поручик Жмых пронесся вбок
С расцветшей классной дамой.
У двери встал, как сталактит,
Блестя иконостасом,
Сам губернатор Фан-дер-Флит
С директором Очкасом:
Директор — пресный, бритый факт,
Гость — холодней сугроба,
Но правой ножкой тайно в такт
Подрыгивают оба.
В простенке — бледный гимназист,
Немой Монблан презренья.
Мундир до пяток, стан как хлыст,
А в сердце — лава мщенья.
Он презирает потолок,
Оркестр, паркет и люстры,

И рот кривится поперек
Усмешкой Заратустры.
Мотив презренья стар как мир...
Вся жизнь в тумане сером:
Его коричневый кумир
Танцует с офицером!

2

Антракт. Гудящий коридор,
Как улей, полон гула.
Напрасно классных дам дозор
Скользит чредой сутулой.
Любовь влетает из окна
С кустов ночной сирени,
И в каждой паре глаз весна
Поет романс весенний.
Вот даже эти, там и тут,
Совсем еще девчонки,
Ровесников глазами жгут
И теребят юбчонки.
Но третьеклассники мудрей,
У них одна лишь радость:
Сбежать под лестницу скорей
И накуриться в сладость...
Солдаты в классе, развалясь,
Жуют тартинки с мясом;
Усатый унтер спит, склонясь
Над геликоном-басом.
Румяный карлик-кларнетист
Слюну сквозь клапан цедит.
У двери — бледный гимназист
И розовая леди.
«Увы! У женщин нет стыда...
Продать за шпоры душу!»
Она, смеясь, спросила: «Да?»,
Вонзая зубы в грушу...
О, как прелестен милый рот
Любимой гимназистки,
Когда она, шаля, грызет
Огрызок зубочистки!

В ревнивой муке смотрит в пол
Отелло-проповедник,
А леди оперлась на стол,
Скосив глаза в передник.
Не видит? Глупый падишах!
Дразнить слепцов приятно.
Зачем же жалость на щеках
Зажгла пожаром пятна?
Но синих глаз не укротить,
И сердце длит причуду:
«Куда ты?» — «К шпорам». —
«Что за прыть?» —
«Отстань! Хочу — и буду».

8

Гремит мазурка — вся призыв.
На люстрах пляшут бусы.
Как пристяжные, лбы склонив,
Летит народ безусый.
А гимназистки-мотыльки,
Откинув ручки влево,
Как одуванчики легки,
Плывут под плеск напева.
В передней паре дирижер,
Поручик Грум-Борковский,
Вперед плечом, под рокот шпор
Беснуется чертовски.
С размаху на колено встав,
Вокруг обводит леди.
И вдруг, взметнувшись как удав,
Летит, краснее меди.
Ресницы долу опустив,
Она струится рядом,
Вся — огнедышащий порыв
С лукаво-скромным взглядом...
О, ревность, раненая лань!
О, ревность, тигр грызущий!
За борт мундира сунув длань,
Бледнеет классик пуще.
На гордый взгляд — какой цинизм! —
Она, смеясь, кивнула...

Юнец, кляня милитаризм,
Сжал в гневе спинку стула.
Домой? Но дома стук часов,
Белинский над кроватью,
И бред полночных голосов,
И гул в висках... Проклятье!
Сжав губы, строгий, словно Дант,
Выходит он из залы.
Он не армейский адъютант,
Чтоб к ней идти в вассалы!..
Вдоль коридора лунный дым
И пар неясных пятна,
Но пепиньерки мчатся к ним
И гонят в зал обратно.
Ушел бедняк в пустынный класс,
На парту сел, вздыхая,
И, злясь, курил там целый час
Под картою Китая.

4

С Дуняшей, горничной, домой
Летит она, болтая.
За ней, вдоль стен, укрытых тьмой,
Крадется тень худая...
На сердце легче: офицер
Остался, видно, с носом.
Вон он, гремя, нырнул за сквер
Нахмуренным барбосом.
Передник белый в лунной мгле
Змеится из-под шали.
И слаще арфы по земле
Шаги ее звучали...
Смешно! Она косится вбок
На мрачного Отелло.
Позвать? Ни-ни. Глупцу — урок,
Ей это надоело!
Дуняша, юбками пыля,
Склонясь в ладонь, хохочет,
А вдоль бульвара тополя
Вздымают ветви к ночи.

Над садом — перья зыбких туч.
    Сирень исходит ядом.
Сейчас в парадной щелкнет ключ —
    И скорбь забьет каскадом...
Не он ли для нее вчера
    Выпиливал подчасник?
Нагнать? Но тверже топора
    Угрюмый восьмиклассник:
В глазах — мазурка, адъютант,
    Вертящиеся штрипки,
И разлетающийся бант,
    И ложь ее улыбки...
Пришли. Крыльцо — как темный гроб,
    Как вечный склеп разлуки.
Прижав к забору жаркий лоб,
    Сжимает классик руки.
Рычит замок, жестокий зверь,
    В груди — тупое жало.
И вдруг... толкнув Дуняшу в дверь,
    Она с крыльца сбежала.
Мерцали блики лунных струй
    И ширились всё больше.
Минуту длился поцелуй!
    (А может быть, и дольше).

<1922>

ПОЖАРНЫЙ

1

В гудящем перезвоне
Плывут углы и рвы...
Летят шальные кони,
Раскормленные львы.
Пожарный в светлой каске,
Усатый кум Пахом,
Качаясь в мерной пляске,
Стоит над облучком.
«Тра-ра! Пошли с дороги!» —
Звенит-поет труба.

Гремя, промчались дроги
У самого столба.
Блестят на солнце крупы
Лоснящихся коней,
Вдогонку мальчик глупый
Понесся из сеней...
Крик баб и визги шавок.
Свистки! Галдеж! Содом!
На площади у лавок
Горит, пылает дом.

2

Кони стали. Слез Пахом...
Ну-ка, лестницу живее!
Вьются дымчатые змеи...
Пламя в бешенстве лихом,
Словно рыжий, дикий локон,
Вырывается из окон...
Но пожарный наш не трус:
Слившись с лестницею зыбкой,
Вверх карабкается шибко,
Улыбаясь в черный ус.
Изгибается, как бес...
Осторожно, словно кошка,
Прыгнул в верхнее окошко
И исчез...
Дым и пламень... Треск и вой.
А внизу
Верещит городовой,
Люд гудит, как лес в грозу...
Свищут юркие мальчишки,
Взбудораженные Гришки,
И струя воды столбом
Лупит в дом!
Две минуты — три — и пять...
Ах, как долго надо ждать!
Из раскрытого окна,
Раздвигая дым янтарный,
Черный, словно сатана,
Появляется пожарный:

А под мышкой у Пахома
Спит трехлетний мальчик Дёма,
Прислонясь к щеке усатой
Головенкою лохматой...
Мать внизу кричит и плачет.
Верховой куда-то скачет.
Эй, воды! Еще, еще!
Гаснет пламя. Пар шипящий
Встал над домом белой чащей.
Хорошо!

8

Переулками сонными едет обратно обоз,
Разгоняя бродячее стадо взлохмаченных коз.
Кони шею склонили, и пена на землю летит.
На последней повозке Пахом утомленный сидит.
Над заборами буйно синеет густая сирень,
Дым из трубки Пахома струится, как сизая тень...
Наклонился Пахом — и слегка покачал головой:
Вся ладонь в пузырях... Ничего, заживет, не впервой!
Капли пота и сажи ползут по горячей щеке,
Кони тихо свернули за церковь, к болтливой реке.
Солнце вспыхнуло в каске закатной, багровой свечой...
За сараем кружит голубок над родной каланчой.

<1922>

РЕПЕТИТОР

Тане Львовой захотелось в медицинский институт,
Дядя нанял ей студента, долговязого как прут.

Каждый день в пустой гостиной он, крутя свой
длинный ус,
Объяснял ей imperfectum [1] и причастия на «us».

Таня Львова, как детеныш, важно морщила свой нос
И, выпячивая губки, отвечала на вопрос.

---

[1] Прошедшее несовершенное время (лат.). — *Ред.*

Но порой, борясь с дремотой, вдруг лукавый быстрый взгляд
Отвлекался от латыни за окно, в тенистый сад...

Там, в саду, так много яблок на дорожках и в траве:
Так и двинула б студента по латинской голове!

<1923>

О ЧЕМ ПОЕТ САМОВАР

В животе горячо, в животе бурлит...
Держите меня! Сейчас убегу!
И в стекла маленький, серенький дождик стучит...
И-и-и! У-у-у!
Бур-бур! Окно запотело...
Какое мне дело?
На улице сырость — слякоть — лужицы... Эх!
Напою и согрею всех:
Веселых, суровых,
Больных и здоровых,
Больших и крошечных-маленьких,
И самых седеньких-старененьких, —
В кишках теплее —
На свете милее...
Паф!
Где мальчик Васенька? Спит-спит-спит.
Глазки опухли...
Чайник простынет! Чаинки разбухли...
Пусть скорей-поскорей прибежит —
Сморщит кожицу,
Сделает рожицу,
Посмотрит в мой медный свирепый живот
И фыркнет во весь белозубый свой рот...
Кто дразнится, кто там поет на полу,
У печки — за шваброй — в углу?
Кот!
Пуф! Обормот.
Тоже сокровище.
Буль-буль-буль, подойди-ка, чудовище, —
Я — тебя, я — тебя, я — тебя каплей горячею в нос!
Что-с?

Паф! Испугался, убрался под шкаф...
Жду — жду... Скучно мне тут.
Пи!
Из крана крупные слезы текут.
Пи!
Ошалел от угара,
Задохся от пара,
Угольки раскалились, шипят и звенят.
Ах!
Бур-бур-бур! Я сердит — я волнуюсь —
бурлю-клокочу.
Унесите меня... Не хочу!
Обливается потом камфорка и бок,
Пар свистит, пар пищит, как пожарный свисток!
Распа-я-юсь! Подлейте во-ды! Не мо-гу!
И-и-и! У-у-у!

<1920>

ЗМЕЙ

Облака плывут над пашней...
Из газетины вчерашней
Надо змея смастерить.
Раму склеим из лучинок,
Хвост из розовых шерстинок,
Ну а нить?

Нить? У бабушки в коробке
Есть большой моток для штопки.
Мигом к бабушке, айда!
Ты голубушка! Ты дусик!
Ты милее всех бабусек!
Можно, да?

В мире нет добрей старушки...
Сели рядом у опушки
Перематывать клубок.
Справа — маки, слева — лютик,
Не спеши, верти на прутик —
В колобок!

Синькой вывели глазищи,
Углем — брови и усищи,
Клюквой — две ноздри и рот...
Хвост — как шлейф у генеральши...
Заноси-ка! Дальше, дальше!
До ворот!

Змей прыгнул вбок, метнулся ввысь —
Пора...
Как конь, во всю помчался рысь,
Ура!
Но нитка держит на вожжах,
Шалишь!
В лазури — белая межа
И тишь...
А ветер хвост относит вбок —
Пускай...
Быстрей разматывай клубок,
Лентяй!
Гудит наш змей, как паровоз...
Жара.
Эй, змей! Ты выше всех берез!
Ура!..

Взяли промокашку,
Сделали старикашку,
Проткнули в животе калитку,
Посадили его на нитку...
Ишь!
Запищал, как мышь,
Растопырил ручки,
Задрал брючки
И помчался кверху по нитке всё прямо да прямо:
Это мы послали солнцу телеграмму.

<1923>

* * *

Ах, зачем нет Чехова на свете!
Сколько вздорных — пеших и верхом,
С багажом готовых междометий
Осаждало в Ялте милый дом...

День за днем толклись они, как крысы,
Словно он был мировой боксер.
Он шутил, смотрел на кипарисы
И прищурясь слушал скучный вздор.

Я б тайком пришел к нему, иначе:
Если б жил он, — горькие мечты! —
Подошел бы я к решетке дачи
Посмотреть на милые черты.

А когда б он тихими шагами
Подошел случайно вдруг ко мне —
Я б, склонясь, закрыл лицо руками
И исчез в вечерней тишине.

<1922>

СТИХОТВОРЕНИЯ 1905—1913 гг., НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ САТИР И ЛИРИКИ

* * *

От русского флота остались одни адмиралы —
Флот старый потоплен, а новый ушел по карманам.
Чухнин, Бирилёв и Дубасов — все славные русские
лица,
Надежда и гордость страны, опора придворных
и прочих.
Чухнин с Бирилёвым себя показали довольно,
А бедный Дубасов без дела сидит в Петербурге...
В престольной Москве разгорается злая крамола,
Рабочий, солдат и почтовый чиновник мятежный
Хотят отложиться от славной державы Российской...
Последние волосы Витте терзает в смертельном испуге:
«Москва, ты оплот вековечный престола и церкви,
Не ты ли себя сожигала в войне с Бонапартом,
Не ты ли Димитрием Ложным из пушки палила?
А ныне — почтовый чиновник, солдат и рабочий
Союз заключают, поправ и закон, и природу!
О горе, о ужас! Кого же в Москву мне отправить,
Чтоб был он собою ужасен, и пылок, и дерзок,
Имел бы здоровую глотку и крепкие, львиные мышцы,
Чтоб буйный почтовый чиновник, солдат и мятежный
рабочий
Взглянули... и в ужасе бледном закрыли бы лица
руками.
Людей даровитых не стало — иные бесславно погибли,
Иные, продав свою ренту, позорно бежали на Запад...»
И видит пророческий сон Сергей, миротворец
Портсмутский:

На снежном, изрытом копытами конскими поле
Кровавые трупы лежат — и в небо застывшие очи
Безмолвно и строго глядят... Ужасны их бледные лица!
Над ними кружит вороньё, и в хриплом, зловещем их
крике
Граф Витте отчетливо слышит: «Дубасов, Дубасов,
Дубасов!..»
. . . .
Воспрянул от ложа Сергей, миротворец Портсмутский,
И быстро садится к столу и черные буквы выводит:
«Дубасов в Москву на гастроли...»

Чу, поезд несется в Москву, с ним ветер летит
вперегонку —
На небе зловеще горят багровые, низкие тучи,
Навстречу кружит вороньё и каркает хрипло и злобно:
«Посмотрим, Дубасов, посмотрим...»

8 декабря 1905

ЧЕПУХА

Трепов — мягче сатаны,
Дурново — с талантом,
Нам свободы не нужны,
А рейтузы с кантом.

Сослан Нейдгарт в рудники,
С ним Курло́в туда же,
И за старые грехи —
Алексеев даже.

Монастырь наш подарил
Нищему копейку,
Крушеван усыновил
Старую еврейку.

Взял Линевич в плен спьяна
Три полка с обозом...
Умножается казна
Вывозом и ввозом.

Чепуха.

Треповъ—мягче сатаны,
Дурново—съ талантомъ,
Намъ свободы не нужны,
А рейтузы съ кантомъ.

* * *

Сосланъ Нейгардъ въ рудники,
Съ нимъ Курловъ туда же—
И за старые грѣхи
Алексѣевъ даже.

* * *

Монастырь нашъ подарилъ
Нищему копѣйку,
Крушеванъ усыновилъ
Старую еврейку...

* * *

Взялъ Линевичъ въ плѣнъ спьяна
Три полка съ обозомъ...
Умножается казна
Вывозомъ и ввозомъ.

* * *

Витте родиной живетъ
И себя не любитъ.
Вся страна съ надеждой ждетъ,
Кто ее погубитъ

* * *

Разорвался апельсинъ
У Дворцова моста...—
Гдѣ высокій господинъ
Маленькаго роста?

* * *

Сей высокій человѣкъ,
Ѣдетъ заграницу;
Изъ Манчжуріи калѣкъ
Отправляютъ въ Ниццу.

* * *

Мучимъ совѣстью, Фроловъ
Съ горя застрѣлился;
Губернаторъ Хомутовъ
Слѣдствія добился.

* * *

Безобразовъ заложилъ
Перстень съ брилліантомъ...
Веселъ, сытъ ученъ и милъ
Пахарь ходитъ франтомъ.

* * *

Шлется Стесселю за честь
Отъ французовъ шпага—
Манифестъ—иначе есть
Важная бумага...

* * *

Іоаннъ Кронштадтскій простъ,
Но душою хлибокъ...
Спряталъ чертъ свой грязный хвостъ—
Не было-бъ ошибокъ!..

* * *

Интендантство, сдавъ ларекъ,
Все забаставало,
А Суворинъ старичекъ
Перешелъ въ «Начало»,

* * *

Появился Серафимъ—
Появились дѣти.
Папу видѣли за симъ
Въ ложѣ у Неметти...

* * *

Въ свѣтъ пустилъ святой синодъ
Безъ цензуры святцы,
Витте-графъ пошелъ въ народъ...
Что-то будетъ братцы?..

* * *

Высшей милостью труха
Хочетъ общей драки...
Все на свѣтѣ чепуха,
Остальное враки...

САША ЧЕРНЫЙ.

Витте родиной живет,
И себя не любит.
Вся страна с надеждой ждет,
Кто ее погубит.

Разорвался апельсин
У Дворцова моста... —
Где высокий господин
Маленького роста?

Сей высокий человек
Едет за границу;
Из Маньчжурии калек
Отправляют в Ниццу.

Мучим совестью, Фролов
С горя застрелился;
Губернатор Хомутов
Следствия добился.

Безобразов заложил
Перстень с бриллиантом...
Весел, сыт, учен и мил,
Пахарь ходит франтом.

Шлется Стесселю за честь
От французов шпага.
Манифест — иначе есть
Важная бумага...

Иоанн Кронштадтский прост,
Но душою хлипок...
Спрятал черт свой грязный хвост, —
Не было б ошибок!..

Интендантство, сдав ларек,
Всё забастовало,
А Суворин-старичок
Перешел в «Начало».

Появился Серафим —
Появились дети.

Папу видели засим
В ложе у Неметти...

В свет пустил святой синод
Без цензуры святцы,
Витте-граф пошел в народ...
Что-то будет, *братцы?*

Высшей милостью труха
Хочет общей драки...
Всё на свете — чепуха,
Остальное — враки...

1905

* * *

Пусть злое насилье царит над землей,
За правое дело мы подняли бой!
Пусть много нас пало — другие придут
И дело святое к концу приведут...
Мы жертв никогда не считали,
Но с честью погибшие пали...

От темного сна пробудился народ —
Вы слышите мощные крики: «Вперед!»
Земля подымается грозной стеной,
Не чудо ль случилось с родною страной?
Тупое терпенье упало —
Терпели, знать, раньше немало!

И тьма, и терпенье бесследно прошли;
Отвсюду сбираются люди земли.
Так пусть же исчезнет раздор и вражда:
Нас общая крепко сплотила беда —
Мы землю родную спасаем
И к храбрым и честным взываем:

Кто зло ненавидит, кто иго клянет —
За правое дело пусть с нами идет,

Враги или братья, но нет середины, —
Вступайте же, сильные, в наши дружины
За право и волю борцами!
Мы знаем — победа за нами!

1905

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ

Если беден ты талантом,
Будешь флигель-адъютантом,
Лишь командуй «пли» да «пли»,
Да людей кругом вали...

Если ты рожден курьером,
Будешь графом и премьером,
Настроенья примечай,
На хозяина не лай.

Если ты рожден шакалом,
Будешь вице-адмиралом,
Броненосцев не чини,
Что увидишь — всё тяни!

Если ты рожден неверным,
Будешь в Пажеском наверно.
Только ты в своем кругу
О папаше ни гу-гу...

Если ты рожден дурашкой,
Будешь маленьким плюгашкой —
Вправо, влево, как волчок,
Будешь прыгать, дурачок.

Если ты не под надзором,
Будешь скоро прокурором —
Ибо только прокурор
Не берется под надзор...

Если ты рожден евреем,
Значит должен быть злодеем —
Ибо Меньшиков кричит,
Что Россию «жид» мутит.

Если вы душою чисты,
Значит вы — социалисты:
    Кто не вор и не шпион,
    В список красных занесен.

Остальных, коль не убьют,
В Думу членами пошлют, —
    Но, увы, не знаю сам,
    Не повесят ли их там.

1905

К ПРАЗДНИКУ

До сих пор я знал, что кони,
Жеребцы, ослы и пони
Любят лакомый овес...
Но недавно был донос,
Что овес и Дурново
Также любит, — каково!

К обывателям взываю
И подписку предлагаю:
Выносите по полтине
На кормление скотине!
Купим десять мер овса
И увидим чудеса —
Съест обжора Дурново
Весь овес, и у него
Лопнет брюхо пополам...
То-то праздник будет нам!

1905

СОН

Мне снилось, что Плеве с печальным лицом
    Со мной говорил о России,
Портсмутского графа он назвал глупцом,
    Про прочих промолвил: «Слепые!

До мелочи вижу ошибки их тут,
И страшно за них мне обидно —
Они к революции сами идут,
Забыв о последствиях, видно.

И мне самому приходилось спасать
Россию от вредных учений,
Давал я приказы сажать и стрелять,
Но мера была для гонений. . .

Устроишь приличный еврейский погром,
Закроешь три высшие школы, —
Но нынче играют огнем и мечом
Они, как лихие монголы.

Они малолетних ссылают в Сибирь,
Они города выжигают, —
И скоро вся Русь превратится в пустырь,
Где совы одни обитают.

Кто ж будет налоги и штрафы платить?
Чем заняты будут жандармы?
Кто будет начальство высокое чтить
И строить дома и казармы? . .

Нет, надо сознаться, что беден умом
Мой новый преемник безбожно, —
Опасно играть отточённым мечом,
Опасно, порезаться можно. . .»

И вспомнил фон Плеве карьеру свою,
Свои министерские розы,
И жал он сочувственно руку мою,
И лил крокодиловы слезы.

Я в страхе проснулся. . . уж день наступал
(Три четверти пятого было),
И долго плевался, и долго шептал:
«Спаси, сохрани и помилуй!»

1905 или 1906

ЖАЛОБЫ ОБЫВАТЕЛЯ

Моя жена — наседка,
Мой сын, увы — эсер,
Моя сестра — кадетка,
Мой дворник — старовер.

Кухарка — монархистка,
Аристократ — свояк,
Мамаша — анархистка,
А я — я просто так...

Дочурка-гимназистка
(Всего ей десять лет),
И та социалистка, —
Таков уж нынче свет!

От самого рассвета
Сойдутся и визжат, —
Но мне комедья эта,
Поверьте, сущий ад.

Сестра кричит: «Поправим!»
Сынок кричит: «Снесем!»
Свояк вопит: «Натравим!»
А дворник — «Донесем!»

А милая супруга,
Иссохшая, как тень,
Вздыхает, как белуга,
И стонет: «Ах, мигрень!»

Молю тебя, создатель
(Совсем я не шучу),
Я русский обыватель —
Я просто жить хочу!

Уйми мою мамашу,
Уйми родную мать —
Не в силах эту кашу
Один я расхлебать.

Она, как анархистка,
Всегда сама начнет,
За нею гимназистка
И весь домашний скот.

Сестра кричит: «Устроим!»
Свояк вопит: «Плевать!»
Сынок шипит: «Накроем!»
А я кричу: «Молчать!!»

Проклятья посылаю
Родному очагу
И втайне замышляю —
В Америку сбегу! . .

1905 или 1906

ДО РЕАКЦИИ

(Пародия)

Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.

Не топись, охранный воин, —
Воля улыбнется!
Полицейский! Будь покоен —
Старый гнет вернется...

1905 или 1906

СЛОВЕСНОСТЬ

(С натуры)

Звание солдата почетно.
(Воинский устав)

«,,Всяк солдат слуга Престола
И защитник от врагов...“
Повтори! Молчишь, фефела?
Не упомнишь восемь слов?
Ну, к отхожему дневальным,
После ужина в наряд!»

Махин тоном погребальным
Отвечает: «Виноват!»
— «Ну-ка, кто у нас бригадный?» —
Дальше унтер говорит
И, как ястреб кровожадный,
Всё глазами шевелит...
«Что — молчишь? Собачья морда,
Простокваша, идиот!..
Ну так помни, помни ж твердо!» —
И рукою в ухо бьет.
Что же Махин? Слезы льются,
Тихо тянет: «Виноват...»
Весь дрожит, колени гнутся
И предательски дрожат.
«„Всех солдат почетно званье,
Пост ли... знамя... караул..."
Махин, чучело баранье,
Что ты ноги развернул?
Ноги вместе, морду выше!
Повтори, собачий сын!..»
Тот в ответ всё тише, тише
Жалко шепчет: «Господин...»
— «Ах, мерзавец! Ах, скотина!»
В ухо, в зубы... раз и раз...
Эта гнусная картина
Обрывает мой рассказ...

<1906>

БАЛБЕС

За дебоши, лень и тупость,
За отчаянную глупость
Из гимназии балбеса
Попросили выйти вон...
Рад-радешенек повеса,
Но в семье и плач и стон...
Что с ним делать, ради неба?
Без занятий идиот
За троих съедает хлеба,
Сколько платья издерет!..
Нет в мальчишке вовсе прока —
В свинопасы разве сдать,

И для вящего урока
Перед этим отодрать?
Но решает мудрый дядя,
Полный в будущее веры,
На балбеса нежно глядя:
«Отдавайте в ...офицеры...
Рост высокий, лоб покатый,
Пусть оденется в мундир —
Много кантов, много ваты,
Будет бравый командир!»

Про подобные примеры
Слышим чуть не каждый час,
Оттого-то офицеры
Есть прекрасные у нас...

<1906>

* * *

Слишком много разговоров,
Пересудов, перекоров,
Бесконечных рассуждений,
Полувзглядов, полумнений...
Слишком много.

Слишком много безразличных,
Веселящихся, безличных,
Жизнерадостно-утробных,
Всепрощающих, незлобных...
Слишком много.

Слишком много терпеливых,
Неуверенных, плаксивых,
Робких, маленьких, забитых,
Растерявшихся, разбитых...
Слишком много.

Слишком много паразитов,
Фарисеев, иезуитов,
Губернаторов, удавов,
Патриотов, волкодавов...
Слишком много.

Слишком много слуг лукавых,
Партий правых, жертв кровавых...
И растет в душе тревога,
Что терпения у бога
Слишком много!

<1906>

ЧЕПУХА

От российской чепухи
Черепа слетают,
Грузди черные грехи
Кровью заливают...

На печи поет сверчок:
«Есть для всех веревка»,
Раз не пишет дурачок —
Значит, забастовка...

Две вороны на кресте
Крыльями махали,
Но в толпу по доброте
Вовсе не стреляли...

Выбирают поляки́
Душечку Скалона,
Напоролась на штыки
Глупая ворона...

В Риге столб сооружен —
«Павшим полицейским»,
Граф Портсмутский награжден
Званием лакейским...

Дали франкам мы в заем
Под процент обычный,
Предварительный же дом
Обращен в публичный...

В Думе правым мужики
Наплевали в кашу,
С жерновом на дно реки
Бросили мамашу...

Петр Великий на Неве
Молвил: «Упустили»...
Только что прочел в «Молве» —
«Зритель» разрешили...

Пожилой и хилый врач
Высек генерала,
Как-то дурень съел калач,
И... его не стало...

Конституцию ввели
И у Менелика,
Три студента в баню шли —
Тяжкая улика!

Сам сиятельный сифон
Бегает на корде;
По-французски — «mille pardons», [1]
А у нас — по морде!

Жан Кронштадтский — чудеса! —
Сделался гусаром,
Мужиков на небеса
Принимают даром.

Потащили на допрос
Милое семейство,
На жандарма был донос, —
Экое злодейство!

Радость людям, радость псам —
Думу открывают!
Льются капли по усам,
В рот не попадают...

Стал помещик у сохи —
Градом пот катится,
Ох, от русской чепухи
Голова кружится...

1906

---

[1] «Тысяча извинений» (франц.). — *Ред.*

ДВЕ ДУМЫ

1

Подобралось к удивленью
Боевое большинство,
Предается посрамленью
Черной сотни меньшинство.

Что ни слово — то реформа,
Что ни шаг — идут вперед...
Расширяется платформа —
Сторонись, честной народ!

Резолюцию выносят:
Всем свобода и права,
Воли требуют — не просят —
Надоели всем слова...

Посрамленное из залы
Удирает меньшинство,
Рукоплещут радикалы,
Торжествует большинство...
И смутился у подъезда
Полицейский фараон:
«Близок грустный час отъезда,
Завтра всех со службы вон».

А наутро всюду флаги,
Но печален Петербург —
На стенах висят бумаги,
На бумагах — Шлиссельбург...
«Шлиссельбург для радикалов,
Шлиссельбург для большинства,
Для забывшихся нахалов,
Для героев торжества.
Кто превысил полномочья,
Кто готовил переход...»
«Разорвать бы их на клочья», —
Глухо шепчется народ...

2

Дым, кадила, песнопенье,
Гнусно дьяконы поют —
Генерала ль погребенье,
Ведьму ль замуж отдают?

Нет — то Думу открывает
Удалое большинство
И молебном прославляет
Черной Руси торжество...

Глупо-радостны и горды
Лики медные купцов,
Рыла, рожи, хари, морды
Собрались со всех концов.

Злым невеждам — честь и место,
Черной сотне — первенство́!
И краснеет, как невеста,
Бедных правых меньшинство...

Дальше речи... Что за речи!..
«Разве нет у нас штыков,
Пулеметов и картечи
Для чертей-бунтовщиков?!

Наше место, братцы, свято —
Любим русскую страну...»
— «Бить жида и супостата!
Вешать красных на сосну!»

Издеваются, поносят,
Крики, ругань — прямо ад...
Резолюцию выносят:
«Возвратиться всем назад...

В шею давши всем свободам,
Обратимся к старине —
В пику западным народам
Будем счастливы вполне!..

Закрывай, ребята, Думу —
Есть у нас Народный Дом...
Вместо Думы денег сумму
Мы на образ соберем...»

Гимн торжественный несется.
Замер друг-городовой,
А у левых отдается:
«Со святыми упокой!..»

Торжествует клика злая,
Торжествует сатана...
Здравствуй, русская, родная
Обновленная страна...

1906

КОМУ ЖИВЕТСЯ ВЕСЕЛО?

Попу медоточивому —
Развратному и лживому,
С идеей монархической,
С расправою физической...

Начальнику гуманному,
Банкиру иностранному,
Любимцу иудейскому —
Полковнику гвардейскому;

Герою с аксельбантами,
С «восточными» талантами;
Любому губернатору,
Манежному оратору,

Правопорядку правому,
Городовому бравому,
С огромными усищами
И страшными глазищами;

Сыскному отделению
И Меньшикову-гению,
Отшельнику Кронштадтскому,
Фельдфебелю солдатскому,

Известному предателю —
Суворину-писателю,
Премьеру — графу новому,
Всегда на всё готовому, —

Всем им живется весело,
Вольготно на Руси...

1906

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

«Долой амнистию,
Да здравствует смертная казнь!»

От монашеского пенья,
От кадильных благовоний
Прикатил для управленья
Из Житомира Антоний.
Там, в провинции доходной,
Украшался он виссоном
И средь знати благородной
Пил душистый чай с лимоном.
А за ним весьма прилежно
«Мироносицы» ходили,
В рот заглядывали нежно
И тихонько говорили:
«Ах, какой епископ статный
Управляет нынче нами!
Просвещенный, деликатный,
С изумрудными глазами...»
Через месяц аккуратно
Для людей непросвещенных
Он прочитывал приватно
Поучений ряд ученых:
О Толстом и о Ренане
С точки зрения вселенской,
О диавольском обмане,
О войне, о чести женской...
Тексты сыпались привольно,
Речь текла легко и гладко...
Я там был... дремал невольно

И зевал при этом сладко...
Что Ренаны, что Толстые?
Отщепенцы, басурмане!
Лишь епископы святые —
Чистой крови христиане...
Прочитав теперь в газете,
Как Антоний *отличился*
В Государственном совете,
Я ничуть не удивился:
Где муаровые рясы
В управленье влезть сумеют —
В черносотенстве лампасы
Перед ними побледнеют!..
В каждом слове кровожадность,
Пресмыканье, фарисейство,
И смиренная «лампадность»,
И высокое лакейство.
Христианнейший язычник
Черной злобою пылает.
Где тут пастырь, где опричник —
Пусть досужий разбирает...
«Им амнистию?!» — смеется,
И цепям поет: «Осанна!»
Ликование несется
Из самаринского стана...
Ах, епископ-звездоносец
С изумрудными глазами!
Сколько бедных «мироносиц»
Нодовольны будут вами!..

1906

О, TEMPORA...[1]

Наше племя измельчало,
Неврастения у всех.
Извращенность небывало
Слабых духом вводит в грех.

Даже крошечные дети
Попадают в эти сети

[1] О, времена... (лат.). — *Ред.*

И смакуют с аппетитом,
Как печатают петитом:

«Старый дьякон канарейку
Обесчестил там и там,
Обхватил ее за шейку. . .»
Дальше точки. . . Стыд и срам!

«Генеральша Игрек с моськой
(Их застукал сам супруг)
И с служанкою Афроськой
Разделяет свой досуг».

А на днях — силен лукавый —
Был чудовищный сеанс —
Октябрист и крайний правый
Заключили мезальянс.

И, смущен распутством мерзким,
Уж давно твердит народ,
Что с портфелем министерским
Александр Гучков живет.

Это дико и ужасно!
Видно, мир идет к концу.
Если буден сын, — неясно —
Кем он будет по отцу?!

<1908>

БЕЗВРЕМЕНЬЕ

(Элегия)

Туманы Северной Пальмиры
Недвижно стынут над Невой.
Ах, дайте тему для сатиры
Цензурной, новой и живой!

Буренин? Нет, что мертвых трогать,
Пусть в «Новом времени» гниет;
Положишь, бедного, на ноготь
И щелкнешь — вонь кругом пойдет.

Писатель Меньшиков? Обновка!..
Он, как трамвай, навяз в зубах;
Пусть выдыхается — неловко
Писать сатиры о гробах.

Иль взять Столыпина за жабры?
Опять не ново и претит —
Ведь он безвредней старой швабры...
Пусть пишет — бог его простит.

Но кто? Быть может, Пуришкевич?
Я — чистоплотный господин!
Пускай уж лучше Дорошевич
Его поместит в «Сахалин».

Нет крупных гадин! Измельчали...
Ломаю в горести перо.
Разумно ль трогать их? Едва ли, —
И неприлично, и старо.

Вы улыбнулись? Вы готовы
Назвать, быть может, тех и тех...
Но будем немы, как коровы,
Чтоб не вводить друг друга в грех.

Щиплю в раздумье струны лиры
И никну скорбно головой...
Ах, дайте тему для сатиры
Цензурной, новой и живой!..

<1908>

* * *

Четыре нравственных урода —
Один шпион и три осла —
Назвались ради ремесла
«Союзом русского народа».

Громить и грабить — сесть в тюрьму,
И конкуренция большая:
Одних воров какая стая —
Известно богу одному.

А здесь идея и значки,
Своя печать, свобода глотки,
Любовь начальства, много водки,
Патриотизм и пятачки...

<1903>

УСТАРЕЛЫЙ

Китти, кис, сними же шляпку,
Распусти свою косу.
Я возьму тебя в охапку,
На кушетку понесу.

Лжет Кузмин, и лжет Каменский,
Арцыбашев и Бальмонт —
Чист и нежен взор твой женский,
Как апрельский горизонт.

Демон страсти спрятал рожки,
Я гляжу в твои уста,
Глажу маленькие ножки,
Но любовь моя чиста.

Если ж что-нибудь случится
(В этом деле кто пророк?) —
Пусть мой котик не стыдится
И не смотрит в потолок.

Об одном прошу немало
Со слезами на глазах:
Не описывай финала
Ни в рассказе, ни в стихах.

<1908>

«ПЬЯНЫЙ» ВОПРОС

Мужичок, оставьте водку,
Пейте чай и шоколад.
Дума сделала находку:
Водка — гибель, водка — яд.

Мужичок, оставьте водку.
Водка портит божий лик,
И уродует походку,
И коверкает язык.

Мужичок, оставьте водку,
Хлеба боженька подаст
После дождичка в субботку. . .
Или «ближний» вам продаст.

Мужичок, оставьте водку,
Может быть (хотя навряд),
Дума сделает находку,
Что и голод тоже яд.

А пройдут еще два года —
Дума вспомнит: так и быть,
Для спасения народа
Надо тьму искоренить. . .

Засияет мир унылый —
Будет хлеб и свет для всех!
Мужичок, не смейся, милый,
Скептицизм — великий грех.

Сам префект винокурений
В Думе высказал: «Друзья,
Без культурных насаждений
С пьянством справиться нельзя. . .»

Значит. . . Что ж, однако, значит?
Что-то сбились мы слегка, —
Кто культуру в погреб прячет?
Не народ же. . . А пока —

Мужичок, глушите водку,
Как и все ее глушат,
В Думе просто драло глотку
Стадо правых жеребят.

Ах, я сделал сам находку:
Вы культурней их во всём —
Пусть вы пьете только водку,
А они коньяк и ром.

1908

* * *

Толчками турецкой военщины
Разбужены турки-одры,
И даже турецкие женщины
Гуляют теперь без чадры.

Как стройно прошла революция:
Бескровно и в несколько дней.
О, если бы их конституция
Была хоть немного длинней!

У нас лишь начало вакации...
Клянусь, в предложеньи моем
Не подлый расчет провокации,
Но теплого чувства подъем.

Что, если б для творчества яркого
Дать туркам сейчас напрокат
Гучкова, Крупенского, Маркова,
Володю и прочих ребят.

В делах укрепленья парламента
Такие они мастера,
Что я в полноте темперамента
Взываю к Шекспирам пера!

И если б Володи с Гучковыми
Остались у турок навек,
Не звал бы их нежными зовами
Назад ни один человек.

1908

* * *

Не думайте, что Босния
Пришита Франц-Иосифом
Для пользы хитрой Австрии...
Я тоже думал так.

Но Франц-Иосиф грамотно,
Умно и убедительно
В рескрипте доказал,
Что Босния захвачена
Невиннейшею Австрией
Для пользы... той же Боснии.
Знакомые слова!

А чтоб она не плакала
От этой эволюции,
Сошьют ей конституцию
Из стареньких штанов,
Штанов, кругом заплатанных,
Запятнанных, захватанных,
Штанов, совсем изношенных
И лишь недавно сброшенных
В австрийской стороне.

1908

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Наше время, подлое и злое,
Ведь должно было создать нам наконец
Своего любимого героя, —
И дитя законнейшее строя
Народилось... Вылитый отец!

Наш герой, конечно, не Печорин, —
Тот был ангелом, а нам нужнее бес;
Чичиков для нас не слишком черен,
Устарел Буренин и Суворин,
И теряет Меньшиков свой вес.

Пуришкевич был уже пределом,
За который трудно перейти...
Но пришел другой. И сразу нежно-белым
Пуришкевич стал душой и телом —
Даже хочется сказать: «Прости!»

Что́ Дубровин или Передонов?
Слабый, чуть намеченный рельеф...
Нет! Сильней и выше всех законов
Победитель Натов Пинкертонов —
Наш герой Азеф!

1908

СТРАННЫЙ ОБЫЧАЙ

Когда-то татары
Во время закуски
Бросали под доски
Захваченных русских.

Престранный обычай!
Иль эта расправа
Для их аппетита
Служила приправой?

Российскую прессу
Не меньше песту́ют:
Сдавили под прессом
И сверху пируют...

Но к русским татары
Гуманнее были —
Ведь те из-под досок
Свободно вопили!

<1909>

РАЗВЯЗНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ

С Новым годом поздравляю!
А на Старый наплевать.
Конституции желаю...
Отчего ж не пожелать?

Просвещения народу,
Уменьшенья податéй,
И хорошую погоду,
И здоровья для детей,

Исполнения желаний,
Верность друга и жены,
Теплой веры в миф бараний,
Политической весны

И собачье сверхтерпенье,
Если некуда удрать...
А засим — мое почтенье!
Больше нечего желать.

1909

КНИГИ

Есть бездонный ящик мира —
От Гомера вплоть до нас.
Чтоб узнать хотя б Шекспира,
Надо год для умных глаз.
Как осилить этот ящик? Лишних книг он не хранит.
Но ведь мы сейчас читаем всех, кто будет позабыт.
Каждый день выходят книги:
Драмы, повести, стихи —
Напомаженные миги
Из житейской чепухи.
Урываем на одежде, расстаемся с табаком
И любуемся на полке каждым новым корешком.
Пыль грязнит пуды бумаги.
Книги жмутся и растут.
Вот они, антропофаги
Человеческих минут!

Заполняют коридоры, спальни, сени, чердаки,
Подоконники, и стулья, и столы, и сундуки.
Из двухсот нужна одна лишь —
Перероешь, не найдешь,
И на полки грузно свалишь
Драгоценное и ложь.
Мирно тлеющая каша фраз, заглавий и имен:
Резонерство, смех и глупость, нудный случай, яркий стон...
Ах, от чтенья сих консервов
Горе нашим головам!
Не хватает бедных нервов,
И чутье трещит по швам.
Переполненная память топит мысли в вихре слов...
Даже критики устали разбирать пуды узлов.
Всю читательскую лигу
Опросите: кто сейчас
Перечитывает книгу,
Как когда-то... много раз?
Перечтите, если сотни быстрой очереди ждут!
Написали — значит, надо. Уважайте всякий труд!
Можно ль в тысячном гареме
Всех красавиц полюбить?
Нет, нельзя. Зато со всеми
Можно мило пошалить.
Кто «Онегина» сегодня прочитает наизусть?
Рукавишников торопит «том двадцатый». Смех и грусть!
Кто меня за эти строки
Митрофаном назовет,
Понял соль их так глубоко,
Как хотя бы... кашалот.
Нам легко... Что будет дальше? Будут вместо городов
Неразрезанною массой мокнуть штабели томов.

<1910>

РАЗМЫШЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Засунув руки в брюки,
Гляжу во двор от скуки.
В мозгу мотив канкана,
В желудке газ нарзана.

У старых бочек парни:
Детина из пекарни
И всяких прав поборник —
Алёха, младший дворник.

Они, возню затеяв,
На радость ротозеев,
Тузят — резвы и прытки —
Друг друга под микитки.

А мне, ей-ей, завидно...
Мне даже как-то стыдно,
Что я вот не сумею
Намять Алёхе шею.

Зачем я сын культуры,
Издерганный и хмурый,
Познавший с колыбели
Осмысленные цели?

Я ною дни и ночи.
Я полон многоточий;
Ни в чем не вижу смысла;
Всегда настроен кисло.

Мне надоели шахи,
Убийства, сплетни, крахи,
Растраченные фонды
И кража Джиоконды...

Я полон слов банальных —
Газетных и журнальных...
О неврастеник бедный,
Ненужный, даже вредный!

Зачем в судьбе случайной
Я не хозяин чайной,
Не повар, не извозчик,
Не розничный разносчик?

Я мог бы в речи жаркой
Марьяжиться с кухаркой,

Когда у кухни бодро
Она полощет ведра.

И дворник, полный местью,
За то меня честь-честью,
Забывши про поливку,
Хватил бы по загривку.

И этот вызов тонкий,
Отведавши «казенки»,
Я принял бы покорно
Душой нерефлекторной.

<1911>

МОРОЗ

На деревьях и кустах
Кисти страусовых перьев.
Банда бойких подмастерьев
Лихо мчится на коньках.

Прорубь в снежной пелене.
По бокам синеют глыбы.
Как дрожат от стужи рыбы
В мертвой, черной глубине!

Пахнет снегом и зимой.
В небе дымчатый румянец.
Пятки пляшут дробный танец
И, хрустя, бегут домой.

На усах хрустальный пух,
У ресниц сквозные стрелы.
Сквозь мираж заиндевелый
Реют стаи белых мух.

Растоплю, дрожа, камин.
Как свирель к устам венгерца,
Пусть прильнет к печали сердца
Яркий, угольный кармин...

Будут яблоки шипеть
На чугунной сковородке,
А в заслонке ветер кроткий,
Отогревшись, будет петь.

И в сенях, ворвавшись в щель
Из-под мутной снежной крыши,
Засвистит октавой выше
Одуревшая метель...

Ты придешь? Приди, мой друг, —
Обратим, назло природе,
Людям, року и погоде,
Зиму — в лето, север — в юг!

<1911>

* * *

Эпохе черной нашей нужен
Не демон Лермонтова — нет,
Он только б ею был сконфужен, —
Ведь гордый демон был эстет.

Веселый немец Мефистофель,
Попав в российские пески,
Брезгливо сморщив умный профиль,
Пожалуй, запил бы с тоски.

А бес-moderne,[1] вихляя задом,
Повыл, как пьяный пономарь,
И, зараженный трупным ядом,
Уполз к Венгерову в словарь...

Нет, нет! Эпохе нашей жалкой
Совсем особый нужен черт:
Черт-геркулес с железной палкой,
С душою жесткой, как ботфорт.

Чтоб руки, словно молотилки,
Зажавши палки, ночь и день,

---

[1] Новомодный (франц). — *Ред.*

Глушили б темные затылки,
Бросая в кучу пень на пень...

Но дьявол-скепсис, как гадалка,
Смеясь пророчит: «Пустяки!
Быть может, выдержала б палка,
Да черта разорвут в клочки».

<1912>

НА ЕЛАГИНОМ

Не справляясь с желаньем начальства,
Лезут почки из сморщенных палок,
Под кустами — какое нахальство! —
Незаконное скопище галок,
Ручейков нелегальные шайки
Возмутительно действуют скопом
И, бурля, заливают лужайки
Лиловатым, веселым потопом.
Бесцензурно чирикают птицы,
Мчатся стаи беспаспортных рыбок,
И Нева контрабандно струится
В лоно моря для бешеных сшибок...
А вверху, за откосом, моторы
Завели трескотню-перестрелку
И, воняя бензином в просторы,
Бюрократов уносят на Стрелку.
Отлетают испуганно птицы,
Рог визжит, как зарезанный боров,
И брезгливо-обрюзгшие лица
Хмуро смотрят в затылки шоферов.

<1912>

ДЕЖУРНОЕ БЛЮДО

Всегда готовое голодное витийство
Нашло себе вопрос очередной:
Со всех столбцов вопит «Самоубийство», —
Масштаб мистический, научный и смешной.

Кто чаще травится — мужчины или дамы,
И что причиной — мысли иль любовь?
Десятки праздных с видом Далай-Ламы
Макают перья в тепленькую кровь.

И лихачи, искрясь дождем улыбок
И не жалея ловких рук и ног,
В предсмертных письмах ищут лишь ошибок:
Там смерть чрез «ѣ», а там — комичен слог.

Последний миг подчас и глуп, и жалок,
А годы скорби скрыты и темны, —
И вот с апломбом опытных гадалок
Ведут расценку трупов болтуны.

В моря печатных праздных разговоров
Вливаются потоки устных слов:
В салонах чай не вкусен без укоров
По адресу простреленных голов...

Одних причислят просто к сумасшедшим,
Иных — к незрелым, а иных — к «смешным»!..
Поменьше бы внимания к ушедшим,
Побольше бы чутья к еще живым!

Бессмысленно стреляться из-за двойки, —
Но сами двойки — ваша ерунда,
И ваш рецепт тупой головомойки
Не менее бессмыслен, господа!

И если кто из гибнущих, как волки,
Выходит из больницы иль тюрьмы, —
Не всё ль равно вам, выпьет он карболки
Или замерзнет в поле средь зимы?

Когда утопленника тащат из канала,
Бегут подростки, дамы, старички,
И кто-нибудь, болтая что попало,
Заглядывает мертвому в зрачки.

Считайте ж ведра уксусного зелья!
Пишите! Глотка лжива и черства:
«Сто тридцать отравилось от безделья,
А двести сорок два — из озорства».

<1913>

НОВЫЙ «ИЗМ»

Нет денег, угол хуже склепа,
Талант в пределах ремесла,
Работать скучно, ждать нелепо,
И конкурентам нет числа.

Что делать? Тлея незаметно,
Писать портреты с чахлых дев?
Но самолюбие — как Этна,
Но самолюбие — как лев!

И вот развязные кастраты,
Раскрасив синькой животы,
Толпою лезут в Геростраты
И рушат славных с высоты.

«Долой слащавых Тицианов!
Долой бездарных пастухов!
Под гром турецких барабанов
Построим храм из лопухов!»

И спорят: в центре крыши — двери,
Вдоль пола — окна. Принцип прост!
Со стен глядят смешные звери:
Шесть ног, шесть глаз, из пасти — хвост.

Пускай прием не гениальный,
Но он испытан. Цепь зевак
Бежит, шумя, на вид скандальный
В салон «Квадратный Вурдалак».

Сначала хохот и глумленье,
Потом, глядишь, один, другой
Стоит у стенки в размышленьи,
Тряся задумчиво ногой...

«А нет ли здесь чего такого?
Ведь сам маститый разъяснил,
Что Врубель тоже был сурово
Осмеян стадом пошлых сил...»

В четверг маститый гибкий критик
Оценит новый «Вурдалак», —
Он в ногу с веком и политик,
И он напишет... так и сяк.

Готово «Новое теченье!»
Смеются, спорят и хулят, —
А вурдалаки в восхищеньи
Пьют легкой славы острый яд...

<1913>

ВОРОБЬИНАЯ ЭЛЕГИЯ

У крыльца воробьи с наслаждением
Кувыркаются в листьях гнилых...
Я взираю на них с сожалением,
И невольно мне страшно за них:

Как живете вы так, без правительства,
Без участков и без податей?
Есть у вас или нет право жительства?
Как без метрик растите детей?

Как воюете без дипломатии,
Без реляций, гранат и штыков,
Вырывая у собственной братии
Пух и перья из бойких хвостов?

Кто внедряет в вас всех просвещение
И основы моралей родных?
Кто за скверное вас поведение
Исключает из списка живых?

Где у вас здесь простые, где знатные?
Без одежд вы так пресно равны...
Где мундиры торжественно-ватные?
Где шитье под изгибом спины?

Нынче здесь вы, а завтра в Швейцарии, —
Без прописки и без паспортов
Распеваете вольные арии
Миллионом незамкнутых ртов...

Искрошил воробьям я с полбублика,
Встал с крыльца и тревожно вздохнул:
Это даже, увы, не республика,
А анархии дикий разгул!

Улетайте... Лихими дворянами
В корне зло решено ведь пресечь —
Не сравняли бы вас с хулиганами
И не стали б безжалостно сечь!

<1913>

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

(Посвящается министерству народного просвещения)

Родитель при встрече с директором сына
Обязан всегда становиться во фронт.
Супруга ж родителя молча и чинно
Берет «на кра-ул» черный шелковый зонт.

Одежда родителей в будни простая:
Суконное платье не в ярких тонах.
По табелям — блузки из белого фая
И черные фраки при черных штанах.

Небуйным родителям с весом и с чином
Дозволен прием всех казенных питей.
Курить разрешается только мужчинам,
Но дома, притом запершись от детей!

За чтением книг наблюдает инспектор —
За книгой приходит отец или мать.
Газету всегда выбирает директор.
На пьесах «с идеей» отнюдь не бывать.

О каждом рождении чада родитель
Обязан в гимназию сам донести.
Предельную норму блюдет попечитель:
Не менее двух и не больше шести.

С детьми разговаривать можно, но редко...
Нельзя возвращаться в ночные часы.
Прическа у женщин должна быть под сеткой.
Мужчинам же можно носить и усы.

В гостиной над печкой (отнюдь не в передней)
Повесить портреты всех школьных властей.
По праздникам слушать попарно обедни,
Чтоб сим благотворно влиять на детей.

Раз в месяц всех дворников классный наставник
Обходит, чтоб справки о всем навести:
Кто вел себя плохо, тех местный исправник
Сажает — от месяца до десяти.

У скромных родителей — скромные дети,
А путь послушанья — путь к лучшей судьбе.
Родители мудрые правила эти
Должны постоянно носить при себе.

<1913>

ПРИКАЗ

Бумажные бодрители
Трещат из всех щелей:
«Читатели и зрители,
Бодрей, бодрей, бодрей!»

Маститые и «синие»
Журнальные одры —
Все шлют приказ по линии,
Чтоб были все бодры...

Конечно, бодрость — качество
Прекрасное вполне,
Но скорбь ведь не чудачество,
И горе — не во сне.

Ведь хамство всё развязнее,
Терпенье всё мертвей,
Разгром всё безобразнее,
А ветер всё правей...

Смешно в лицо голодное,
Чтоб подсластить наш быт,
Орать сто раз бесплодное:
«Будь сыт, будь сыт, будь сыт!»

<1913>

СТИХОТВОРЕНИЯ
1926—1932 гг.

ПАСХА В ГАТЧИНЕ

А. И. Куприну

Из мглы всплывает ярко
Далекая весна:
Тишь гатчинского парка
И домик Куприна.
Пасхальная неделя —
Беспечных дней кольцо,
Зеленый пух апреля,
Скрипучее крыльцо...
Нас встретил дом уютом
Веселых голосов
И пушечным салютом
Двух сенбернарских псов.
Хозяин в тюбетейке,
Приземистый как дуб,
Подводит нас к индейке,
Склонивши на́бок чуб...
Он сам похож на гостя
В своем жилье простом...
Какой-то дядя Костя
Бьет в клавиши перстом...
Поют нескладным хором, —
О, ты, родной козел!
Весенним разговором
Жужжит просторный стол.
На гиацинтах алых
Морозно-хрупкий мат.

В узорчатых бокалах
Оранжевый мускат.
Ковер узором блеклым
Покрыл бугром тахту,
В окне — прильни-ка к стеклам —
Черемуха в цвету!

Вдруг пыль из подворотни,
Скрип петель в тишине, —
Казак уральской сотни
Въезжает на коне.
Ни на кого не глядя,
У темного ствола
Огромный черный дядя
Слетел пером с седла.
Хозяин дробным шагом
С крыльца, пыхтя, спешит.
Порывистым зигзагом
Взметнулась чернь копыт...
Сухой и горбоносый
Хорош казачий конь!
Зрачки чуть-чуть раскосы, —
Не подходи! Не тронь!
Чужак погладил темя,
Пощекотал чело
И вдруг, привстав на стремя,
Упруго влип в седло...
Всем телом навалился,
Поводья в горсть собрал, —
Конь буйным чертом взвился,
Да, видно, опоздал!
Не рысь, а сарабанда...
А гости из окна
Хвалили дружной бандой
Посадку Куприна...

Вспотел и конь, и всадник.
Мы сели вновь за стол...
Махинище урядник
С хозяином вошел.
Копна прически львиной,

И бородище — вал.
Перекрестился чинно,
Хозяйке руку дал...
Средь нас он был как дома,
Спокоен, прост и мил.
Стакан огромный рома
Степенно осушил.
Срок вышел. Дома краше...
Через четыре дня
Он уезжал к папаше
И продавал коня.
«Цена... ужо успеем».
Погладил свой лампас,
А чуб цыганским змеем
Чернел до самых глаз.
Два сенбернарских чада
У шашки встали в ряд:
Как будто к ним из сада
Пришел их старший брат...
Хозяин, глянув зорко,
Поглаживал кадык.
Вдали из-за пригорка
Вдруг пискнул паровик.
Мы пели... Что? Не помню.
Но так рычит утес,
Когда в каменоломню
Сорвется под откос...

Март 1926
Париж

МИСТРАЛЬ

Пускай провансальские лиры звенят:
«Мистраль — это шепот влюбленных дриад,
Мистраль — это робкий напев камыша,
Когда в полнолунье он дремлет, шурша,
Мистраль — перекличка мимозных стволов,
Дубово-сосновая песня без слов,
Мистраль — колыбельная песня лозы,
Молитва лаванды и вздох стрекозы...»

Пускай провансальские лиры звенят, —
Я прожил в Провансе два лета подряд.

Сегодня в усадьбе бушует мистраль.
С утра замутилась небесная даль,
Летят черепицы с грохочущих крыш,
В истерике бьется безумный камыш,
У псов задираются к небу хвосты,
Из книги, шипя, вылетают листы,
Верандная кровля, как дьявол шальной,
Шуршащее чрево вздымает копной,
И кот мой любимый, мой вежливый кот,
В отчаяньи лапою землю дерет...
У моря ли сядешь — лопочет песок,
Струится за шиворот, хлещет в висок,
Колючие брызги врываются в нос,
И ветер горланит, как пьяный матрос.
В лесу ли укрытого ищешь угла, —
Пронзает сквозняк от ствола до ствола,
Вверху завывает чудовищный рог,
Взлохмаченный вереск скрежещет у ног,
А злое шипенье сосновых кистей
Вползает под кожу до самых костей...
Из хижины старой в окошко гляжу:
Дыбясь, виноградник ложится в межу,
Вздымаются ленты засохших бобов,
И желчь приливает до самых зубов...
Кого бы зарезать? Кота или пса?
Над крышей шакальи хрипят голоса,
Под балкой качается сонная гроздь, —
И с завистью тайной косишься на гвоздь.
Душа — словно мокрый, слинявший чулок...
С размаху бросаешь тетрадь в потолок.
В ответ в очаге загудели басы,
И сажа садится, кружась, на усы.

В саду показался земляк-агроном,
Под мышкой баклага с пунцовым вином,
Рот стиснут, в глазах смертоносная сталь,
Прическу винтом завивает мистраль.
Влетевший за ворот воздушный поток
Из левой штанины вдруг вырвался вбок...

Спина парусит, и бока пузырем.
Буксирной походкой берет он подъем.
«С веселой погодкой, любезнейший друг!»
В ответ агроном описал полукруг
И вдруг превратился в живую спираль...
. . . .
О, шепот дриады! О, нежный мистраль!

1927
Ла Фавьер

МОЙ РОМАН

Кто любит прачку, кто любит маркизу,
У каждого свой дурман, —
А я люблю консьержкину Лизу,
У нас — осенний роман.

Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, —
Смешна любовь напоказ!
Но всё ж тайком от матери строгой
Она прибегает не раз.

Свою мандолину снимаю со стенки,
Кручу залихватски ус...
Я отдал ей всё: портрет Короленки
И нитку зеленых бус.

Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу,
Грызем соленый миндаль.
Нам ветер играет ноябрьскую фугу,
Нас греет русская шаль.

А Лизин кот, прокравшись за нею,
Обходит и нюхает пол.
И вдруг, насмешливо выгнувши шею,
Садится пред нами на стол.

Каминный кактус к нам тянет колючки,
И чайник ворчит, как шмель...
У Лизы чудесные теплые ручки
И в каждом глазу — газель.

Для нас уже нет двадцатого века,
И прошлого нам не жаль:
Мы два Робинзона, мы два человека,
Грызущие тихо миндаль.

Но вот в передней скрипят половицы,
Раскрылась створка дверей...
И Лиза уходит, потупив ресницы,
За матерью строгой своей.

На старом столе перевернуты книги,
Платочек лежит на полу.
На шляпе валяются липкие фиги,
И стул опрокинут в углу.

Для ясности, после ее ухода,
Я всё-таки должен сказать,
Что Лизе — три с половиною года...
Зачем нам правду скрывать?

1927
Париж

ИЗ РИМСКОЙ ТЕТРАДИ

По форуму Траяна
Гуляют вяло кошки.
Сквозь тусклые румяна
Дрожит лимонный зной...
Стволом гигантской свечки
Колонна вьется к небу.
Вверху, как на крылечке, —
Стоит апостол Петр.
Колонна? Пусть колонна.
Под пологом харчевни
Шальные мухи сонно
Садятся на ладонь...
Из чрева темной лавки
Чеснок ударил в ноздри.
В бутылке на прилавке
Запрыгал алый луч...

В автомобилях мимо,
Косясь в лорнет на форум,
Плывут с утра вдоль Рима
Презрительные мисс.
Плывут от Колизея,
По воле сонных гидов,
Вдоль каждого музея
Свершить свой моцион...
А я сижу сегодня
У форума Траяна,
И синева господня
Ликует надо мной,
И голуби картавят,
Раскачивая шейки,
И вспышки солнца плавят
Немую высоту...
Нанес я все визиты
Всем римским Аполлонам.
У каждой Афродиты
Я дважды побывал...
О, старина седая!
Пусть это некультурно, —
Сегодня никуда я,
Ей-богу, не пойду...
Так ласково барашек
Ворчит в прованском масле...
А аромат фисташек
В жаровне у стены?
А мерное качанье
Пузатого брезента
И пестрых ног мельканье
За пыльной бахромой?
Смотрю в поднос из жести.
Обломов, брат мой добрый!
Как хорошо бы вместе
С тобой здесь помолчать...
Эй, воробьи, не драться!
Мне триста лет сегодня,
А может быть, и двадцать,
А может быть, и пять.

<1928>

ГОРОДОК

У подножья лесных молчаливых холмов
Россыпь старых домов.
Пирамидкой замшелой восходит костел,
Замыкая торжественно дол.
В тихой улочке стены изгибом слились.
Спит лазурная высь...
Парусит занавеска над входом-норой.
Гусь кричит под горой.

Здесь, в лавчонке глухой, отдыхает душа.
Выбирай не спеша
Стопку старых конвертов, лежалый бисквит,
Колбасу из ослиных копыт...
Пахнет затхлой корицей, алеет томат,
Мухи томно жужжат,
И хозяин, небритый сухой старичок,
Равнодушен, как рок.

Вот и почта. Над ящиком стерлись слова.
Под окошком трава...
Опускай свои письма в прохладную щель,
Господин менестрель!
За решеткой почтмейстер, усатый бандит,
Мрачно марки слюнит.
Две старухи, летучие мыши в платках,
Сжали деньги в руках.

И опять я свободен, как нищий дервиш.
Влево — мост и камыш,
Вправо — тишь переулка, поющий фонтан,
И над плеском — лохматый платан.
Колченогие старцы сидят у бистро,
Олеандр пламенеет пестро...
Средь домов вьется в гору дорога-змея,
И на каждом пороге — семья.

Сквозь каштаны пылает сверкающий диск.
Площадь. Пыль. Обелиск.
Как во всех городках, этот камень простой
Вязью слов испещрен золотой.

Имена, имена... Это голос страны,
Это скорбное эхо войны:
«Кто б ты ни был, прохожий, замедли в пути
И детей наших мертвых почти».

Я склоняю чело... Здесь вокруг их — земля,
И холмы, и поля...
Только звона своих колокольных часов
Не слыхать им во веки веков,
Только в глине чужой под подножьем креста
Обнажились оскалом уста,
Только ветер чужой, вея буйным крылом,
Напевает им черный псалом...

Воробьи налетели. Под дерзкий их писк
Обогнул обелиск.
На решетке, качаясь, висят малыши,
Голубь взвился в тиши...
У последнего дома кудлатый щенок
Изгибается в льстивый клубок:
«О прохожий, зачем ты уходишь к реке?
Разве плохо у нас в городке?»

<1928>

В МАРСЕЛЕ

Посмотри, посмотри, как вскипает, как пенится след!
Чайки низко над нами летят вперегонку...
Провансалец-старик надвигает на брови берет,
Смотрит вбок на сапфирный лоснящийся цвет
И в мотор наклоняет масленку.

Раздвигается порт. Вкусно пахнет соленая даль.
За спиной над домами янтарная мгла и пылища.
На волне, отражая дрожаще-цветную спираль,
Пароходы пустые открыты до ржавого днища.
Удирает душа... Ничего на земле ей не жаль.

Паутиной стальною маячит воздушный паром.
Спят подъемные краны, амбары пустынны и резки.

Островок, как дракон, промелькнул острозубым бугром,
Мол растаял и косо отходит гранитным ребром.
Закачался наш катер... Веселые брызги и всплески!

Далеко-далеко чуть сквозит желто-серый Марсель.
Богородица — щит рыбаков — золотится над далью.
Развертелась моторная прялка — журчащая трель,
Хрусталем васильковым вспухает морская постель,
Переливчатой льется эмалью...

Повернули назад. Не навек же заплыли сюда...
Катер мал. Надо жить, и ходить, и работать, и драться.
Ты послушай, послушай, как гулко лопочет вода!
На часок из тюрьмы отпускает судьба иногда,
Час промчался... изволь возвращаться.

Вырастают седые дома, расплывается мгла.
Флаг наш вяло повис — скучно в гавани виться
и хлопать...
Как гагары, качаются лодки, томительно пахнет смола.
У камней полукругом кишат-копошатся тела —
Это люди смывают марсельскую копоть...

<1928>

СОЛНЦЕ

Угрюмый делец почтенных лет
Бросил портфель и застыл на скамейке:
Так мирно струится янтарный свет,
Так зыбки в листьях хрустальные змейки...

А в детской коляске серьезный малыш
Занес осторожно пухлые пальцы:
Солнце слетело с далеких крыш,
Он его ловит на одеяльце...

Мальчик-посыльный идет через мост.
В пуговках ясных острые блики...
Забыв порученье и важный свой пост,
Свистит и машет рукою, как дикий.

И пес, солидный циник-бульдог,
Лежит на пороге и греет темя.
Мечтательно сжаты обрубки ног,
В зрачках золотится лучистое семя.

И чижик в клетке робко пищит:
Дрожат-пылают дома и трамваи,
Горит над платаном сверкающий щит,
И мимо проносятся птичьи стаи.

Художник, расставив в сквере мольберт,
Сердито мешает желтые краски, —
В ушах разливается птичий концерт,
В глазах — колыхание солнечной пляски...

А сверху, в кресле слепой старик
Пустыми глазницами смотрит на солнце...
Дыхание легче, светлеет лик,
И всё теплее перила балконца.

И вон на углу — смотри и молчи —
Сверкают стрелы на медленных дрогах,
Дробятся в бисерных розах лучи
И весело пляшут на траурных тогах...

1928
Париж

ИЗ ЛЕТНЕЙ ТЕТРАДИ

1

Пьяный мотылек

На ночной веранде столик.
Лампа. Алый блеск вина...
Мотылек, ты алкоголик!
Ты упьешься допьяна...

Но припал он и не слышит, —
Восемнадцатый глоток!
Ветер крылышки колышет,
Жадно ходит хоботок.

Обсосал края бокала
И в вино свалился вниз.
«Нет блаженнее финала», —
Тихо молвил бы Гафиз.

2

Душ

В саду расплавленная лава.
На кухне — пекло, в спальне — сушь
Но там, под елкою, направо —
Прохладный душ.

В кругу рогож, как хризантема,
Стою, глаза потупив ниц.
Над головою — диадема
Из зыбких спиц.

Бокам свежей... Трясется будка.
Я наслаждаюсь, грудь раздув.
Но вот из-под рогожи утка
Продела клюв.

Всё подбирается поближе, —
Кряхтит и плещется у ног.
Как стали девушки бесстыжи!
Помилуй бог...

3

Парадокс

Кричит котенок, просится: «Возьми»!
Ну что ж, понянчу, пусть не плачет.
И пес перед дверьми
Припал к ногам и нос в колени прячет.
Коза под деревом, веревку натянув,
Вытягивает морду благосклонно,
И старый гусь, склонив учтиво клюв,
За мной шагает, словно бонна!

Земные парадоксы странны...
Как разобраться в этакой причуде?
В Париже — озверели люди,
А здесь, в глуши, — скоты гуманны.

4

Постирушка

Всё на свете условно...
У колодца в корыте
Я стираю любовно
Носовые платки.

Осы вьются над чубом.
Пена брызжет в ресницы...
В упоеньи сугубом
Полощу и свищу.

Но с судьбою не сладить:
Нету полного счастья!
Не умею я гладить, —
Не умею, хоть плачь...

1928

НА ТОКУ

По овсяным снопам
Возит мул допотопный каток,
Свесил голову вбок,
Подбирает колосья к зубам.
Шелестит карусель...
Напрягает все мускулы мул,
Раздувает бока,
А хозяин уселся под ель,
Трубку в зубы воткнул
И дымит в облака.

Ходит мул без конца...
И бормочет, и фыркает в нос:

«Надо в поте лица
Добывать свой насущный овес!»
А за толстым гранитным катком
Ходят гуси гуськом
И, шипя и косясь на бревно,
Не трудясь, подбирают зерно.

Слышишь, веялка мерно пыхтит?
Пыль из устья раструбом летит.
Русский запах овса — благодать!
Ты вертись, ты вертись, рукоять...
Раздобрели мешки,
Как поповны, толсты-широки...
Напрягая хребет меж колес,
Мул в сарай на двуколке их свез.

Плавно вздулось белье на лугу.
На току — ни души,
Только голуби бродят в кругу.
На овсяном стогу
Человек разметался в тиши...
Жук в соломе шуршит у волос,
Над глазами — метелкой овес.
Гаснет в небе коралловый пыл,
Аметистом пронизана даль,
И над бором — родная печаль —
Левитановский месяц застыл.

1928
Пюжет

ОШИБКА

(Рассказ в стихах)

Это было в Булонском лесу —
В марте.
Воробьи щебетали в азарте,
Дрозд пронесся с пушинкой в носу...
Над головой
Шевелили пухло-густыми сережками
Тополя,
Ветер пел над дорожками,

И первой травой
Зеленела земля.
Я сидел на скамейке
Один.
А вдали, у аллейки,
Лиловый стоял лимузин.

Сквозь стволы — облаков ожерелие...
Вдруг на дорожке
Показалась с сиамскою кошкой
Офелия...
Ноги — два хрупких бокала,
Глаза — два роковых василька,
Губы — ветка коралла.
Змеисто качались бока,
С плеча развратным, рыжим каскадом
Свисала лисица.
Поравнялась... Окинула взглядом
Стоящий вдали лимузин,
Раскрыла тюльпаном свой кринолин:
Садится.

Сначала сиамская кошка,
Как удав,
Потерлась о мой равнодушный рукав
И поурчала немножко...
Потом и Офелия,
Ко мне повернувшись слегка,
Показала конец язычка...
Приворотное зелие!
Глаза ее видели зорко:
За липой *мой* лимузин.
Я — седой господин,
Поросячий король из Нью-Йорка.
Ах, как стреляли два василька —
В меня, в лимузин, в облака!
Как кончик туфли волновался!
Но я не сдавался...

Чтоб в даме с рыжей лисой
Рассеять туман, —
Полез я в карман

И вынул хлеб с колбасой
В эмигрантской газете...
Милые дети!
Что́ с ней вдруг стало!..
А вдали к лимузину устало
Подошел англичанин с женой
И укатили домой.
Офелия встала...
Даже у кошки сиамской
По логике дамской
Засверкал раздраженьем
Дымно-сиреневый глаз...
Ушли с презреньем,
Не обернулись даже назад...
Вот и весь мой рассказ...

Разве я виноват?

<1929>

ЧЕРНИКА

Над болотцем проносится вздох, —
Это ахнула сонная жаба.
Изумрудный в звездочках мох...
На полянке — с лукошком баба.

Проглядела, не видит, прошла:
Россыпь рыжиков дремлет под елкой.
Под стволом паутинная мгла
И шатер островерхий и колкий.

Стебельки пронизали весь мох.
Средь малиновых капель гвоздики,
В светлых листьях, как сизый горох,
Чуть колышутся гроздья черники.

Не вставай, не сгибайся... Лежи:
За охапкой притянешь охапку...
Возле вала, у старой межи,
Наберешь ты полную шапку.

И на дачу лениво придешь.
Молоко на коленях в тарелке.
Льются ягоды... Легкая дрожь.
Пересыплешь их сахаром мелким.

Холодок на зубах и в душе,
Сладкий запах лесного затишья.
За калиткой, в густом камыше,
Шелестящая жалоба мышья.

Ложка в сонной ладони замрет.
За стволами — крестьянские срубы...
И бесцельно на ласточкин лёт
Улыбаются синие губы.

<1929>

ГОРОДСКИЕ ЧУДЕСА

1

Пчела

Перед цветочной лавкой на доске
Из луковицы бурой и тугой
Вознесся гиацинт:
Лиловая душа,
Кадящая дурманным ароматом...
Господь весной ей повелел цвести,
Вздыматься хрупко-матовым барашком.

Смотри:
Над гиацинтом вьется
Пушистая пчела...
То в чащу завитков зароет тельце —
Дрожит, сбирает дань.
То вновь взлетит
И чертит круг за кругом.

Откуда ты, немая хлопотунья?
Где улей твой?
Как в лабиринт многоэтажный
Влетела ты, крылатая сестра?

Куда свой сладкий груз
Снесешь под гул автомобилей и трамваев?

Молчит. Хлопочет.
И вдруг взвилась — всё выше, выше —
До вывески «бандажной мастерской»...
И скрылась.

2

Обезьянка

Косою сеткой бьет крупа.
По ярмарке среди бульвара
За парой пара
Снует толпа.
Строй грязных клеток,
Полотнища шатров,
Собачий визг рулеток,
Нуга — будильник — и пузыри шаров.

У будки прорицателя — шарманка:
Визжит, сзывает, клянчит...
Худая обезьянка,
Сгорбив спинку,
Качает-нянчит,
Зажавши книзу головой,
Морскую свинку.
Так нуден сиплый вой!

Качает-греет...
Гладит лапкой
Чужого ей зверька,
А он, раздув бока,
Повис мохнатой тряпкой,
Тупой и сонный.
И опять
Она к нему влюбленно
Склоняется, как мать.

Качает, нежит...
Застыл маляр худой

С кистями за плечами,
И угольщик седой, —
Глаза переливаются лучами...
Склонился лавочник к жене,
И даже бравые солдаты —
Взвод краснощекой деревенщины —
Притихли в стороне.
Шарманка ржет...
Вздыхают женщины:
Кто лучше их поймет?

Апрель 1929
Париж

В БУЛОНСКОМ ЛЕСУ

Там, за последней виллой,
Вдоль глинистого рва
Светло-зеленой силой
Вздымается трава...

Весенним изумрудом
Омолодила пни,
Упавший ствол верблюдом
Раскинулся в тени.

Кольцо березок кротких
Под облаком седым
Роняет с веток четких
Зеленокудрый дым.

Мальчишка влез на липку —
Качается, свистя...
Спасибо за улыбку,
Французское дитя!

«Слезай-ка, брось свой мячик,
Мой фокс совсем не злой, —
Быстрее всех собачек
Помчится он стрелой...»

И вот они уж вместе —
И зверь, и мальчик-гном.

Жестянка мокрой жести
Сверкнула под кустом.

Ну что ж, здесь были люди,
А людям надо есть.
В зеленом этом чуде
Пускай цветет и жесть...

Вверху клубки амелы
Как шапки сизых гнезд,
Под бузиной замшелой
Хлопочет черный дрозд.

С дороги у изгиба
Моторный рявкнул бас...
Спасибо, лес, спасибо
За этот добрый час.

1930

НА КРЫЛЬЦЕ

В колодец гулко шлепнулась бадья,
Склонилась баба, лихо вздернув пятку;
Над дубом стынет лунная ладья,
Тускнея радужно сквозь облачную грядку.
Туманным пологом окутаны поля,
Блеснул костер косым огнем у рощи.
За срубом зашипела конопля,
Нет в мире песни ласковей и проще...
Лень-матушка, а не пора ль соснуть?
Солома хрустнет под тугой холстиной,
В оконце хлынет сонный Млечный Путь.
У изголовья — чай с лесной малиной...
Но не уйти: с лугов — медвяный дух,
И ленты ивы над крыльцом нависли.
А там, в избе, — стокрылый рокот мух,
И духота, и городские мысли...
Нахмуренный, в рубахе пузырем,
Прошел кузнец, как домовой, лохматый,
И из больницы, в ботах, с фонарем,

Старушка докторша бредет тропой покатой.
Я гостье рад... В пустыне средь села
Так крепким дорожишь рукопожатьем...
Ты, горечь старая, тяжелая смола,
Каким тебя заговорить заклятьем?

<1930>

СОБАЧИЙ ПАРИКМАХЕР

В огромном городе так трудно разыскать
Клочок романтики — глазам усталым отдых:
У мутной Сены,
Вдоль стены щербатой,
Где мост последней аркою круглится, —
Навес, скамья и стол.
Старик с лицом поэта,
Склонившись к пуделю, стрижет бугром руно.
Так благородно-плавны жесты рук,
Так благостны глаза,
Что кажется: а не нашел ли он
Призвание, чудеснейшее в мире?
И пес, подлец, доволен, —
Сам подставляет бок,
Завел зрачок и кисточкою машет...
В жару кудлатым лешим
Слоняться не легко,
И быть красавцем — лестно;
Он умница, он это понимает.
Готово!
Клиент, как встрепанный, вскочил — и на́земь.
Ты, лев собачий! Хитрый Дон-Жуан
С седою эспаньолкою на морде...
Сквозь рубчатую шерсть чуть розовеет кожа,
Над шеей муфта пышною волной, —
Хозяин пуделя любовно оглядел
И, словно заколдованного принца,
Уводит на цепочке.
С балкона кошка щурится с презреньем...
А парикмахер положил на стол
Болонку старую, собачью полудеву,
Распластанную гусеницу в лохмах...

Сверкнули ножницы, рокочет в Сене вал,
В очках смеется солнце.

Пришла жена с эмалевым судком,
Увядшая и тихая подруга.
Смахнула шерсть с собачьего стола,
Газету распластала...
Три тона расцветили мглу навеса:
Бледно-зеленый, алый и янтарный —
Салат, томаты, хлеб.
Друг другу старики передают
С изысканностью чинной
То нож, то соль...
Молчат, — давно наговорились.
И только кроткие глаза
Не отрываясь смотрят вдаль
На облака — седые корабли,
Плывущие над грязными домами:
Из люков голубых
Сквозь клочья пара
Их прошлое, волнуясь, выплывает.
Я, прохожий,
Смотрю на них с зеленого откоса
Сквозь переплет бурьяна
И тоже вспоминаю:
Там, у себя на родине, когда-то
Читал о них я в повести старинной, —
Их «старосветскими помещиками» звали...
Пускай не их — других, но символ тот же,
И те же выцветшие добрые глаза,
И та же ясная внимательность друг к другу, —
Два старых сердца, спаянных навеки.

Как этот старый человек,
С таким лицом, значительным и тонким,
Стал стричь собак?
Или в огромной жизни
Занятия другого не нашлось?
Или рулетка злая
Подсовывает нам то тот, то этот жребий,
О вкусах наших вовсе не справляясь?

Не знаю...
Но горечи в глазах у старика
Я, соглядатай тайный, не приметил...
Быть может, в древности он был бы мудрецом,
В углу на площади сидел, лохматый, в бочке
И говорил глупцам прохожим правду
За горсть бобов...
Но современность зла:
Свободных бочек нет,
Сограждане идут своей дорогой,
Бобы подорожали, —
Псы обрастают шерстью,
И надо же кому-нибудь их стричь.
Вот, пообедали. Стол пуст, свободны руки.
Подходит девушка с китайским вурдалаком,
И надо с ней договориться толком,
Как тварь любимую по моде окорнать...

1930

ПАРИЖСКИЕ БУДНИ

Где газовый завод вздымал крутые трубы,
Столбами пламени тревожа вечера, —
Там нынче — пепелище.
Вдали амфитеатром —
Изгибы стен, балконы, ниши, окна,
Парижский пестрый мир,
А здесь — пустыня.
Сухой бурьян бормочет на ветру,
Последние ромашки доцветают;
В углу — каштан пожухлый, кроткий, тихий —
Костром холодным в воздухе сквозит.
Плиты в мокрых ямах
Отсвечивают окисью цветистой;
Над скатом поздний клевер
Беспечно зеленеет,
А в вышине — тоскующие сны —
Клубятся облака.

Как бешеные носятся собаки,
Играют в чехарду,

Друг друга за уши, как дети, теребят
И добродушно скалят зубы.
«Что стоишь, прохожий?
Побегал бы ты с нами вперегонки...
Через бугры и рвы галопом вольным... Гоп!»
Так глухо за стеной звенят трамваи,
Так плавно куст качается у ног,
Как будто ты в подводном царстве.
А у стены старик —
Небритый нищий, плотный, красный, грязный —
Среди обрезков ржавой жести
В роскошной позе на мешках возлег
И, ногу подогнув, читает —
Я по обложке яркой вижу —
Роман бульварный...
Господь с тобой, бездомный сибарит!

Худая женщина застыла на бревне,
У ног — клубок лимонно-желтой шерсти,
В руках — дорожка шарфа...
Глаза на сложенный булыжник смотрят, смотрят,
Как будто пирамидой перед ней
За годы долгие весь груз ее забот
У ног ее сложили.
Опущенная кисть недвижна и суха,
И зябко ежатся приподнятые плечи, —
Но все же горькая отрада тешит тело:
Короткий роздых, запах вялых трав,
Распахнутые дали над домами
И тишина...
А рядом дочка, пасмурный зверек,
Жестянки тусклые расставив колоннадой,
Дворец осенний строит.
Насупилась... Художники не любят,
Когда прохожие на их работу смотрят.
Дичок мой маленький! Не хмурься, ухожу...
Стекло разбитое блеснуло в кирпичах.
За всё глаза сегодня благодарны.
Пустырь молчит. Смотрю с бугра кругом.
Какой магнит нас всех сюда привлек:
Собак бродячих, нищего седого,
Худую женщину с ребенком и меня?

Бог весть, но это пепелище в этот час
Всего на свете нам милее...

А вот и дар: средь рваных лопухов
Цветет чертополох... Как это слово гулко
Раскрыло дверь в забытые края...
Чей жезл среди Парижа
Взлелеял эти дикие цветы?
Такою совершенной красотой
Над мусором они тянулись к небу,
Что дальний рев сирен с буксирных пароходов
Валторнами сквозь сердце пролетел.
Три цветка,
Лиловых три пушка
В оправе стрельчатых ажурных игол листьев,
Сорвал я осторожно,
Зажал в платок,
И вот — несу домой.
Пусть в уголке на письменном столе
В бокале погостят.
О многом я забыл — как все мы позабыли, —
Они помогут вспомнить.

1930

У СЕНЫ

В переулок — к бурлящей Сене,
Где вода, клокоча, омывает ступени,
Заливая берег пологий, —
Всё приходят люди в тревоге:
Рабочий хмурый,
Конторщик понурый,
Озябший старик с ребенком,
Девушка с рыжим котенком...
Слушают грозный гул
Воды, встающей горбом у лапы моста.
У откоса последняя грива куста
Опрокинулась в мутный разгул...
К берегу жмется мертвый буксир,
Бревна несутся в лоснящейся мгле перевалов...
Дойдет ли вода до подвалов?
Хлынет ли в окна мирных квартир?

Поправив пенсне, какой-то седой господин
Отметил мелом на стенке грань колыханий...

Ты, мутное лоно грядущих годин!
Мел мой в руке — но черта роковая в тумане.

1930

НОЧНЫЕ ЛАМЕНТАЦИИ

Ночь идет. Часы над полкой
Миг за мигом гонят в вечность.
За окном бормочет ветер,
Безответственный дурак...
Хоть бы дьявол из камина
В этот час пустынный вылез, —
Чем гонять над Сеной тучи,
Головой ныряя в мрак...
Я б ему, бродяге злому,
Звонко «Демона» прочел бы —
И зрачки б его сверкали,
Как зарницы, из-под век.
Нет — так нет. Паркет да стены,
Посреди коробки тесной,
Словно ерш на сковородке,
Обалдевший человек...
Перед пестрой книжной полкой
Всё качаешься и смотришь:
Чью бы тень из склепа вызвать
В этот поздний мутный час?
Гейне — Герцена — Шекспира?
Но они уж всё сказали
И ни слова, ни полслова
Не ответят мне сейчас.
Что ж в чужой тоске купаться?
И своя дошла до горла...
Лучше взять кота под мышку
И по комнате шагать.
Счастлив ты, ворчун бездумный,
Мир твой крохотный уютен:
Ночью — джунгли коридора,
Днем — пушистая кровать.
Никогда у лукоморья

Не кружись, толстяк, вкруг дуба,—
Эти сказки и баллады
До добра не доведут...
Вдруг очнешься: глушь и холод,
Цепь на шее всё короче,
И вокруг кольцом собаки...
Чуть споткнешься — и капут.

<1931>

ЛЮБОВЬ

На перевернутый ящик
Села худая, как спица,
Дылда-девица,
Рядом — плечистый приказчик.

Говорят, говорят...
В глазах — пламень и яд, —
Вот-вот
Она в него зонтик воткнет,
А он ее схватит за тощую ногу
И, придя окончательно в раж,
Забросит ее на гараж —
Через дорогу...

Слава богу!
Все злые слова откипели, —
Заструились тихие трели...
Он ее взял,
Как хрупкий бокал,
Деловито за шею,
Она повернула к злодею
Свой щучий овал:
Три минуты ее он лобзал
Так, что камни под ящиком томно
хрустели...
Потом они яблоко ели:
Он куснет, а после она, —
Потому что весна.

<1932>

В УГЛОВОМ БИСТРО

1

Каменщики

Ноги грузные расставивши упрямо,
Каменщики в угловом бистро сидят, —
Локти широко уперлись в мрамор...
Пьют, беседуют и медленно едят.

На щеках — насечкою известка,
Отдыхают руки и бока.
Трубку темную зажав в ладони жесткой,
Крайний смотрит вдаль, на облака.

Из-за стойки розовая тетка
С ними шутит, сдвинув вина в масть...
Пес хозяйский подошел к ним кротко,
Положил на столик волчью пасть.

Дремлют плечи, пальцы — на бокале.
Усмехнулись, чокнулись втроем.
Никогда мы так не отдыхали,
Никогда мы так не отдохнем...

Словно житель Марса, наблюдаю
С завистью беззлобной из угла:
Нет пути нам к их простому раю,
А ведь вот он — рядом, у стола...

2

Чуткая душа

Сизо-дымчатый кот,
Равнодушно-ленивый скот,
Толстая муфта с глазами русалки,
Чинно и валко
Обошел всех, знакомых ему до ногтей,
Обычных гостей...
Соблюдая старинный обычай

Кошачьих приличий,
Обнюхал все каблуки,
Гетры, штаны и носки,
Потерся о все знакомые ноги...
И вдруг, свернувши с дороги,
Клубком по стене —
Спираль волнистых движений, —
Повернулся ко мне
И прыгнул ко мне на колени.

Я подумал в припадке амбиции:
Конечно, по интуиции
Животное это
Во мне узнало поэта...
Кот понял, что я одинок,
Как кит в океане,
Что я засел в уголок,
Скрестив усталые длани,
Потому что мне тяжко...
Кот нежно ткнулся в рубашку —
Хвост заходил, как лоза, —
И взглянул мне с тоскою в глаза...
«О друг мой! — склонясь над котом,
Шепнул я, краснея, —
Прости, что в душе я
Тебя обругал равнодушным скотом»...
Но кот, повернувши свой стан,
Вдруг мордой толкнулся в карман:
Там лежало полтавское сало в пакете.

Нет больше иллюзий на свете!

<1932>

МЕЛАНХОЛИЧЕСКОЕ

Для души купил я нынче
На базаре сноп сирени, —
Потому что под сиренью
В гимназические годы

Двум житомирским Цирцеям,
Каждой порознь, в вечер майский
С исключительною силой
Объяснялся я в любви...

С той поры полынный запах
Нежных гвоздиков лиловых
Каждый год меня волнует,
Хоть пора б остепениться,
Хоть пора б понять, ей-богу,
Что давно уж между нами —
Тем житомирским балбесом
И солидным господином,
Нагрузившимся сиренью, —
Сходства нет ни на сантим...

Для души купил сирени,
А для тела — черной редьки.
В гимназические годы
Этот плод благословенный,
Эту царственную овощь
Запивали мы в беседке
(Я и два семинариста)
Доброй старкой — польской водкой, —
Янтареющим на солнце
Горлодером огневым...

Ничего не пью давно я.
На камин под сноп сирени
Положил, вздохнув, я редьку —
Символ юности дурацкой,
Пролетевшей кувырком...
Живы ль нынче те Цирцеи?
Может быть, сегодня утром
У прилавка на базаре,
Покупая сноп сирени,
Наступал я им на туфли, —
Но в изгнаньи эмигрантском
Мы друг друга не узнали?..
Потому что только старка
С каждым годом всё душистей,

Всё забористей и крепче, —
А Цирцеи и поэты...
Вы видали куст сирени
В средних числах ноября?

<1932>

ПЛАСТИКА

Из палатки вышла дева
В васильковой нежной тоге,
Подошла к воде, как кошка,
Омочила томно ноги
И медлительным движеньем
Тогу сбросила на гравий, —
Я не видел в мире жеста
Грациозней и лукавей!

Описать ее фигуру —
Надо б красок сорок ведер...
Даже чайки изумились
Форме рук ее и бедер...
Человеку же казалось,
Будто пьяный фавн украдкой
Водит медленно по сердцу
Теплой бархатной перчаткой.

Наблюдая хладнокровно
Сквозь камыш за этим дивом,
Я затягивался трубкой
В размышлении ленивом:
Пляж безлюден, как Сахара, —
Для кого ж сие творенье
Принимает в море позы
Высочайшего давленья?

И ответило мне солнце:
«Ты дурак! В яру безвестном
Мальва цвет свой раскрывает
С бескорыстием чудесным...
В этой щедрости извечной

Смысл божественного свитка...
Так и девушки, мой милый,
Грациозны от избытка».

Я зевнул и усмехнулся...
Так и есть: из-за палатки
Вышел хлыщ в трико гранатном,
Вскинул острые лопатки.
И ему навстречу дева
Приняла такую позу,
Что из трубки, поперхнувшись,
Я глотнул двойную дозу...

<1932>

С ХОЛМА

Выбрав место у тропинки,
Где сквозь бор синеет море,
Где вдали бельишко сохнет
На бамбуковом заборе,
Я принес большую доску —
Пар дымился над ушами! —
И четыре толстых ножки
Обтесал карандашами...
Вбил их в землю — слон не вырвет,
За холмом стреляло эхо;
И прибил к ним туго доску, —
Не работа, а утеха...
А потом лазурной краской,
Цвета крыльев серафима,
Густо выкрасил скамейку —
Дар любому пилигриму:
Чтоб присел, забыв земное,
И, попыхивая трубкой,
Всласть смотрел, как парус в море
Дышит гоголем над шлюпкой...
Да и сам приду не раз я
Посидеть Наполеоном,
Руки гордые сложивши,
В одиночестве зеленом...

Где влюбленных нынче встретишь?
В казино, сцепясь друг с другом,
Пары вьются, как моторы,
Равнодушно-мертвым цугом...
А на пляже те же пары,
Загорев как голенище,
Распластав тела у будок,
Переваривают пищу.
Но сегодня — наконец-то! —
На моей скамейке синей
Я приметил сквозь кустарник
Бога юного с богиней.
Он был в трусиках лиловых,
А она в трико морковном...
Метров на сто был пронизан
Воздух шепотом любовным.
Шея к шее, сердце к сердцу,
Под сосной склонились рыжей...
За смолистыми стволами
Подобрался я поближе.
Подобрался и расслышал:
Рдея страстью огневою,
Оба пламенно шептались
Над таблицей биржевою...
Скрылись в чаще. Мрачно сел я
На пустынную скамейку.
Петушок с соседней фермы
Из-за камня поднял шейку,
Покосился на газету —
На последнюю страницу:
Может быть, сейчас он клювом
В биржевую ткнет таблицу?
Но петух меня утешил:
Звонко грянул голос зычный, —
Пять патлатых кур сбежались
На султанский зов привычный...
Двум он клювом дал по шее,
Двум скормил мои он крошки,
И ушел в кусты за пятой,
Томно вскидывая ножки.
Я подумал с облегченьем:
Есть любовь еще на свете!

И, зевнув, разрезал дыню
На развернутой газете.
Зной оранжевою дымкой
Острова вдали туманил,
И внизу какой-то олух
«Стеньку Разина» горланил.

<1932>

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗ КНИГИ «ДЕТСКИЙ ОСТРОВ»

ДЕТЯМ

Может быть, слыхали все вы — и не раз,
Что на свете есть поэты?
А какие их приметы,
Расскажу я вам сейчас.

Уж давным-давно пропели петухи...
А поэт еще в постели.
Днем шагает он без цели,
Ночью пишет всё стихи.

Беззаботный и беспечный, как барбос,
Весел он под каждым кровом,
И играет звонким словом,
И во всё сует свой нос.

Хоть он взрослый, но совсем такой, как вы:
Любит сказки, солнце, елки, —
То прилежнее он пчелки,
То ленивее совы.

У него есть белоснежный, резвый конь,
Конь Пегас, рысак крылатый,
И на нем поэт лохматый
Мчится в воду и в огонь...

Ну так вот — такой поэт примчался к вам:
Это ваш слуга покорный,
Он зовется «Саша Черный»...
Почему? Не знаю сам.

Здесь для вас связал в букет он, как цветы,
Все стихи при свете свечки.
До свиданья, человечки! —
Надо чайник снять с плиты...

1920

ИЗ ЦИКЛА «ВЕСЕЛЫЕ ГЛАЗКИ»

ПРИГОТОВИШКА

Длиннохвостая шинель,
На щеках румянец.
За щекою — карамель,
За спиною — ранец.

Он ученый человек.
Знает, что ни спросим:
Где стоит гора Казбек?
Сколько трижды восемь?

В классе он сидит сычом
И жует резинку.
Головенка куличом,
Уши — как у свинки.

А в кармане — целый склад:
Мох, пирог с грибами,
Перья, ножик, мармелад,
Баночка с клопами.

В переменку он, как тигр,
Бьется с целым классом.
Он зачинщик всяких игр,
Он клянется басом.

Возвращается домой:
Набекрень фуражка,

Гордый, красный, грудь кормой,
В кляксах вся мордашка.

«Ну, что нового, Васюк?» —
Выбежит сестренка.
Он, надувшись как индюк,
Пробурчит: «Девчонка!»

Схватит хлеба толстый ком,
Сбросит пояс с блузы
И раскроет милый том —
Робинзона Крузе.

<1921>

КОСТЕР

Эй, ребятишки,
Валите в кучу
Хворост колючий,
Щепки и шишки,
А на верхушку
Листья и стружку...
Спички живей!
Огонь, как змей,
С ветки на ветку
Кружит по клетке,
Бежит и играет,
Трещит и пылает...
Шип! Кряк!

Давайте руки —
И будем прыгать вкруг огня.
Нет лучше штуки —
Зажечь огонь средь бела дня.
Огонь горит,
И дым глаза ужасно ест,
Костер трещит,
Пока ему не надоест...

Осторожней, детвора,
Дальше, дальше от костра —
Можно загореться.

Превосходная игра...
Эй, пожарные, пора,
Будет вам вертеться!
Лейте воду на огонь.
Сыпьте землю и песок,
Но ногой углей не тронь —
Загорится башмачок.
Зашипели щепки, шишки...
Лейте, лейте, ребятишки!
    Раз, раз, еще раз...
    Вот костер наш и погас.

<1911>

ТРУБОЧИСТ

Кто пришел? — Трубочист.
Для чего? — Чистить трубы.
Чернощекий, белозубый,
А в руке — огромный хлыст.

Сбоку ложка, как для супа...
Кто наврал, что он злодей,
В свой мешок кладет детей?
Это очень даже глупо!

Разве мальчики — творог?
Разве девочки — картошка?
Видишь, милый, даже кошка
У его мурлычет ног.

Он совсем, совсем не страшный.
Сажу высыпал на жесть,
Бублик вытащил вчерашний, —
Будет есть.

Рано утром, на рассвете,
Он встает и кофе пьет,
Чистит пятна на жилете,
Курит трубку и поет.

У него есть сын и дочка, —
Оба беленькие, да.
Утром спят они всегда
На печи, как два комочка.

Выйдет в город трубочист —
И скорей на крыши, к трубам,
Где играет ветер с чубом,
Где грохочет ржавый лист...

Чистит, чистит целый день,
А за ним коты турьбою
Мчатся жадною толпою,
Исхудалые, как тень.

Рассказать тебе, зачем
Он на завтрак взял печенку:
Угостил одну кошчонку,
Ну — а та сболтнула всем...

Видишь, вот он взял уж шапку.
Улыбнулся... Видишь, да?
Дай ему скорее лапку,
Сажу смоешь — не беда.

1917

ПОЕЗД

Третий звонок. Дон-дон-дон!
Пассажиры, кошки и куклы, в вагон!
До свиданья, пишите!
Машите платками, машите!
Машинист, свисти!
Паровоз, пыхти:
Чах-тах!
Поехали-поехали,
Чах-тах-тах!
Кочегар, не зевай!
Чах-тах-тах-тах!
Вот наши билеты —

Чурки да шкурки,
Бумажки от конфет!
Под уклон, под уклон,
Летим как пуля.
Первый вагон —
Не качайся на стуле!
Эй, вы, куда?
Кондуктор, сюда!
Вон там сзади
Взрослые дяди,
Тра-та-та, тра-та-та,
Они без билетов...
Зайцы-китайцы, —
Гони их долой!
Чах-тах, тах-тах,
Машинист, тормозите!
Чах-тах-тах,
Первый звонок!
Чах-тах,
Станция «Мартышка»...
Чах-тах-тах.
Надо вылезать.

<1912>

ПРО КАТЮШУ

На дворе мороз,
В поле плачут волки.
Снег крыльцо занес,
Выбелил все елки...
В комнате тепло,
Печь горит алмазом,
И луна в стекло
Смотрит круглым глазом.

Катя-Катенька-Катюшка
Уложила спать игрушки:
Куклу безволосую,
Собачку безносую,
Лошадку безногую

И коровку безрогую —
Всех в комок,
В старый мамин чулок
С дыркой,
Чтоб можно было дышать.
«Извольте спать!
А я займусь стиркой...»

Ай, сколько пены!
Забрызганы стены,
Тазик пищит,
Вода болтается,
Катюша пыхтит,
Табурет качается...
Красные лапки
Полощут тряпки,
Над водою мыльной
Выжимают сильно-пресильно —
И в воду снова!
Готово!
От окна до самой печки,
Словно белые овечки,
На веревочках висят
В ряд:
Лошадкина жилетка,
Мишкина салфетка,
Собачьи чулочки,
Куклины сорочки,
Пеленка
Куклиного ребенка,
Коровьи штанишки
И две бархатные мышки.

Покончила Катя со стиркой,
Сидит на полу растопыркой:
Что бы еще предпринять?
К кошке залезть под кровать,
Забросить за печку заслонку
Иль Мишку постричь под гребенку?..

<1921>

НА ВЕРБЕ

Солнце брызжет, солнце греет.
    Небо — василек.
Сквозь березки тихо веет
    Теплый ветерок.

А внизу всё будки, будки
    И людей — что мух.
Каждый всунул в рот по дудке —
    Дуй во весь свой дух!

В будках куклы и баранки,
    Чижики, цветы...
Золотые рыбки в банке
    Раскрывают рты.

Всё звончее над шатрами
    Вьется писк и гам.
Дети с пестрыми шарами
    Тянутся к ларькам.

«Верба! Верба!» В каждой лапке
    Бархатный пучок.
Дед распродал все охапки —
    Ловкий старичок!

Шерстяные обезьянки
    Пляшут на щитках.
«Ме-ри-кан-ский житель в склянке
    Ходит на руках!!.»

Пудель, страшно удивленный,
    Тявкает на всех.
В небо шар взлетел зеленый,
    А вдогонку — смех!

Вот она какая верба!
    А у входа в ряд —
На прилавочке у серба
    Вафельки лежат.

1912

ЛЕТОМ

За селом, на полной воле
Веет ветер-самолет.
Там картофельное поле
Всё лиловеньким цветет.

А за полем, где рябинка
Вечно с ветром не в ладу,
Сквозь дубняк бежит тропинка
Вниз, к студеному пруду.

Сквозь кусты мелькнула лодка,
Рябь и солнца острый блеск.
На плоту грохочет четко
Дробь вальков под гулкий плеск.

Пруд синеет круглой чашкой.
Ивы клонятся к воде...
На плоту лежат рубашки,
А мальчишки все в пруде.

Солнце брызнуло полоской.
Тени вьются, словно дым,
Эх, разденусь за березкой,
Руки вытяну — и к ним!

<1912>

ЦИРК

Семейство мальчиков «Вынь-Глаз»,
Известных в Амстердаме,
Даст представление сейчас
По Мишкиной программе.
Бум-бум! За вход по пять рублей,
А с мамы — две копейки...
Сейчас начнем! Оркестр, смелей!
Галоп — для галерейки.

Вот перед вами Пупс-солист
В мамашиной рубашке.

Он храбро съест огромный лист
Чернильной промокашки.
Здесь нет волшебства, господа, —
Не бойтесь! Пупс, понятно,
Ее без всякого труда
Сам выплюнет обратно.

Алле! Известный Куки-фокс
И кошка, мисс Морковка,
Покажут вам английский бокс.
Ужасно это ловко!
Свирепый фокс не ел пять дней,
А кошка — две недели.
Все фоксы мира перед ней,
Как кролики, робели!

А вот пред вами клоун Пик.
Похрюкай, Пик, немножко...
Сейчас издаст он адский крик
И дрыгнет правой ножкой.
Он может выть, как крокодил,
И петь, как тетя Нэта, —
Король голландский подарил
Ему часы за это.

Я сам — известный рыцарь Му.
Вес — пуд семь фунтов в латах,
Зубами с пола подыму
Двоюродного брата.
Он очень толстый и живой.
Прошу вас убедиться —
Он может двигать головой,
Пищать и шевелиться.

Вниманье! Девочка Тото́
Пропляшет вальс бандита.
Она хоть девочка, зато
Ужасно знаменита.
Тото́, не бойся, не беда!
Так надо по программе.
Ведь в львиной клетке ты всегда
Плясала в Амстердаме.

Вот дядя Гриша. Не визжать!
Он ростом выше шкафа
И очень любит представлять
Алжирского жирафа.
  Гоп, дядя Гриша, на дыбы!
  Бей хвостиком по тальме!
  Он может кончиком губы
  Рвать финики на пальме...

Эй, там, на сцене, все назад —
От кресла до кроватки.
Смотрите! Это акробат
«Вынь-Глаз, стальные пятки»
  Он хладнокровен, словно лед!
  Он гибче шведской шпаги!
  Он ходит задом наперед
  В корзинке для бумаги...

Конец! Артисты, вылезай —
Морковка, Пупс и Куки.
В четверг мы едем в порт Ай-Яй
Показывать там штуки...
  Бей, дядя Гриша, крепче в таз,
  Тото́, не смей щипаться...
  Семейство мальчиков «Вынь-Глаз»
  Уходит раздеваться.

<1917>

ПРО ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ НАШЛА СВОЕГО МИШКУ

Мишка, Мишка, как не стыдно!
Вылезай из-под комода...
Ты меня не любишь, видно?
Это что еще за мода...
Как ты смел удрать без спроса?
На кого ты стал похож?
На несчастного барбоса,
За которым гнался еж...
Весь в пылинках, в паутинках,
Со скорлупкой на носу...

Так рисуют на картинках
Только чертика в лесу.
Целый день тебя искала —
В детской, в кухне, в кладовой,
Слезы локтем вытирала
И качала головой...
В коридоре полетела, —
Вот, царапка на губе...
Хочешь супу? Я не ела, —
Всё оставила тебе.
Мишка-Миш, мохнатый Мишка,
Мой лохматенький малыш!
Жили-были кот да мышка...
Не шалили! Слышишь, Миш?
Извинись. Скажи: не буду
Под комоды залезать.
Я куплю тебе верблюда
И зеленую кровать.
Самый мой любимый бантик
Повяжу тебе на грудь:
Будешь милый, будешь франтик, —
Только ты послушным будь...
Что, молчишь? Возьмем-ка щетку —
Надо все соринки снять,
Чтоб скорей тебя, уродку,
Я могла расцеловать.

1916

ПЛАКСА

Визг и слезы. По дорожке
Мчатся голенькие ножки,
Пляшут бантики на юбке,
Нос горит, раскрыты губки.
Вот блоха!

Уронила с маком пышку, —
Испугалась пе-ту-ха!..
То ли дело быть мальчишкой —
Ха-ха-ха!

<1921>

ИМЯ

Как назвать котенка?
Тигром иль Мышонком?
Пупсом или Маем?
Или Дзинь Ли-дзянь?
Спрашивала кукол, —
Говорят: «Не знаем!»
Спрашивала дядю,
Говорит: «Отстань!»

Целый день брожу я,
Целый день шепчу я:
Гришей или Мишей?
Криксой иль Жучком?
А ему всё шутки:
Слезет с писком с крыши
И бежит, как шарик,
К блюдцу с молоком.
Погоди, плутишка,
Развернем-ка книжку, —
Что нам попадется,
Так и назовем...
Имя по капризу!
Третья строчка снизу, —
Раз-два-три-четыре —
Что-то мы найдем?
Ха-ха-ха, коташка,
Рыжая мордашка, —
Будешь называться
Ты По-но-ма-рем!

<1921>

ПРИСТАВАЛКА

— Отчего у мамочки
На щеках две ямочки?
— Отчего у кошки
Вместо ручек ножки?
— Отчего шоколадки
Не растут на кроватке?

— Отчего у няни
Волоса в сметане?
— Отчего у птичек
Нет рукавичек?
— Отчего лягушки
Спят без подушки?..

«Оттого, что у моего сыночка
Рот без замочка».

<1912>

НА КОНЬКАХ

Мчусь, как ветер, на коньках
Вдоль лесной опушки...
Рукавицы на руках,
Шапка на макушке...
Раз-два! Вот и поскользнулся...
Раз и два! Чуть не кувыркнулся...
Раз-два! Крепче на носках!

Захрустел, закрякал лед,
Ветер дует справа.
Елки-волки! Полный ход —
Из пруда в канаву...
Раз-два! По скользкой дорожке...
Раз и два! Веселые ножки...
Раз-два! Вперед и вперед...

<1913>

ПЕРЕД СНОМ

Каждый вечер перед сном
Прячу голову в подушку:
Из подушки лезет гном
И везет на тачке хрюшку,
А за хрюшкою дракон,
Длинный, словно макарона...
За драконом — красный слон,
На слоне сидит ворона,

На вороне — стрекоза,
На стрекозке — тетя Даша...
Чуть прижму рукой глаза —
И сейчас же все запляшут!
Искры прыгают снопом,
Колесом летят ракеты,
Я смотрю, лежу ничком
И тихонько ем конфеты.
Сердцу жарко, нос горит,
По ногам бегут мурашки,
Тьма кругом, как страшный кит,
Подбирается к рубашке...
Тише мышки я тогда.
Зашуршишь — и будет баня:
Няня хитрая, — беда.
Всё подсмотрит эта няня!
«Спи, вот встану, погоди!»
Даст щелчка по одеялу,
А ослушаешься — жди
И нашлепает, пожалуй!

<1921>

В ОГОРОДЕ

В огороде целый день
Мы сегодня полем грядки,
А за нами, словно тень,
Ходят пестрые цыплятки.

Полем сразу в восемь рук:
Я и Петя, Фрол и Даша...
Ишь как чист усатый лук!
Это всё работа наша.

И морковка чище сот...
Обожгло крапивой пятки.
Ну, до свадьбы заживет!
Эй, петух, долой-ка с грядки!

Свеклу кончили. Ура!
Подвязать горох бы нужно.

Поливайте, детвора:
По порядку! Дружно, дружно!

Петя важно морщит лоб
И с ведром шагает гусем.
Руки вымоем — и стоп:
Хлеба с солью перекусим.

<1921>

ИЗ ЦИКЛА «ЗВЕРЮШКИ»

ХРЮШКА

«Хавронья Петровна, как ваше здоровье?»
— «Одышка и малокровье. . .»
— «В самом деле?
А вы бы побольше ели! . .»
— «Хрю-хрю! Нет аппетита. . .
Еле доела шестое корыто:

Ведро помоев,
Решето с шелухою,
Пуд вареной картошки,
Миску окрошки,

Полсотни гнилых огурцов,
Остатки рубцов,
Горшок вчерашней каши
И жбан простокваши».

— «Бедняжка!
Как вам, должно быть, тяжко!!!
Обратитесь к доктору Ван-дер-Флиту,
Чтоб прописал вам капли для аппетиту!»

<1921>

ГАЛЧАТА

На заборе снег мохнатый толстой грядочкой лежит.
Налетели вмиг галчата... Ух, какой серьезный вид!

Ходят боком вдоль забора, головенки изогнув,
И друг дружку скоро-скоро клювом цапают за клюв.

Что вы ссоритесь, пичужки? Мало ль места вам кругом —
На березовой макушке, на крыльце и под крыльцом.

Эх, когда б я сам был галкой — через форточку б махнул
И веселою нырялкой в синем небе потонул...

<1921>

КАК КОТ СМЕТАНУ ПОЕЛ

Жили были мышки,
Серые пальтишки.
Жил был кот,
Бархатный живот.

Пошел кот к чулану
Покушать сметану, —
Да чулан на задвижке,
А в чулане — мышки...

Сидит кот перед дверцей,
Колотится сердце, —
Войти нельзя.

Вот запел кот,
Бархатный живот,
Тоненьким голосишкой —
Вроде мышки:
«Эй, вы, слышь,
Я тоже мышь,
Больно хочется мне есть,
Да под дверь не пролезть...

У вас там много в стакане,
Вымажьте лапки в сметане
Да высуньте под дверку
Скорей, глухие тетёрки!
Я полижу,
Спасибо скажу».
Поверили мышки
Коту-плутишке.
Высунули лапки...
А кот — цап
Со всех лап...
Вытащил за лапки,
Сгреб в охапку
Да в рот.

<1913>

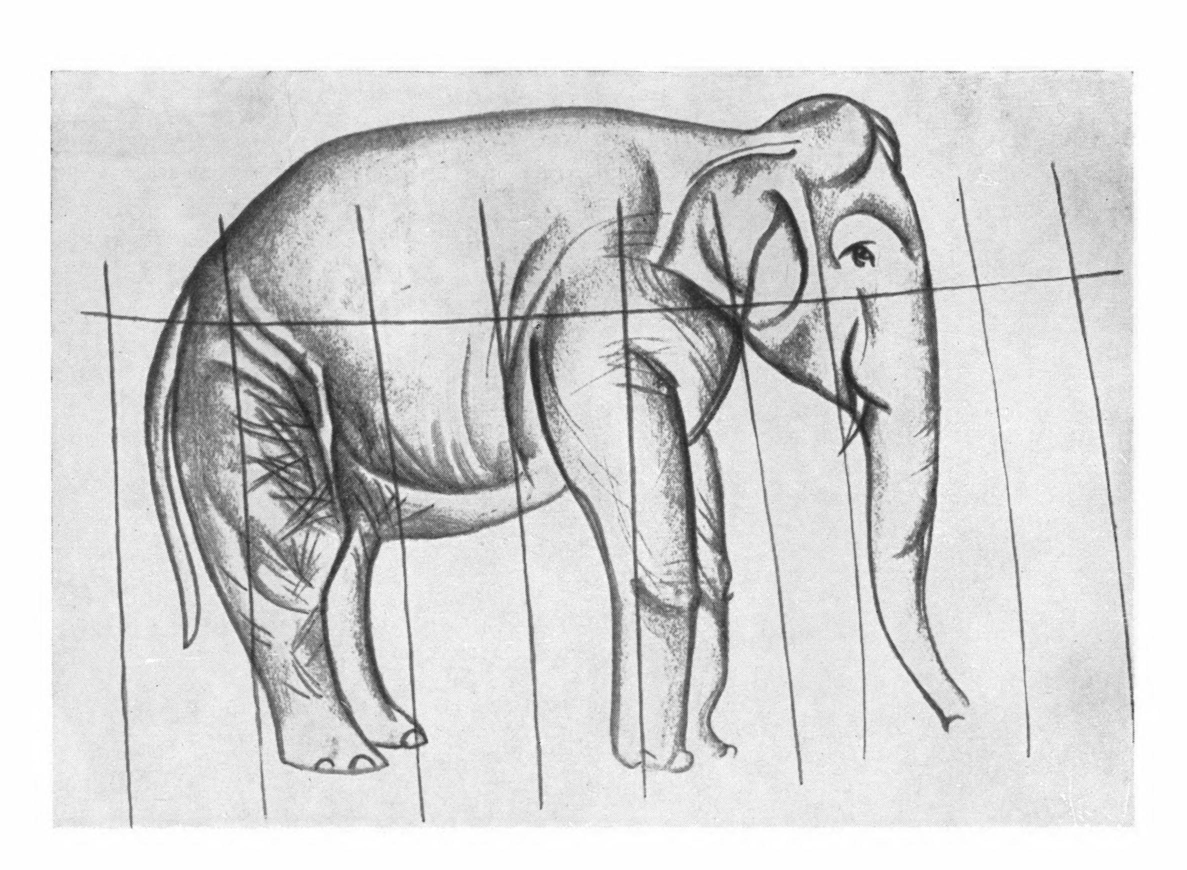
ЧТО КОМУ НРАВИТСЯ

«Эй, смотри, смотри — у речки
Сняли кожу человечки!» —
Крикнул чижик молодой.
Подлетел и сел на вышке, —
Смотрит: голые детишки
С визгом плещутся водой.

Чижик клюв раскрыл в волненьи,
Чижик полон удивленья:
«Ай, какая детвора!
Ноги — длинные болталки,
Вместо крылышек — две палки,
Нет ни пуха, ни пера!»

Из-за ивы смотрит заяц
И качает, как китаец,
Удивленной головой:
«Вот умора! Вот потеха!
Нет ни хвостика, ни меха...
Двадцать пальцев! Боже мой...»

А карась в осоке слышит,
Глазки выпучил и дышит:





«Глупый заяц, глупый чиж!..
Мех и пух, скажи пожалуй...
Вот чешуйки б не мешало!
Без чешуйки, брат, шалишь!»

<1921>

СЛОН

«Слоник, слоник, настоящий слон живой, —
Отчего ты всё качаешь головой?»

— «Оттого что, потому что, потому —
Всё я думаю, дружок, и не пойму...

Не пойму, что человек, такой малыш,
Посадил меня в клетушку, словно мышь...

Ох, как скучно головой весь день качать!
Лучше бревна дали б, что ли, потаскать...»

«Слоник, слоник, не качай ты головой!
Дай мне лучше поскорее хобот свой...

Я принес тебе из бархата слона,
Он хоть маленький, но милый. Хочешь? На!

Можешь мыть его, и нянчить, и лизать...
Ты не будешь головой теперь качать?..»

<1921>

ДВА УТЕНКА

Два утенка подцепили дождевого червяка,
Растянули, как резинку, — трах! и стало два куска...

Желтый вправо, черный влево вверх тормашками летит,
А ворона смотрит с ветки и вороне говорит:

«Невозможные манеры! Посмотрите-ка, Софи́...
Воспитала мама-утка... Фи, какая жадность! Фи!»

Из окна вдруг тетя Даша корку выбросила в сад.
Вмиг сцепились две вороны — только перышки
летят.

А утята страшно рады... «Посмотрите-ка, Софи́...
Кто воспитывал? Барбоска? Фи! И очень даже фи!»

<1921>

ВОРОБЕЙ

Воробей мой, воробьишка!
Серый-юркий, словно мышка.
Глазки — бисер, лапки — врозь,
Лапки — боком, лапки — вкось...

Прыгай, прыгай, я не трону —
Видишь, хлебца накрошил...
Двинь-ка клювом в бок ворону,
Кто ее сюда просил?

Прыгни ближе, ну-ка, ну-ка,
Так, вот так, еще чуть-чуть...
Ветер сыплет снегом, злюка,
И на спинку, и на грудь.

Подружись со мной, пичужка,
Будем вместе в доме жить,
Сядем рядышком под вьюшкой,
Будем азбуку учить...

Ближе, ну еще немножко...
Фурх! Удрал... Какой нахал!
Съел все зерна, съел все крошки
И спасиба не сказал.

<1921>

ПРО КОТА

Раньше всех проснулся кот,
Поднял рыжий хвост столбом,
Спинку выпятил горбом
И во весь кошачий рот
Как зевнет!

«Мур! Умыться бы не грех»...
Вместо мыла — язычок,
Кот свернулся на бочок
И давай лизать свой мех!
Просто смех!

А умывшись, в кухню — шмыг;
Скажет «здравствуйте» метле
И пошарит на столе:
Где вчерашний жирный сиг?
Съел бы вмиг!

Насмотрелся да во двор —
Зашипел на индюка,
Пролетел вдоль чердака
И, разрыв в помойке сор, —
На забор!..

В доме встали. Кот к окну:
«Мур! На ветке шесть ворон!»
Хвост забился, когти вон,
Смотрит кот наш в вышину —
На сосну.

Убежал, разинув рот...
Только к вечеру домой,
Весь в царапках, злой, хромой.
Долго точит когти кот
О комод...

Ночь. Кот тронет лапкой дверь,
Проберется в коридор
И сидит в углу, как вор.
Тише, мыши! Здесь теперь
Страшный зверь!

Нет мышей... Кот сел на стул
И зевает: «Где б прилечь?»
Тихо прыгнул он на печь,
Затянул «мурлы», вздохнул
И заснул.

<1913>

УГОВОР

Еж забрался в дом из леса!
Утром мы его нашли —
Он сидел в углу за печкой
И чихал в густой пыли.
Подошли мы — он свернулся.
Ишь как иглами оброс.
Через пять минут очнулся,
Лапки высунул и нос.
Почему ты к нам забрался, —
Мы не спросим, ты пойми:
Со своими ли подрался,
Захотел ли жить с людьми...
Поживи... У нас неплохо.
Только раньше уговор:
Будешь ты Чертополохом
Называться с этих пор!
Ты не должен драться с кошкой
И влезать к нам на кровать,
Потому что ты колючий,
Можешь кожу ободрать...
За день будешь получать ты
По три блюдца молока,
А по праздникам — ватрушку
И четыре червяка.
Днем играть ты должен с нами,
По ночам — ловить мышей,
Заболеешь — скажем маме, —
Смажем йодом до ушей.
Вот и всё. Теперь подумай.
Целый день ведь впереди...
Если хочешь — оставайся,
А не хочешь — уходи!

<1921>

ИНДЮК

Ф-фух!
Я индейский петух!
Самый важный!
Нос трехэтажный...
Грудь кораблем,
Хвост решетом...
Ф-фух!

Ты балда-разбалда, оболтус мальчишка,
Ты балда, ты болтун, ты буян, ты глупышка!..
Ф-фух!
Ты что меня дразнишь?

Я индейский петух!
Ф-фух!
Самый важный...
Нос трехэтажный.
Под носом — сережки
И сизые брошки.
Грудь кораблем,
Хвост решетом,
Персидские ноги, —
Прочь с дороги!..
Ф-фух!

<1921>

ЖЕРЕБЕНОК

Хвост косичкой,
Ножки-спички,
Оттопырил вниз губу...
Весь пушистый,
Золотистый,
С белой звездочкой на лбу.

Юбку, палку,
Клок мочалки —
Что ни видит, всё сосет.

Ходит сзади
Тети Нади,
Жучку дразнит у ворот.

Выйдет в поле —
Вот раздолье!
Долго смотрит вдаль — и вдруг
Взвизгнет свинкой,
Вскинет спинкой
И галопом к маме в луг.

<1921>

МАРТЫШКА

«Отчего ты, мартышка, грустна
И прижала к решетке головку?
Может быть, ты больна?
Хочешь сладкую скушать морковку?»

— «Я грустна оттого,
Что сижу я, как пленница, в клетке.
Ни подруг, ни родных — никого
На зеленой развесистой ветке.

В африканских лесах я жила,
В теплых, солнечных странах;
Целый день, как юла,
Я качалась на гибких лианах...

И подруги мои —
Стаи вечно веселых мартышек —
Коротали беспечные дни
Средь раскидистых пальмовых вышек.

Каждый камень мне был там знаком,
Мы ходили гурьбой к водопою,
В бегемотов бросали песком
И слонов обливали водою...

Здесь и холод и грязь,
Злые люди и крепкие дверцы...
Целый день, и тоскуя и злясь,
Свой тюфяк прижимаю я к сердцу.

Люди в ноздри пускают мне дым,
Тычут палкой, хохочут нахально...
Что я сделала им?
Я — кротка и печальна.

Ты добрей их, ты дал мне морковь,
Дал мне свежую воду, —
Отодвинь у решетки засов,
Отпусти на свободу...»

— «Бедный зверь мой, куда ты уйдешь?
Там, на улице, ветер и вьюга.
В переулке в сугробе заснешь,
Не увидев горячего юга...

Потерпи до весны лишь, я сам
Выкуп дам за тебя — и уедем
К африканским веселым лесам,
К чернокожим соседям.

. . . .

А пока ты укройся теплей
И усни. Пусть во сне хоть приснится
Ширь родных кукурузных полей
И мартышек веселые лица...»

1920

ПОПКА

— У кого ты заказывал, попочка, фрак?
— Ду-рак!
— А кто тебе красил колпак?
— Ду-ррак!
— Фу, какой ты чудак!
— Ду-ррак!
Скучно попочке в клетке, круглой беседке.

Высунул толстенький черный язык,
Словно клык...
Щелкнул,
Зацепился когтями за прутья,
Изорвал бумажку в лоскутья
И повис — вниз головой.
Вон он какой!

<1921>

ТЕЛЕНОК СОСЕТ

Пришла во двор корова:
— Му! Я здорова,
Раздуты бока, —
Кому молока? —
Прибежал теленок,
Совсем ребенок:
Лбом вперед,
Мордой в живот,
Ножками пляшет,
Хвостиком машет...
Сосет!
То мимо, то в рот.
Недовольна корова,
Обернулась к нему
И смотрит сурово:
— Му-у!
Куда ты спешишь,
Глупыш?..

<1921>

КТО?

Ну-ка, дети!
Кто храбрее всех на свете?
Так и знал — в ответ все хором нараспев:
Лев!
Лев? Ха-ха... Легко быть храбрым,
Если лапы шире швабры.

Нет, ни лев, ни слон... Храбрее всех
малыш —
Мышь!
Сам вчера я видел чудо,
Как мышонок влез на блюдо
И у носа спящей кошки
Не спеша поел все крошки.
Что!

<1921>

ИЗ ЦИКЛА «ПЕСЕНКИ»

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(Для маленького брата)

Баю-бай! Васик — бай!
Ты, собачка, не лай!
Ты, бычок, не мычи!
Ты, медведь, не рычи!
Волк, миленький, не вой,
Петушок, дружок, не пой!
Все должны теперь молчать:
Васик хочет спать...

Баю-бай! Васик — бай!
Ножками не болтай,
Глазками не моргай,
Смеяться не надо,
Ладушко-ладо!
Спи, толстый мой голыш...
Мухи, кыш! Мухи, кыш!
Не сметь его кусать —
Васик хочет спать...

Баю-бай! Васик — бай!
Жил в зверинце попугай,
Зеленый и гладкий,
На желтой подкладке.

Всё кричал он и кричал,
Всё не спал он и не спал.
Прибежал вдруг котик,
Прыгнул на животик,
Баю-баю-баю —
И съел попугая...

Раз-два-три-четыре-пять!
Пузырей не пускать!
Спать!..
А не то нашлепаю!

<1921>

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

Начинается постройка!
Не смеяться, не дышать!
Двери — двойки, сени — тройки...
Стоп! Упал, так стой опять.
В уголке швейцар на койке —
На семерке — будет спать.

Милый, славный... Не вались!
В первой комнате валеты,
Фу-ты, ну-ты, как одеты!
Шляпа вверх и шляпа вниз,
Вдоль по стеночкам карниз
Из четверок и пятерок.
Не шататься! Я вам дам!
Дальше — ширмы из шестерок:
Это ванная для дам.

Короли пусть спят в столовой.
Больше негде — только тут.
Дама пик и туз бубновый
На веранде кофе пьют.
Дети? Нет у них детей,
Ни детей, ни птиц, ни кошек...
Это — дырки для окошек,
Это — спальня для гостей.

С новосельем! Бим и бом!..
Дом готов. Еще на крыше
Надо две трубы повыше.
Не дрожи, голубчик дом!
Не качайся, ради бога...
Ни, ни, ни! Еще немного...
Ах!
Зашатался на углах,
Перегнулся, пошатнулся
И на скатерть кувырком, —
Вот так дом...

<1921>

ЧЕЛОВЕЧЕК В ЧАСАХ

Кошка спит. Погасла свечка.
Ветер дергает засов...
Надо вызвать человечка
Из больших стенных часов.

Тик-и-так! Седая шерстка,
Вылезай-ка! В доме тишь...
Выпьешь чаю из наперстка,
На пружинках подрожишь...

Сядем рядом на скамейке,
Взвизгнем так, что вздрогнет дом.
Ты направо склонишь шейку,
Я — налево, — и замрем...

И в ответ в домах у речки,
Где огней мигает ряд,
Из часов все человечки,
Словно черти, завизжат!

<1921>

ПЕСНЯ ВЕТРА

В небе белые овечки...
Гу! Я дунул и прогнал.
Разболтал волну на речке,
Ветку с липы оборвал...
Покачался на осинке —
Засвистал и марш вперед.
Наклоняй-ка, лес, вершинки —
Еду в город на восход!
Вею-рею,
Вверх за тучу, вбок и вниз...
Дую-вею,
Вот и город. Эй, очнись!

Дал старушке под коленку,
С визгом дунул через мост,
Грохнул вывеской о стенку,
Завернул собаке хвост.
Эй, горбун, держи-ка шляпу...
Понеслась вдоль лавок в грязь!..
Вон, вытягивая лапу,
Он бежит за ней, бранясь.
Вею-рею!
Раскачал все фонари!
Дую-вею!
Кто за мною? Раз, два, три!...

Здравствуй, Катя! Ты из школы?
Две косички, кнопкой нос.
Я приятель твой веселый...
Сдернуть шапочку с волос?
Взвею фартучек твой трубкой,
Закручу тебя волчком!
Рассмеялась... Ну и зубки...
Погрозила кулачком...
Вею-рею!
До свиданья. Надо в лес...
Дую-вею!
Через крыши, вверх всё выше,
Вверх всё выше, до небес!

<1921>

КОГДА НИКОГО НЕТ ДОМА

В стекла смотрит месяц красный,
Все ушли — и я один.
И отлично! И прекрасно!
 Очень ясно:
Я храбрее всех мужчин.

С кошкой Мур, на месяц глядя,
Мы взобрались на кровать:
Месяц — брат наш, ветер — дядя,
 Вот так дядя!
Звезды — сестры, небо — мать...

Буду петь я громко-громко!
Буду громко-громко петь,
Чтоб из печки сквозь потемки
 На тесемке
Не спустился к нам медведь...

Не боюсь ни крыс, ни Буки, —
Кочергою в нос его!
Ни хромого черта Клуки,
 Ни гадюки —
Никого и ничего!

В небе тучка, как ягненок,
В завитушках, в завитках.
Я не мальчик, я слоненок,
 Я тигренок,
Задремавший в камышах...

Жду и жду я, жду напрасно —
Колокольчик онемел...
Месяц, брат мой, месяц красный,
 Месяц ясный,
Отчего ты побледнел?

<1921>

ЗЕЛЕНЫЕ СТИХИ

Зеленеют все опушки,
    Зеленеет пруд.
А зеленые лягушки
    Песенку поют.

Елка — сноп зеленых свечек,
    Мох — зеленый пол.
И зелененький кузнечик
    Песенку завел...

Над зеленой крышей дома
    Спит зеленый дуб.
Два зелененькие гнома
    Сели между труб.

И, сорвав зеленый листик,
    Шепчет младший гном:
«Видишь? Рыжий гимназистик
    Ходит под окном.

Отчего он не зеленый?
    Май теперь, ведь... Май!»
Старший гном зевает сонно:
    «Цыц! Не приставай».

<1921>

ДЕТИ

Ах, сколько на свете детей!
Как звезд на небесном челе...
По всей необъятной земле
Кружа́тся, как стаи чижей...

Япончата,
Китайчата,
Англичане и французы,
Узкоглазые тунгузы,
Итальянцы и испанцы,
Арапчата, негритята,

Португальцы, —
Перебрали мы все пальцы,
На ногах еще ведь есть,
Да не стоит — всех не счесть.

Все любят сласти, игры и сказки,
Все лепят и строят — подумай, дружок.
У каждого ясные детские глазки,
И каждый смеется и свищет в свисток.

Ах, когда б собрать всех вместе,
Верст на двести
Растянулся б хоровод...

Завертеться б, закружиться,
Сразу всем остановиться,
Отдышаться всем на миг —
И поднять веселый крик.

Птицы б с веток все слетели,
Солнце б дрогнуло вверху,
Муравьи б удрали в щели,
Ветер спрятался б во мху.

<1921>

ГИЕНА

Гиена такая мерзкая.
Морда у нее дерзкая,
Шерсть на загривке торчком,
Спина — сучком,
По бокам (для чего — непонятно)
Ржавые пятна,
Живот — грязный и лысый,
Ткнется в решетку — хвост у ноги,
Глаза — как у Бабы-Яги.

А мне ее жалко...
Разве ей не обидно?
Даже моль, даже галка
Симпатична и миловидна.
Мне объяснила невеста дядиволодина,
Тетя Аглая:
«Почему она злая?
Потому что уродина».

1928

МАЛЬЧИК НЕ СПИТ

Он проснулся на заре...
Нос в подушке,
Одеяло на макушке, —
Он лежит как крот в норе.

«Тюфячок, скажи мне слово».
— «Я набит морской травой,
Но трава была живой:
    Колыхалась,
    Волновалась
В лад с подводной синевой.

Там звезда в пучине зябкой
Шевелила алой лапкой...
Проплывали в стеблях рыбы,
Пуча круглые глаза.
Над водою — бирюза
И утесов рыжих глыбы».

— «А русалки, тюфячок?»
— «По волшебному рассказу,
Их скрывала глубина...
Но среди травы ни разу
Не плескалась ни одна.
В лунный час сверкала гладь, —
Кто-то там вверху купался...
Чей-то голос раздавался.
Кто? Трава должна молчать».

— «Осьминог в траве сидел?»
— «Он запутался бы в ней.
Он таился средь камней,
Как пират в морском ущелье».
— «Ай! Ты слышишь, под постелью
Злые щупальцы шуршат...»
— «Ты не бойся, это мышка
Тащит в норку шоколад.
    Спи, мальчишка!
На заре все дети спят».

Кто гудит? Прибой иль прялка?
Столик гнется, как лоза.
Пляшут солнечные спицы, —
Из окна плывет русалка,
Дует в сонные ресницы
И велит закрыть глаза.

1929

БОЛЬНАЯ КУКЛА

У бедной куколки грипп:
В правом плечике скрип,
Расклеились букли, —
Что дать моей кукле?
Ромашки
Из маминой чашки?
Не пьет...
Всё обратно течет.
Собачьей серы
В ложке мадеры?
Опять выливается.
Прямо сердце мое разрывается!
Всыплю сквозь дырку в висок
Сухой порошок:
Хинин —
Аспирин —
Антикуклин...
И заткну ей ваткой.
А вдруг у нее лихорадка?
Где наш термометр?
Заперт в буфете.
Поставлю барометр...
Ох, эти дети!
Зажмурь реснички.
«Жил был дед и корова»...
Спи, гripповая птичка!
Завтра будешь здорова.

<1930>

ЛАВОЧКА

— К нам, к нам!
Вот свежий мадеполам,
Соска для медвежонка,
Бритва для вашего ребенка,
Самые модные сосиски
И кукольные зубочистки...
Барыня-сударыня!
Не торгуйтесь, ей-богу...
У нас такие налоги.

Корсет — три франка.
Вы — южная американка?
Уступаю за шесть.
Мишка, заверни покупку...
Предложи ей присесть,
Поправь ей юбку,
Подвинь плевательницу, —
Она выгодная покупательница.

Халву руками не трогать!
Покажите ваш ноготь...
Большой — и делает гадости,
Лезет лапами в сладости...
Угодно морской монокль?
Заменяет бинокль.
Примерьте за ширмой. Раскройте глаз:
Как раз!
Модно и просто,
И вполне для вашего роста.

— Ма-ма! Дядя Карпуша
Съел даром две груши...
Дай ему по рукам...
Срам!
— Здравствуйте, мальчик...
Это китайский пенальчик
Для собирания мух,
Это копилка-петух, —
Не бьется, не рвется!
Глупый! Смеется...
Ах, так! Недоверие...
Мишка, встань на прилавок, —
Покажи ему новую серию
Детских слюнявок.

1930

СИРЕНЬ

В небе праздник голубой.
Мы с тобой
Положили на колени
Гроздь сирени.

Мы искали — помнишь? — «счастье»,
Пять цветочных лепестков,
И на нас, на чудаков,
С ветки чиж смотрел с участьем.
Ты нашел и предложил:
«Съешьте сами...»
Но обеими руками
Щедрый дар я отклонил.
Кто нашел, тот и жует:
Это знают турки, шведы,
Греки, немцы, самоеды...
Вот!
Пять минут прошло в борьбе,
Чиж зевнул и скрылся в небе,
Наконец я бросил жребий:
Счастье выпало тебе.

Помнишь, дикий виноград
Весь балкон обвил запястьем...
Кролик мой, я очень рад!
Я давно объелся счастьем, —
А тебе оно в новинку.
Ты цветочек горький съел,
Прислонил к перилам спинку
И запел:
«Если б, если б в самом деле
На сирени всех сортов
Все бы, все цветы имели
Пять счастливых лепестков...»

1930

ПАЛАТКА

У самого залива
В зеленой тишине
Стоит наш зыбкий домик,
Прильнув спиной к стене.
Вздувается, как парус,
Тугое полотно.
У входа вместо кресла
Корявое бревно.

Никто нас не разыщет
Под скалами в глуши, —
К нам в гости приползают
Одни лишь мураши,
Да с пня сорока смотрит
На странное жилье,
На наш кувшин под веткой,
На мокрое белье...
Густым лазурным цветом
Сквозит сквозь бор залив,
Твои глаза, мальчишка,
Блестят, как чернослив...

Наш суп клокочет в ямке,
Пузырится горбом.
Поди-ка, вымой ложки
В заливе голубом...
А я пока нарежу
И хлеб, и колбасу, —
Ты, клоп, еще не знаешь,
Как вкусен суп в лесу.
Так сладко пахнет дымом
Янтарная лапша,
И пар плывет над миской
Под шелест камыша...
Над ложкою стрекозка
Блеснет цветной слюдой, —
Мы чокнемся с тобою
Колодезной водой.
Достанем из корзины
Румяный виноград:
Вон он сквозит на солнце
Как розоватый град...
Палатка тихо дышит
Прохладным полотном,
И ты застыл и смотришь,
Как удивленный гном.

Мы в самый зной на койках
Валяемся пластом.
Сквозной смолистый ветер
Гуляет под холстом.

Задравши кверху пятки,
Смотрю я, как на стол
Взбирается по ножке
Зеленый богомол.
Клубясь, в наш тихий домик
Вплывают облака,
И сонно виснет с койки
Ленивая рука.
Проснемся, оба вскочим,
Короткий, быстрый бокс, —
И я лечу купаться,
А ты за мной, как фокс.
Волна нас шлепнет в спину,
Но мне зальет глаза,
Барахтаемся, скачем
И гнемся, как лоза...
Но как отрадно голым
Из брызг взглянуть на бор:
Вон под сосной белеет
Цыганский наш шатер.

Голландским сыром солнце
Садится над горой,
Сосна вверху пылает
Оранжевой корой,
Залив в огне бенгальском,
И облака — как мак.
Холмы окутал сонный
Лиловый полумрак...
Цикады умолкают,
И вместо них сверчки
Вокруг палатки нашей
В лад тронули смычки...
Зеваешь? Скинь штанишки,
Закрой глаза и спи!
В кустах шершавый ветер
Ругнулся на цепи...
Как сажа черен полог, —
Зажгу-ка я фонарь...
Во всех углах дробится
Струящийся янтарь.
Сквозь дырку смотрят звезды.

Вокруг — лесная тишь...
Камыш ли это шепчет,
Иль ты во сне бубнишь.

<1930>

ОСЛЕНОК

Ты видел, мой мальчик, осленка
На ферме у старой сосны,
Где утром заливисто-звонко
Горланит петух со стены?

Стоит он, расставив копытца,
Мохнатый, серьезный малыш,
И, вскинувши уши, косится
На глухо шипящий камыш.

Оса ли завьется над мордой,
Густые реснички мигнут
И хвостик, упругий и твердый,
Взволнованно щелкнет, как прут.

Девчонка, чуть больше наперстка,
Раскроет восторженно рот, —
Погладит пушистую шерстку,
Потрется щекой о живот...

И даже барбос желтозубый,
К помойке свершая свой путь,
Лизнет его в мягкие губы, —
Ей-богу, нельзя не лизнуть!

Лес солнечной тешит игрою,
Тень вьется по выступам плит...
Чу! Дробная рысь под горою —
Мать с хворостом к ферме спешит.

Мохнатые пляшут гамаши,
Раздулись бока широко:
Так вкусно из теплой мамаши
Густое тянуть молоко!

1931

ВОЛШЕБНИК

«Я сейчас, дядя Саша, — хотите? —
Превращу вас в кота...
Вы рукав своей куртки ловите
Вместо хвоста,
И тихонько урчите —
Потому что вы кот, —
И, зажмурив глазки, лижите
Свой пушистый живот...
Я поставлю вам на пол блюдце
С молоком, —
Надо, дядя, вот так изогнуться
И лакать языком.
А потом я возьму вас в охапку,
Вы завьетесь в клубок, как удав, —
Оботру я усы вам тряпкой,
И вы скажите: „Мяу!“

А кота, настоящего Пышку,
Превращу я — хотите? — в вас.
Пусть, уткнувшись мордою в книжку,
Просидит целый час...
Пусть походит по комнатам вяло,
Ткнется рыльцем в стекло
И, присев к столу, из бокала
Вынет лапкой стило...
Сам себе язык он покажет,
Покачается, как пароход, —
А потом он кляксу размажет,
Папироску в угол швырнет
И, ко мне повернувшись, скажет:
„Не бурчи, бегемот!..“

Но в ответ на мальчишкины бредни
Проворчал я: «Постой!..
Я и сам колдун не последний, —
Погоди, золотой!
За такое твое поведенье
Наступлю я тебе на мозоль:
Вот сейчас рассержусь — и в мгновенье
Превращу тебя в моль...

Над бокалом завьешься ты мошкой —
Перелет, пируэт, —
Вмиг тебя я прихлопну ладошкой,
И, ау, — тебя нет!
Кот лениво слижет с ладони
Бледно-желтую пыль
И раскинет живот на балконе,
Вскинув хвост, как ковыль...»

Ты надулся: «Какой вы несносный.
Я за это...» Ты топнул и встал:
«Превращу я вас в дым папиросный...»
Но, смеясь, я сказал: «Опоздал!»

<1932>

ФОКС

1

На пне в тени узорной
Я фоксика стригу,
А он стоит покорно,
Сгибается в дугу, —
То пятится по-рачьи,
То томно щурит глаз...
В цирюльники собачьи
Попал я первый раз.
Ты, фокс, оброс как леший, —
Легко ль весь день в бору
Скакать в такой бекеше
В июльскую жару?
Стригу я как попало —
Зигзагом вверх и вниз:
Спина собачья стала
Как зубчатый карниз...
Шерсть вьется белым пухом,
Летит снежком в кусты.
Еще клочок над ухом
Для полной красоты...
Готово. Фоксу любо,

Чихнул: «Спасибо, друг!»
И рысью, мимо дуба,
Удрал к козе на луг.

2

Фокс приклеился носом к руке:
«Что читаешь весь день в гамаке?
Помоги мне... Опять эта гнусная вещь —
Клещ!»
Я поставил собаку на ларь,
Выдираю из уха проклятую тварь
И давлю на пороге — вот так:
Крак!

Фокс мой сморщил резиновый нос, —
Операцию он как герой перенес...
Но без слов
Понял кроткий упрек я собачьих зрачков:
«Ах, хозяин, ищи не ищи, —
Через час снова будут клещи...»

Я опять в гамаке.
Фокс сидит на моем каблуке, —
Вдруг нацелился, щелкнул зубами, и вот
Гордо лапы поставил ко мне на живот:
«Ты клеща откопал в моем ухе, —
Я тебя избавляю от мухи!..»

3

Чуть на закате взял мандолу —
Мой фокс завыл и скрылся в лес...
Не хочешь слушать баркаролу?
Ты не собака, ты балбес!

Немузыкальная скотина!
Моей божественной игре
Внимает солнце, лес, долина
И даже козы на горе...

Но мой сосед, мальчишка Савва,
Насмешник, плут и егоза,
Толкнув меня плечом лукаво;
Прищурил синие глаза.

«Ну как же ты не понимаешь, —
Твой фоксик выкинул дебош
Не потому, что ты играешь,
А потому, что ты поешь...»

<1932>

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание является первым собранием избранных стихотворений Саши Черного (А. М. Гликберга). В основу издания положены книги стихов Саши Черного: «Сатиры» (1910), «Сатиры и лирика» (1913), «Жажда» (1923) и сборник стихотворений для детей «Детский остров» (1921). Первые две книги представлены почти целиком, «Жажда» и «Детский остров» публикуются в извлечениях. Избранные стихи из числа не вошедших в указанные сборники сгруппированы в особых разделах.

Сборники «Сатиры» и «Сатиры и лирика» неоднократно переиздавались Сашей Черным. В последнем издании (Берлин, 1922) состав сборников был пересмотрен, изменились названия отдельных циклов («Литературный цех» вместо «Авгиевых конюшен», «Хмель» вместо «Иных струн»). Циклы стали более цельными и законченными. Вместе с тем, готовя к печати издание 1922 г. в условиях эмигрантского быта (в Германии), Саша Черный по соображениям, для нас совершенно не убедительным, не включил в него несколько политических сатир, написанных в свое время на злобу дня, и некоторые сатирические стихотворения из цикла «У немцев». Не вошла в издание также большая группа лирических стихотворений из цикла «Иные струны». Поставив своей задачей объединить в настоящем сборнике все лучшее, что написал Саша Черный, мы дополнили берлинское издание «Сатир» и «Сатир и лирики» некоторыми стихотворениями из дореволюционных изданий тех же книг. В примечаниях к соответствующим циклам отмечены изменения, внесенные автором в их состав в берлинском издании.

Стихотворения, как правило, публикуются в последних авторских редакциях. Лишь в тех случаях, когда Саша Черный, находясь в эмиграции, вынужден был приглушать политическую остроту своих дореволюционных сатир, печатается более ранняя редакция, что каждый раз оговорено в примечаниях. Если в примечании указана только первая публикация, это означает, что текст стихотворения в дальнейшем не изменялся.

В примечаниях оговорены случаи, когда стихотворения Саши Черного появлялись в печати без его подписи или если она отличалась от обычных подписей поэта: «Саша Черный», «С. Черный», «А. Черный».

Время написания большинства стихотворений Саши Черного не установлено (за отсутствием данных). Поэтому чаще всего приходилось указывать лишь даты первых публикаций (в угловых скобках). Впрочем, во многих случаях их нужно, по-видимому, считать и датами написания стихотворений. В первую очередь это относится к стихам, опубликованным в «Сатириконе» и «Последних новостях», где Саша Черный был постоянным сотрудником и помещал свои произведения регулярно из номера в номер.

Рукописный фонд Саши Черного до нас не дошел. В нашем распоряжении имелись беловые рукописи лишь нескольких стихотворений («Летом», «Зирэ», «Осенний день») и небольшое количество писем (хранятся в ПД, ГПБ и ЦГАЛИ). Поэтому судить о творческой истории стихотворений мы имеем возможность лишь на основании сличения первопечатного и последующих текстов. Наиболее значительные варианты приведены в примечаниях.

Условные сокращения, принятые в примечаниях:

Г. Гейне. Книга песен — Генрих Гейне. Книга песен. Избранные стихотворения, под редакцией Саши Черного. Учебное пособие по иностранной литературе. СПб., 1911.

ГПБ — Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

ДО — Саша Черный. Детский остров. Данциг, 1921.

«Жажда» — А. Черный. Жажда. Берлин, 1923.

Изд. 1917 г., кн. 1 — Саша Черный. Сатиры, кн. 1. Изд. 5-е, Пг., 1917.

Изд. 1917 г., кн. 2 — Саша Черный. Сатиры и лирика, кн. 2. Изд. 3-е, Пг., 1917.

Изд. 1922 г., кн. 1 — А. Черный. Сатиры, кн. 1. Берлин, 1922.

Изд. 1922 г., кн. 2 — А. Черный. Сатиры и лирика, кн. 2. Берлин, 1922.

ПД — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).

«Разные мотивы» — А. М. Гликберг. Разные мотивы. СПб., 1906.

С — «Сатирикон».

«Сатиры» — Саша Черный. Сатиры, кн. 1. СПб., 1910.

«Сатиры и лирика» — Саша Черный. Сатиры и лирика, кн. 2. СПб., 1913.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде.

САТИРЫ И ЛИРИКА

КНИГА ПЕРВАЯ
„САТИРЫ“

Критику (стр. 73). Впервые — С, 1909, № 42, стр. 9, в разделе «Деликатные мысли», без заглавия. Печ. по сб. «Сатиры», стр. 5. Во всех дореволюционных изданиях входило в состав цикла «Всем нищим духом».

Всем нищим духом

Стихотворения «Песня о поле», «Анархист», «Пошлость», «Простые слова» в дореволюционных изданиях сборника печатались в цикле «Авгиевы конюшни».

Ламентации (стр. 74). Впервые — С, 1909, № 32, стр. 7. Печ. по изд. 1922 г., кн. 1, стр. 9, где дано с небольшими исправлениями. *Ламентации* — жалобы, сетования. *Ищем бога, ищем черта...* — намек на «богостроительство» — реакционное течение идеалистической мысли, проникшее в широкие круги буржуазной интеллигенции. *Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ-идеалист, поэт и критик, популярный в среде буржуазной интеллигенции 1890—1900-х годов. *Магдалина* — по евангельскому преданию, грешница, уверовавшая в Христа после своего чудесного исцеления. *Фрина* (IV в. до н. э.) — греческая гетера необыкновенной красоты.

Пробуждение весны (стр. 75). Впервые — С, 1909, № 11, стр. 2. *Как много дум наводит он* — строка из стихотворения «Вечерний звон» ирландского поэта Томаса Мура в переводе И. И. Козлова. *Лазарь* — по евангельской легенде, покойник, воскрешенный Христом.

Песня о поле (стр. 76). Впервые — «Сатиры», стр. 83. *«Хоровод»* — намек на скабрезную книгу австрийского писателя-декадента Артура Шницлера «Хоровод», изданную в русском переводе в 1907 г.

Анархист (стр. 77). Впервые — «Сатиры», стр. 78. *Териоки* — дачный поселок неподалеку от Петербурга (ныне — Зеленогорск).

Пошлость (стр. 78). Впервые — С, 1910, № 6, стр. 3. Этот номер С был целиком посвящен разоблачению пошлости, изображенной на обложке журнала в виде вульгарной женщины. *Барков* Иван Семенович (или Степанович) (1731—1768) — поэт и переводчик, известный своими непристойными стихотворениями. *Катехизис* — краткое изложение православного вероучения в вопросах и ответах; здесь — правила поведения. *Belle Hélène* — в переносном значении: красивая женщина, — по упомянутой в «Илиаде» Гомера спартанской царице, из-за похищения которой, по преданию, началась Троянская война; также — по героине популярной оперетты Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».

П о т о м к и (стр. 79). Впервые — С, 1908, № 28, стр. 7. Печ. по сб. «Сатиры», стр. 23. В журнальном тексте после строфы 4 — еще одна строфа:

Эти строки для эс-дека —
Исцеляющий бальзам,
Но простого человека
Хлещут ложью по глазам.

Мекка — священный город магометан в Аравии. *Мафусаил* — пророк, по библейскому преданию, живший якобы 969 лет.

К р е й ц е р о в а с о н а т а (стр. 80). Впервые — С, 1909, № 14, стр. 2. *«Крейцерова соната»* — рассказ Л. Н. Толстого (1889), озаглавленный по названию сонаты Бетховена. *Бигус* — тушеная капуста с мясом.

О т ъ е з д п е т е р б у р ж ц а (стр. 82). Впервые — С, 1909, № 20, стр. 3. *Третья Дума.* Черносотенная III Дума открылась в 1907 г. после переворота 3 июня, закрепившего торжество реакционных сил в стране. *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942) — русский поэт-символист. *Брюсов* Валерий Яковлевич (1873—1924) — крупный поэт, теоретик стиха и переводчик; с 1890-х годов — глава русских символистов; после Октябрьской революции порвал с декадентским лагерем. *Ликург* (390—342 до н. э.) — государственный деятель и законодатель древнего Афинского государства. *Синяя птица* — символический образ из популярной в среде дореволюционной интеллигенции пьесы М. Метерлинка (см. стр. 550) «Синяя птица». *Был я богоборцем* и т. д. — см. примечание к стихотворению «Ламентации», стр. 545. *Мифотворец* — намек на теорию «мифотворчества», которую пропагандировал поэт-символист Вяч. Иванов. *Спермин* — лекарство. *«Код»* — марка фотоаппарата «Кодак».

И с к а т е л ь (стр. 83). Впервые — С, 1909, № 45, стр. 9. *Гунияди-Янос* (правильнее: Янош) — лекарство, горькая слабительная вода будапештского источника. *Егеревские нижние* — белье фирмы «Егер». *Сократ* (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ.

«В с е в ш т а н а х, с к р о ё н н ы х о д и н а к о в о...» (стр. 84). Впервые — С, 1908, № 1, стр. 10. Здесь речь идет об увлечении творчеством норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859—1952), писавшего о благотворном влиянии природы на человека и прославлявшего героя-индивидуалиста, сильную и странную личность. *Андреев* Леонид Николаевич (1871—1919) — писатель, беллетрист и драматург. В произведениях конца 1900-х годов, в частности в рассказе «Проклятие зверя» (1907), он изображал человека — буржуазного интеллигента — рабом темных звериных инстинктов. *Аллигатор* — род крокодилов. *Лейтенант Глан* — герой романа К. Гамсуна «Пан» — охотник, одиноко живущий в лесной хижине.

Опять (стр. 85). Впервые — С, 1908, № 22, стр. 2, без заглавия. Печ. по сб. «Сатиры», стр. 17. *Гучков* Александр Иванович (1862—1936) — лидер буржуазно-монархической партии октябристов.

Культурная работа (стр. 86). Впервые — «Сатиры», стр. 19. *Вильгельм II* (1859—1941) — германский император. *«Остров мертвых»* — известная картина швейцарского художника-модерниста Арнольда Бёклина; репродукции этой картины получили очень широкое распространение. *Гучков* — см. предыдущее примечание. *Карточка* — визитная карточка. *Уриель д'Акоста* (1590—1640) — еврейский мыслитель и писатель. *«Русь»* — газета либерально-буржуазного направления.

Желтый дом (стр. 87). Впервые — С, 1908, № 5, стр. 2, под заглавием «Петербургская лирика». Печ. по сб. «Сатиры», стр. 21. *Есть парламент, нет? Бог весть.* Очевидно, намек на слова министра финансов В. Н. Коковцева, заявившего с трибуны III Думы: «У нас, слава богу, парламента еще нет». *Гучков* — см. выше.

Зеркало (стр. 88). Впервые — С, 1908, № 34, стр. 2, без подписи. *Франц-Иосиф* (1830—1916) — австрийский император. *Бобринский* Владимир Алексеевич (род. 1868) — реакционный политический деятель, один из лидеров монархистов.

Споры (стр. 89). Впервые — «Зритель», 1908, № 5, стр. 7, с подписью: А. Гли.

Интеллигент (стр. 90). Впервые — «Сатиры», стр. 27. *Я жених непришедшей прекрасной невесты* — намек на поражение революции 1905 г.

Отбой (стр. 91). Впервые — С, 1908, № 24, стр. 7, без эпиграфа. Печ. по сб. «Сатиры», стр. 27. *Черные сотни* — реакционно-монархические организации погромщиков («Союз русского народа», «Союз Михаила архангела» и др.), созданные царским правительством для борьбы с революцией 1905 г. *«Звездная палата»* — придворная клика сановников, оказывавшая большое влияние на политику Николая II в годы первой революции и реакции. *Черный кабинет* — шпионское учреждение, следившее за перепиской и тайно вскрывавшее частные письма. *«Отречемся от старого мира»* — слова из знаменитой революционной песни П. Л. Лаврова.

1909 (стр. 93). Впервые — С, 1909, № 1, стр. 10.

Новая цифра (стр. 94). Впервые — С, 1910, № 1, стр. 2. *Лета* (греч. миф.) — река забвенья в царстве мертвых.

Бессмертие (стр. 95). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 47. Направлено против усилившегося в годы реакции влияния церкви: в 1908—1912 гг. увеличились государственные расходы на религиозную пропаганду; в начальных школах было введено обязательное

посещение церкви по воскресеньям, за учителями установлен негласный надзор священников.

Простые слова (стр. 96). Впервые — С, 1910, № 4, стр. 3, с подписью: С — а Ч. Печ. по изд. 1922 г., кн. 1, стр. 48, где исправлен ст. 4: «Повторяешь скорбное: „Пора!“» Написано к пятидесятилетнему юбилею со дня рождения А. П. Чехова.

Утешение (стр. 97). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 49.

Диета (стр. 98). Впервые — С, 1910, № 24, стр. 2. *Богоздорец* — богоборец (см. стр. 546). *Черный рак* — черносотенец (см. примечание к стихотворению «Отбой», стр. 547).

Два желания (стр. 99). Впервые — С, 1909, № 5, стр. 5.

Быт

В дореволюционных изданиях цикл сопровождался эпиграфом из «Писем к Люцилию» римского писателя Сенеки: «Избежать всего этого нельзя, но можно презирать все это». Стихотворение «Жизнь» в дореволюционных изданиях печаталось в цикле «Провинция».

Мясо (стр. 100). Впервые — С, 1909, № 31, стр. 6. Написано под впечатлением праздной курортной жизни в Гунгербурге (Усть-Нарва) летом 1909 г. *Астарта* — греческое название финикийской богини плодородия и любви. *В лакированных копытах... пажи.* Пажи — воспитанники Пажеского корпуса, привилегированного учебного заведения царской России, носили лакированные сапоги. *Шнельклопсы* — биточки. *Шипр* — сорт духов и одеколона.

Всероссийское горе (стр. 101). Впервые — С, 1910, № 2, стр. 4. *Брахмапутра* — река в Индии. *«Месяц в деревне»* — пьеса И. С. Тургенева.

Обстановочка (стр. 103). Впервые — С, 1909, № 10, стр. 5, под заглавием «Быт» и с посвящением К. И. Чуковскому (см. стр. 553). Печ. по сб. «Сатиры», стр. 50.

Совершенно веселая песня (стр. 104). Впервые — «Солнце России», 1910, № 2, стр. 9. *Франзоли* — южнорусское название французских булок.

Служба Сборов (стр. 105). Впервые — С, 1909, № 39, стр. 5. Тема стихотворения впервые была намечена в юношеском произведении поэта «Скверная история»:

Поэт попал на Службу Сборов —
Мечты и счеты бок о бок...
(Судьба имеет странный норов,
Подчас игрив ее урок.)

Здесь отразились воспоминания А. М. Гликберга о годах его службы в Житомире (см. вступ. статью, стр. 23). *Таксировщик* — оценщик. *Акцептация* — юридический акт, которым изъявляется согласие на принятие какого-либо предложения; здесь имеется в виду отдел финансового учреждения.

Окраина Петербурга (стр. 106). Впервые — «Сатиры», стр. 49. *Чуйка* — здесь петербургский извозчик; чуйка — длинный суконный кафтан.

На открытии выставки (стр. 107). Впервые — «Сатиры», стр. 51. *«Кэк-уок»* — модная шляпка (по названию популярного танца). *Трен* — шлейф у женского платья. *Пьяный Ной.* По библейскому преданию, Ной — мифический родоначальник человеческого рода, — напившись пьяным, лежал однажды в шатре, где его видели сыновья.

Жизнь (стр. 109). Впервые — С, 1910, № 5, стр. 5, с подзаголовком «Провинция».

На вербе (стр. 110). Впервые — С, 1909, № 13, стр. 3. *Чуйки* — см. выше.

Пасхальный перезвон (стр. 110). Впервые — С, 1909, № 13, стр. 3.

На петербургской даче (стр. 111). Впервые — С, 1909, № 29, стр. 3. Печ. по сб. «Сатиры», стр. 58. В изд. 1922 г., кн. 1 выброшены все политические намеки (начиная со слов «В объятьях шерстяных носков» и дальше). *Не ем прекрасных огурцов* и т. д. В 1909 г. в России свирепствовала эпидемия холеры. *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — поэт-декадент, беллетрист и критик, в творчестве и философии которого значительное место занимала тема смерти и загробной жизни. *Ах, жив бездарнейший Гучков* и т. д. — перепев стихов В. А. Жуковского из «Торжества победителей» (перевод из Шиллера): «Нет великого Патрокла, Жив презрительный Терсит». *Гучков* — см. стр. 547. *Патрокл* — в «Илиаде» Гомера герой Троянской войны. *Узнать, что шаху дали в шею!* Намек на буржуазную революцию в Персии (1906—1909). *Бальмонт* — см. стр. 546. *Шнель-клопс* — см. стр. 548.

Ночная песня пьяницы (стр. 112). Впервые — С, 1909, № 40, стр. 2. *Харон* (греч. миф.) — перевозчик душ умерших в загробное царство.

Городская сказка (стр. 113). Впервые — С, 1909, № 46, стр. 7. *Леди Годива* (1040—1080) — жена лорда Лиофрика из Ковентри, отличавшаяся красивой внешностью. Согласно преданию, Годива просила мужа о смягчении тяжкой участи жителей Ковентри, страдавших от огромных налогов. Лиофрик обещал выполнить ее просьбу при условии, если она покажется обнаженной на рыночной площади. Данная легенда имеет и другие версии. *У Калинкина моста* — в Петербурге; здесь помещалась лечебница для венерических больных.

Лаборант и медички (стр. 114). Впервые — С, 1909, № 49, стр. 7. *Грымзы* (простореч.) — ворчуньи. *Боа* — огромная змея, обитающая в Африке, род удава. *Юпитер* (римск. миф.) — верховный бог римлян. *Минерва* (римск. миф.) — богиня мудрости, покровительница учителей и врачей.

В гостях (стр. 116). Впервые — С, 1908, № 32, стр. 4. *На стене босой Толстой.* Имеется в виду репродукция известного портрета Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина. *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский поэт и драматург. *Реформ* — платье особого фасона, плотно охватывающее фигуру.

Европеец (стр. 117). Впервые — «Сатиры», стр. 66. *Пассаж* — торговая галерея в Петербурге. *Александровский сквер* — сад в центральном районе Петербурга. *«Доминик», «Аквариум»* и *«Медведь»* — петербургские рестораны. *«Новое время»* — ежедневная петербургская реакционная газета, издававшаяся А. С. Сувориным. *Шварц* Александр Николаевич (1848—1915) — министр просвещения в 1908—1910 гг. *Кноп* — галантерейный магазин.

Мухи (стр. 118). Впервые — «Солнце России», 1910, № 22, стр. 4, под заглавием «Дачные мухи». Печ. по сб. «Сатиры», стр. 68.

Кухня (стр. 120). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 90.

Литературный цех

В дореволюционных изданиях цикл предварялся эпиграфом из «Свободы воли», трактата немецкого философа-идеалиста А. Шопенгауэра: «Это может дойти до того, что иному, особенно в минуты ипохондрического настроения, мир может показаться с эстетической стороны — музеем карикатур, с интеллектуальной — сумасшедшим домом и с нравственной — мошенническим притоном». В изд. 1922 г. Саша Черный существенно изменил состав цикла, дополнив его следующими стихотворениями: «Продолжение одного старого разговора», «После посещения одного „Литературного общества“», «Корней Белинский», «Трагедия», «Criticus», «Литераторы на Капри», «Из зеленой тетрадки» и «Жестокий бог литературы...» С другой стороны, из цикла были изъяты сатиры «Единственному в своем роде», «По мытарствам», «Вешалка дураков», «Традиции», «Панургова муза», «Молил поэта...» и «Честь».

В редакции толстого журнала (стр. 121). Впервые — С, 1909, № 43, стр. 6. *Позитивизм* — одно из направлений буржуазной идеалистической философии. *Некто в сером* — персонаж в символической пьесе Л. Андреева (см. стр. 546) «Жизнь человека» (1906).

«Смех сквозь слезы» (стр. 123). Впервые — С, 1909, № 12, стр. 4. Этот номер С был посвящен столетию со дня рожде-

ния Н. В. Гоголя. *«Золотое руно»* — литературно-художественный журнал символистов (1906—1909). *Поручик Пирогов с успехом служит в Ялте.* Намек на градоначальника Ялты генерала Думбадзе (см. стр. 557). Поручик Пирогов — герой повести Гоголя «Невский проспект». *Чуб стал союзником.* Чуб — герой повести Гоголя «Ночь перед рождеством». *Союзник* — член «Союза русского народа» (см. примечание к стихотворению «Отбой», стр. 547). *«Россия»* — ежедневная петербургская реакционная газета (1905—1914), *«Смех сквозь слезы»* — выражение Гоголя из «Мертвых душ».

Стилизованный осел (стр. 124). Впервые — альм. «Стружки». СПб., 1909, стр. 23. Печ. по изд. 1922 г., кн. 1, стр. 110, где изменен ст. 13: «Пусть П. Я. — старомодник...» и т. д. (П. Я. — Якубович Петр Филиппович (1860—1911) — поэт, революционный народник).

Недоразумение (стр. 125). Впервые — С, 1909, № 18, стр. 7. *Бальзаковские лета* — тридцать лет (по роману О. Бальзака «Тридцатилетняя женщина»). *Месса* — католическая литургия, обедня.

Переутомление (стр. 126). Впервые — С, 1908, № 6, стр. 2. *Бебель* Август (1840—1913) — революционер, видный деятель германской социал-демократии и рабочего движения. *Пильский* Петр Николаевич — хлесткий литературный критик и фельетонист. *Вакс Калошин.* Имеется в виду Максимилиан Александрович Волошин (1877—1931), поэт-символист и художественный критик.

Два толка (стр. 127). Впервые — С, 1909, № 42, стр. 9.

Нетерпеливому (стр. 127). Впервые — С, 1910, № 2, стр. 6.

Недержание (стр. 128). Впервые — С, 1909, № 40, стр. 10.

Сиропчик (стр. 128). Впервые — С, 1910, № 9, стр. 6, с подписью: Иван Чижик. Печ. по изд.: Саша Черный. Сатиры. СПб., 1913, стр. 109. В журнальном тексте стихотворение начиналось: «Га́лина, сидя на ветке...» и, таким образом, было направлено против поэтессы Г. А. Галиной (1873—?), которая в 1905—1906 гг. сотрудничала в сатирических журналах, а в годы реакции писала слащавые стихи для детей.

Искусство в опасности (стр. 128). Впервые — С, 1910, № 10, стр. 9, с подписью: С—а Ч—й. *Гордин* Владимир Николаевич (род. 1882) — мелкий писатель. Имеется в виду его сборник рассказов «Звездный путь», вышедший первым изданием в 1908 г., вторым — в 1910.

Юмористическая артель (стр. 129). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 224. См. вступ. статью, стр. 8 и 39. *Шато-*

куплетисты — декламаторы в увеселительных заведениях (типа «Шато де Флёр» и т. п.), развлекавшие публику легковесной юмористикой. *Штандарт скачет* — слова Хлестакова из «Ревизора» Н. В. Гоголя. *Лейкин* Николай Александрович (1841—1906) — писатель-юморист, бытописатель купеческой жизни, популярный в мещанской среде. *Павлы полезли в Савлы* — перефразировка известного выражения «Савлы полезли в Павлы», восходящего к Евангелию и означающего резкий перелом в образе жизни, поведении и убеждениях человека. Согласно преданию, язычник Савл, заклятый враг христиан, под влиянием божественного откровения превратился в проповедника христианства — апостола Павла. *Канкан* — французский танец с нескромными телодвижениями.

Единственному в своем роде (стр. 131). Впервые — С, 1909, № 9, стр. 7. Печ. по изд. 1917 г., кн. 1, стр. 98. *Суворин* Алексей Сергеевич (1834—1912) — реакционный писатель и журналист, издатель газеты «Новое время», пользовавшейся правительственной субсидией. Написано к 75-летнему юбилею Суворина, который обошли молчанием все прогрессивные органы печати, а С встретил злыми насмешками. *«Табу»* — у первобытных народов запрет, налагаемый на что-либо; здесь — вообще запреты. *«Евно»* — имеется в виду провокатор Евно Азеф (см. о нем стр. 586). *Брюк жандармских бирюза.* Жандармские офицеры носили светло-синие брюки. *Пол По объявлениям о любви... свел.* Суворинская газета «Новое время» публиковала объявления желающих вступить в брак. *Кухарок нежный друг.* В «Новом времени» печаталось множество объявлений о найме кухарок, экономок, гувернанток и т. д.

По мытарствам (стр. 132). Впервые — С, 1909, № 38, стр. 7. Направлено против реакционного публициста М. О. Меньшикова (1859—1919). *«Письма к ближним»* — цикл фельетонов Меньшикова, которые печатались с 1909 г. в газете «Новое время» (см. стр. 550) и периодически выходили отдельными выпусками. *Асмодей* — злой дух, дьявол. *Азеф* — см. стр. 586.

Панургова муза (стр. 133). Впервые — «Сатиры», стр. 86. *Панург* — герой сатирического романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», веселый плут, остроумный насмешник и авантюрист.

«Молил поэта...» (стр. 134). Впервые — Саша Черный. Сатиры. СПб., 1913, стр. 87. *Молил поэта Блок-поэт.* В ряде литературно-критических статей 1907—1908 гг. Блок выступал против всякого рода вечеров декадентского «нового искусства», усматривая в них профанацию высоких традиций передовой русской литературы и одно из проявлений общественной реакции.

Честь (стр. 135). Впервые — С, 1910, № 2, стр. 6.

Вешалка дураков (стр. 135). Впервые — С, 1909, № 23, стр. 8, и 1910, № 2, стр. 6. *Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ-идеалист. *Сократ* — см. стр. 546.

Баллада (стр. 137). Впервые — «Сатиры», стр. 95. Перевод стихотворения немецкого поэта и драматурга Людвига Фульда (1862—1939) «Ballade».

«Традиции» (стр. 137). Впервые — С, 1909, № 50, стр. 2. *Марков* (2-й) Николай Евгеньевич (род. 1876) — курский помещик, один из активнейших черносотенцев в III Думе. *Гучков* — см. стр. 542. *Ювенал* (67—147) — римский поэт-сатирик.

После посещения одного «литературного общества» (стр. 138). Впервые — С, 1909, № 41, стр. 6. Печ. по изд. 1922 г., кн. 1, стр. 123.

Корней Белинский (стр. 139). Впервые — С, 1911, № 11, стр. 5, с подзаголовком: «Опыт критического шаржа» и без посвящения. Печ. по изд. 1922 г., кн. 1, стр. 124. В журнальном тексте стихи 5—6: «Закрыв глаза и перышком виляя, Чтоб легче впасть в холодно-дикий транс»; стих 14: «Затем — смешок. Щелчок. Опять смешок». *Корней Белинский* — имеется в виду писатель и критик Корней Иванович Чуковский (род. 1882), автор литературно-критических статей и фельетонов, частично собранных в книгах: «От Чехова до наших дней» (1908), «Книга о современных писателях» (1914), «Лица и маски» (1914) и др. См. также вступ. статью, стр. 16. *Юшкевич* С. С. (1868—1927) — драматург и прозаик. *Тарас убил Андрея.* Намек на повесть Гоголя «Тарас Бульба».

Читатель (стр. 140). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 93. Печ. по изд. 1922 г., кн. 1, стр. 126. *Вергилий* Марон (70—19 до н. э) и *Гораций* Флакк (65—8 до н. э.) — римские поэты. *Сенека* Люций Анней (ок. 4 — 65) — римский философ и писатель. *Дант* — Данте Алигьери (1265—1321). *Ювенал* — см. выше.

Трагедия (стр. 141). Впервые — «Современник», 1912, № 12, стр. 385, под заглавием «Обыкновеннейшая история». Печ. по изд. 1922 г., кн. 1, стр. 128, где текст переработан. Приводим первоначальный текст:

Рожденный быть кассиром в тихой бане
Иль а́гентом по заготовке шпал,
Семен Пучков, сверх всяких ожиданий,
Игрой судьбы в редакторы попал.

За годом год, угрюмый и понурый,
Сидел Пучков за письменным столом,
То скатывая в трубку корректуры,
То на руку облокотясь челом.

Для строгости придумал он пружину
(Чтоб меньше думать, злиться и потеть):
Всех новых — сокращать наполовину,
Кто пишет год — на четверть и на треть.

С маститыми гораздо было проще, —
Что ни пришлют, — «спасибо!» — и в набор.
Шесть раз в году стихи о летней роще,
Шесть раз в году стихи про зимний бор.

Но всё-таки, хоть было всё и просто,
Пучков томился, как в стенах тюрьмы,
И двадцать лет — до самого погоста —
Для многих был губительней чумы.

В некрологах средь щедрых восклицаний,
Увы, никто сей драмы не открыл:
Что он — рожденный быть кассиром в бане —
Так много лет редактором служил.

Criticus (стр. 142). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 129. *Бёклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник-символист, в творчестве которого большое место занимало изображение мрачных, фантастических чудовищ. *Медуза Горгона* (греч. миф.) — чудовищная женщина, на голове которой вместо волос извивались змеи.

Литераторы на Капри (стр. 143). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 130. Письмо А. М. Горького к М. М. Коцюбинскому с острова Капри от 24 сентября 1912 г. частично позволяет установить, каких литераторов имел в виду Саша Черный: «Здесь летом было очень интересно. Съехалось множество публики русской, одних художников 17 человек! Были и литераторы — Саша Черный, оказавшийся очень скромным, милым и умным человеком. Евгений Александрович Ляцкий, автор книги о Гончарове, издатель трагических писем Чернышевского, очень славный человек. И еще много разных людей, разно интересных». (Собр. соч. в 30 томах, т. 29, стр. 253—254). См. также письмо Горького И. И. Бродскому (там же, стр. 271). *Алексеич* — имеется в виду писатель А. А. Золотарев (1878—1950).

Из зеленой тетрадки (стр. 143). Впервые полностью — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 131. Отдельные стихотворения цикла были опубликованы раньше: «Почему-то у толстых журналов...» — «Киевская мысль», 1912, № 122; «Читатель» — «Киевская мысль», 1911, № 93; «Не мало критиков сейчас...» — «Киевская мысль», 1912, № 76. По всей вероятности, и другие стихи цикла также относятся к этому времени. *Философов* Дмитрий Васильевич (1872—?) — буржуазный публицист и критик, автор книги *«Неугасимая лампада»*, сборника статей по религиозным вопросам (М., 1912). *Рославлев* Александр Степанович (1883—1919) — поэт и беллетрист, эпигон символизма, пьяница и дебошир. *Сенека* — см. стр. 553. *Ауслендер* Сергей Абрамович (род. 1888) — писатель, эстет и стилизатор. *«Аполлон»* (1909—1917) — эстетский художественно-литературный журнал. *Кузмин* Михаил Алексеевич (1875—1936) — поэт, драматург, беллетрист и критик, проповедник эсте-

тизма, дядя С. Ауслендера. *Василиск* — сказочный змей, убивающий взглядом.

«Жестокий бог литературы...» (стр. 145). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 134.

Невольная дань

Цикл «Невольная дань» не был включен автором в изд. 1922 г. Он содержит в себе политические сатиры, написанные «на злобу дня» в 1907—1909 гг. Эта дата указана Сашей Черным в изд. «Сатир» 1910 г. Поэтому стихотворения «Цензурная сатира», «Октябристы», «Еще экспромт», «Злободневность» и «Успокоение», впервые опубликованные в этом издании, датируются между 1907 и 1909 гг.

Песня сотрудников сатирического журнала (стр. 147). Впервые — С, 1908, № 30, стр. 5.

Невольное признание (стр. 149). Впервые — «Новый день», 1909, № 13. *Гессен* Иосиф Владимирович (1886—?) и *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — лидеры буржуазной партии кадетов, которые в годы черной реакции лицемерно твердили о существовании в России «конституции». *Авель* — в Библии кроткий и послушный сын Адама и Евы. *Прекрасный Иосиф* — по библейской легенде, целомудренный юноша, которого пыталась соблазнить жена царедворца Потифара.

Баллада (стр. 150). Впервые — С, 1909, № 17, стр. 3. Ироническая характеристика политики царской бюрократии по отношению к октябристам и черносотенцам (см. стр. 556 и 547). *«Эмиль»* — роман французского писателя-просветителя Жан-Жака Руссо (1712—1778). *По думским ста запросам.* Депутаты Государственной Думы имели право делать «запросы» правительству.

Цензурная сатира (стр. 151). Впервые — «Сатиры», стр. 106. *Шварц* — см. стр. 550.

Экспромт (стр. 151). Впервые — С, 1909, № 20, стр. 7. *Тиль-Тиль* — персонаж пьесы Метерлинка «Синяя Птица» (см. стр. 550). Саша Черный сравнивает погоню за несбыточным счастьем (Синей Птицей) с реакционной политикой царизма («Вернулись с Черной Птицей!»).

Гармония («Роза прекрасна по форме...») (стр. 152). Впервые — «Сатиры», стр. 112. Написано было, по-видимому, к открытию черносотенной III Думы в 1907 г., когда многие газеты печатали в приложениях портреты избранных депутатов, «правых из правых». *Болиголов* — ядовитое растение. *Буренин* Виктор Петрович (1841—1926) — махрово-реакционный критик и публицист.

Там внутри (стр. 152). Впервые — «Новый день», 1909, № 14. *Баллы* — оценки, отметки.

Победа (стр. 154). Впервые — С, 1909, № 36, стр. 4. *Феб* (греч. миф.) — Аполлон, бог солнца. *Икар* (греч. миф.) — юноша, поднявшийся в небо на искусственных крыльях, сделанных его отцом Дедалом. *Леонардо* — Леонардо да Винчи (1452—1519). *От мыса Капа и до Тарифы* — от мыса Доброй Надежды (на южном побережье Африки) до острова Тарифы, считающегося самой южной оконечностью Европы. *Цуг* (нем.) — поезд.

Волк и баран (стр. 155). Впервые — С, 1909, № 50, стр. 3, под псевдонимом «Chat Noir». *Бушэ* Виктор (1879—1942) — французский актер и литератор.

Октябристы (стр. 156). Впервые — «Сатиры», стр. 114. Партия *октябристов,* образовавшаяся после манифеста 17 октября 1905 г., объединяла представителей крупной промышленной и торговой буржуазии. В годы реакции она проводила политику, рассчитанную на укрепление контрреволюции; в III Думе являлась правительственной партией.

Молитва (стр. 157). Впервые — «Сатиры», стр. 121. III Дума была созвана в 1907 г., этим определяется датировка стихотворения.

Всё то же (стр. 158). Впервые — «Новый день», 1909, № 8. Стихотворение тематически связано с сатирой «К женскому съезду» (см. стр. 160). Вопрос о признании *Бестужевских* женских курсов (созданных группой прогрессивных ученых в 1878 г.) высшим учебным заведением обсуждался в Государственном совете, начиная с 1902 г. *«Речь»* — петербургская газета (1906—1918), центральный орган буржуазной партии кадетов.

Веселая наглость (стр. 159). Впервые — С, 1909, № 9, стр. 2. *Съезд дворян,* о котором упоминается в сатире, состоялся в Москве в начале 1909 г. *Марков* 2-й — см. стр. 553. *«Нива»* — ежемесячный иллюстрированный журнал (1870—1918), выходивший в Петербурге. *Мережковский* — см. стр. 549.

К женскому съезду (стр. 160). Впервые — С, 1909, № 37, стр. 2, под заглавием «Женщинам». Печ. по сб. «Сатиры», стр. 125. *Мекка* — см. стр. 546.

Еще экспромт (стр. 161). Впервые — «Сатиры», стр. 122. *Шварц* — см. стр. 550.

К приезду французских гостей (стр. 161). Впервые — С, 1910, № 7, стр. 2. Французская парламентская делегация посетила Петербург в феврале 1910 г. Приезд ее для октябристов и кадетов явился лишним поводом пошуметь об «обновлении» России и установлении в ней парламентского строя. Отсюда ирония Саши Черного, говорящего о тосте в честь «двух парламентских стран» (Франции и России). *«Медведь»* — см. стр. 550. *Гений финансов* — министр финансов реакционер В. Н. Коковцев (1853—

1938). *Милюков* — см. стр. 555. *Думбадзе* Иван Антонович (1851—1916) — свитский генерал, черносотенец; будучи в течение многих лет градоначальником г. Ялты, терроризовал весь город.

Злободневность (стр. 162). Впервые — «Сатиры», стр. 126. *Пуришкевич* Владимир Митрофанович (1870—1920) — главарь черносотенных организаций, в том числе погромного «Союза Михаила архангела». *Гучков* — см. стр. 547.

Исторический день (стр. 163). Впервые — «Сатиры», стр. 128. Написано в связи с проводившимися в Берлине очередными выборами в рейхстаг в начале 1907 г. *Император* — Вильгельм II, германский император в 1888—1918 гг. *Клейст* Генрих (1777—1811) — немецкий поэт-романтик. *Кант* — см. стр. 562. *Круппы* — немецкие промышленники, вооружавшие империалистическую Германию. *Шуцманы* — полицейские в Германии.

Успокоение (стр. 164). Впервые — С, 1910, № 12, стр. 2. *Русский Бисмарк* — премьер-министр П. А. Столыпин (1862—1911), вдохновитель реакционной политики царизма, обещавший «успокоить» Россию; все прогрессивные сатирические журналы издевательски именовали Столыпина «русским Бисмарком». *Бисмарк* Отто (1815—1898) — немецкий канцлер, сосредоточивший в своих руках всю власть в стране.

Послания

Во всех дореволюционных изданиях циклу предшествовал эпиграф, взятый из Библии: «Сладок свет, приятно для глаз видеть солнце» (Екклезиаст, XI, 7).

Послание первое (стр. 165). Впервые — С, 1908, № 9, стр. 2. Печ. по сб. «Сатиры», стр. 133. *Лидваль* — поставщик продовольствия в голодающие губернии в 1906 г.; его спекулятивные аферы вызвали громкий политический скандал, использованный для разоблачения правых партий на выборах во II Государственную думу. *Гунгербург* — модный курорт (старое название Усть-Нарвы). *Шварц* — см. стр. 550.

Послание второе (стр. 166). Впервые — С, 1908, № 11, стр. 2. *«Родина»* — еженедельный иллюстрированный журнал (1879—1917).

Послание третье (стр. 167). Впервые — С, 1908, № 13, стр. 2. В изд. 1922 г., кн. 1, стр. 141, из стихотворения выброшены два последних четверостишия. Печ. по журнальному тексту.

Послание четвертое (стр. 168). Впервые — С, 1908, № 14, стр. 7.

Послание пятое (стр. 170). Впервые — С, 1908, № 19, стр. 4, под названием «Послание шестое». Печ. по сб. «Сатиры»,

стр. 141. Название «Послание пятое» прежде имело другое стихотворение («Крутя рембрандтовской фигурой...»); оно было опубликовано в С, 1908, №. 17, стр. 5, и в сб. «Сатиры» не входило.

Послание шестое (стр. 171). Впервые — С, 1908, № 33, стр. 7, под заглавием «Зимний сон» и эпиграфом: «Как хороши, как свежи были розы» (из стихотворения И. П. Мятлева «Розы»). Печ. по сб. «Сатиры», стр. 143.

Кумысные вирши (стр. 172). Впервые — С, 1909, № 24, стр. 6(I); № 26, стр. 5(II); № 27, стр. 7(III); № 28, стр. 7(VI). В изд. 1922 г., кн. 1, стр. 148, в четвертом стихотворении цикла вместо стихов 13—24:

Отличить ли в наше время
Тех, кто нужен, от ненужных?
Может быть, я сам ненужен
Ни себе, ни добрым людям...
Может быть, Гафиз беспечный
Всех мудрей и всех полезней.

7 апреля 1909 г. Саша Черный сообщал в письме к К. Р. Миллю, что в середине мая уезжает на кумыс в деревню Чебени. (ПД, архив К. Р. Милля). Этим устанавливается дата стихотворения. *Аяксы* — в «Илиаде» Гомера два героя Троянской войны, символ мужской дружбы. *Витте* Сергей Юльевич (1849—1915) — известный государственный деятель; в 1905—1906 гг. — председатель Комитета министров, организатор сил контрреволюции. *Опопонакс* — растение, смола которого употребляется в парфюмерии. *Марков* — см. стр. 553.

Провинция

Большинство стихотворений этого цикла было написано в 1908—1910 гг., однако в изд. 1922 г., кн. 1, были включены позднейшие стихотворения, написанные в Вильно и Пскове: «Виленский ребус», «На музыкальной репетиции», «Псковская колотовка».

Бульвары (стр. 178). Впервые — С, 1908, № 2, стр. 2, под заглавием: «Провинция». Печ. по сб. «Сатиры», стр. 141. *Бонтонны* — благовоспитанны, изысканно любезны. *Нежны кремовые брюки.* Высшие чины царской бюрократии носили светлые форменные брюки.

Священная собственность (стр. 179). Впервые — С, 1908, № 15, стр. 3.

На славном посту (стр. 180). Впервые — С, 1908, № 35, стр. 2, с подзаголовком «Провинция». *Газета-инвалид* — по-видимому, житомирский «Волынский вестник», в котором Саша Черный сотрудничал в 1904 г. *Болеро* — здесь модная шляпа, по названию испанского национального танца. *Клемансо* Жорж (1841—1929) — глава кабинета министров во Франции (1906—1909).

При лампе (стр. 181). Впервые — С, 1908, № 27, стр. 4, с подзаголовком «Провинция». *Экстерн* — лицо, подвергающееся испытанию в каком-либо учебном заведении, но не занимающееся в нем.

Шкатулка провинциального «cabalero» (стр. 182). Впервые — С, 1908, № 37, стр. 6, под заглавием «Шкатулка провинциального кавалера». С исправлениями — альм. «Стружки». СПб., 1909, стр. 89. В дореволюционных изданиях «Сатир» печ. под заглавием «Шкатулка провинциального кавалериста». Печ. по изд. 1922 г., кн. 1, стр. 166. *«Эсс-букс» и «Гонгруаз»* — названия духов. *Кадрильные фразы.* В мещанской среде танцующие кадриль иногда обменивались условными фразами «галантного» языка. *«Варшавские» cartes postales* — порнографические открытки.

На галерке (стр. 182). Впервые — С, 1908, № 6, стр. 7, с подписью: А. Гликберг.

Ранним утром (стр. 183). Впервые — С, 1909, № 33, стр. 2, под заглавием «Провинция». *«Приготовишка»* — ученик приготовительного класса. *Кентавр* (греч. миф.) — получеловек-полулошадь. *Гицель* — живодер, человек, ловящий бездомных собак.

Лошади (стр. 184). Впервые — С, 1910, № 6, стр. 8, с подписью: С — а Ч.

Из гимназических воспоминаний (стр. 186). Впервые — С, 1910, № 3, стр. 5. Стихотворение носит автобиографический характер: Гликберг учился в житомирской гимназии (см. вступ. статью, стр. 23). *Приготовишка* — см. выше. *Смайлс* Самуил (1812—1904) — английский писатель-моралист, доказывавший, что путем личных усилий и добродетели каждый человек может добиться богатства и славы. *Клирос* — место в церкви по обеим сторонам от алтаря, где собирались причетники — чтецы и певчие. *«Gala Peter»* — марка шоколада.

Виленский ребус (стр. 187). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 174. Написано во время пребывания поэта в Вильно. По связи со стихотворением «Первая любовь» предположительно датируется 1910 г. *Маклер* — лицо, занимающееся посредничеством при заключении сделок. *Гименей* (греч. миф.) — божество брака. *Спиноза* Бенедикт (1632—1677) — голландский философ.

Первая любовь (стр. 188). Впервые — С, 1910, № 8, стр. 3. *Куприн* Александр Иванович (1870—1938) — писатель, друг Саши Черного. *Кастаньеты* — музыкальный инструмент, состоящий из двух деревянных полушарий небольшого размера; звук кастаньет напоминает щелканье.

На музыкальной репетиции (стр. 189). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 178. Написано одновременно со стихотворением «Виленский ребус».

Праздник («Генерал от водки...») (стр. 190). Впервые — С, 1910, № 16, стр. 7, под заглавием: «Визиты». Печ. по изд.: Саша Черный. Сатиры. СПб., 1913, стр. 196. *Акциз* — косвенный налог на какие-либо предметы потребления, а также учреждение, занимающееся взиманием акцизов. *С ключами ниже спины.* Золоченый ключ — знак придворного звания камергера, его носили на ленте за спиной. *Белеют штаны* — см. примечание к стихотворению «Бульвары», стр. 558.

На реке (стр. 191). Впервые — «Солнце России», 1910, № 6, стр. 6. *Волонтеры* — поступавшие на военную службу по собственному желанию, добровольцы. *Бонна* — воспитательница детей.

Псковская колотовка (стр. 192). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 184. *Колотовка* — сварливая женщина. *Шипр* — см. стр. 549.

Уездный город Болхов (стр. 194). Впервые — «Избранные стихи русских поэтов». СПб., 1914, стр. 21. *Одры* — старые изнуренные лошади. *Коринфские колонны* — колонны особой формы, распространенные в античную эпоху. *Бомондный* (франц.) — светский, благородный. *Чуйка* — см. стр. 549. *«Карнавал в Венеции»* и *«Любовник под диваном»* — кинофильмы.

«Трава на мостовой...» (стр. 195). Впервые — С, 1910, № 40, стр. 7, под заглавием «Виньетка»; подпись: С — а Ч — й. Печ. по изд.: Саша Черный. Сатиры. СПб., 1913, стр. 205. *«Мозг и душа»* — книга философа-психолога Г. И. Челпанова. *«На дне»* — пьеса А. М. Горького. *«Гаданье Соломона»* — имеется в виду лубочная гадательная книга «Голова Соломона», популярная в мещанской среде.

Лирические сатиры

В изд. 1922 г., кн. 1, из цикла было исключено стихотворение «Диспут».

Под сурдинку (стр. 196). Впервые — С, 1909, № 44, стр. 5. *Маркер* — человек, прислуживающий при бильярде.

У моря (стр. 197). Впервые — С, 1909, № 30, стр. 2.

Из Финляндии (стр. 198). Впервые — «Сатиры», стр. 183. *«Речь»* — см. стр. 556. *Иматра* — водопад в Финляндии, на реке Вуоксе. *Табльдот* — общий стол в гостиницах и ресторанах.

Песнь песней (стр. 200). Впервые — С, 1909, № 41, стр. 2. Пародируя библейскую «Песнь песней» Соломона, Саша Черный в то же время отчасти метил здесь в повесть А. И. Куприна «Суламифь», публикация которой в 1908 г. вызвала разноречивые толки в русском обществе. В частности, М. Горький отрицательно отнесся

к этому произведению, осудив его за чрезмерную насыщенность эротикой и стилизаторство, сближающие повесть с искусством модернизма. Саша Черный также осудил отход Куприна от реализма и увлечение его модной тогда «проблемой пола». Так, в стихотворении «Шутка» (С, 1908, № 27) он высмеял наиболее натуралистическое произведение Куприна — рассказ «Морская болезнь»:

Еще скверней, когда Куприн,
Без всяких видимых причин,
В «Морской болезни» смело
Разделся неумело.

Соломон (X в. до н. э.) — древнееврейский царь; ему приписывались преданием сборники поучений и афоризмов, множество лирических произведений, в том числе библейская *«Песнь песней»* — сборник любовно-свадебных песен. *Суламифь* — бедная, прекрасная девушка, ставшая возлюбленной Соломона. *Хирам I* (969—936 до н. э.) — царь тирский, содействовавший Соломону в постройке храма. *Тир* — древнефиникийский город на восточном побережье Средиземного моря. *Гриф* (греч. миф.) — чудовище с львиным туловищем и орлиной головой. *Мессия* — здесь Христос.

Диспут (стр. 203). Впервые — Саша Черный. Сатиры. СПб., 1913, стр. 211. Написано между 1910 и 1913 гг., так как в первое издание «Сатир» не входило. *«Санин»* — порнографический роман М. П. Арцыбашева (1907), явившийся наиболее типичным выражением упадка буржуазной литературы 1900-х годов. *Парис* (греч. миф.) — в «Илиаде» Гомера сын Троянского царя; имя его стало синонимом красавца-соблазнителя.

Сквозной ветер (стр. 203). Впервые — «Солнце России», 1910, № 4, стр. 12, с пометой: Гейдельберг.

Весна мертвецов (стр. 204). Впервые — «Сатиры», стр. 190.

Бегство (стр. 205). Впервые — С, 1909, № 51, стр 2. *Нирвана* — состояние наивысшего блаженства в буддийской религии, освобождение от всех забот.

В оранжерее (стр. 206). Впервые — изд. 1922 г., кн. 1, стр. 206.

Экзамен (стр. 207). Впервые — С, 1910, № 20, стр. 7. Стихотворение было перепечатано в «Одесском сатириконе», где издатель Лосский самовольно поместил его под фамилией Сазонова (см. С, 1910, № 32). *«Закон»,* т. е. «закон божий», бывший обязательным предметом в гимназиях. *Лойола* Игнатий (1491—1550) — основатель ордена иезуитов. *Декарт* Рене (1596—1650) — французский философ и математик. *Бэкон* (1561—1626) — английский философ-материалист. *Паскаль* (1623—1662) — французский математик,

физик и философ. *Галилей* Галилео (1564—1642) — итальянский физик и астроном. *Пипин* Короткий (714—768) — первый франкский король из династии Каролингов.

В усадьбе (стр. 208). Впервые — «Одесские новости», 1910, № 8303. В изд. 1922 г. ошибочно указано место создания стихотворения: Кавантсари. *Аракария* (правильнее: араукария) — вечнозеленое хвойное дерево. *Камамбер* — сорт сыра. *Сальмела* — местечко в Финляндии.

Северная лирика (стр. 210). Впервые — С, 1909, № 2, стр. 4.

Гармония («Направо в обрыве...») (стр. 211). Впервые — С, 1908, № 8, стр. 5. *Ивик* (VI в. до н. э.) — греческий поэт, убитый разбойниками на пути к Истмийским играм. На этот сюжет написана известная баллада Шиллера «Ивиковы журавли». *Овён* — Роберт Оуэн (1771—1858), английский социалист-утопист.

Карнавал в Гейдельберге (стр. 211). Впервые — С, 1909, № 6, стр. 4. *Гейдельберг* — университетский город в юго-западной Германии.

Из «шмецких» воспоминаний (стр. 213). Впервые — С, 1909, № 49, стр. 5.

Улица в южногерманском городе (стр. 214). Впервые — С, 1910, № 4, стр. 5. Печ. по сб. «Сатиры», стр. 200. *Фланеры* — праздношатающиеся. *Жантильность* — кокетливость. *Цуг* — см. стр. 556. *Корпоранты* — студенты немецких университетов, члены корпораций (студенческих организаций). *Кентавры* — см. стр. 559.

Театр (стр. 215). Впервые — С, 1908, № 36, стр. 2. *«Синяя птица»* — см. стр. 546. *«Вечная сказка»* — драма польского писателя С. Пшибышевского (1905).

КНИГА ВТОРАЯ „САТИРЫ И ЛИРИКА"

Бурьян

В 1922 г., готовя к переизданию этот цикл, Саша Черный не включил в него стихотворения: «Две басни», «Стилисты», «Во имя чего?» и «Утешение», но дополнил цикл стихотворениями: «Визит», «Рождение футуризма», «Книжный клоп, давясь от злобы...», «Трагедия», «Современный Петрарка», «Безглазые глаза надменных дураков...», «Пред каждым дураком...».

В пространство (стр. 219). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 209. *Скорбный лист* — история болезни. *Дальтонизм* — дефект зрения, заключающийся в неспособности различать некоторые цвета. *Мефистофель* — образ демона, беса в немецкой народной ле-

генде о докторе Фаусте, положенной в основу ряда литературных произведений; распространенности этого образа в мировой литературе способствовала драма Гете «Фауст».

Санкт-Петербург (стр. 220). Впервые — С, 1910, № 49, стр. 3.

В Пассаже (стр. 221). Впервые — С, 1910, № 42, стр. 6. *Пассаж* — см. стр. 550. *Нуга* — кондитерское изделие из сладких орехов.

Тучков мост (стр. 221). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 164. *Тучков мост* — в Петербурге, через реку Малая Нева.

У канала ночью (стр. 222). Впервые — С, 1910, № 4, стр. 4, с подписью: Гликберг.

Вид из окна (стр. 223). Впервые — С, 1910, № 42, стр. 6.

Комнатная весна (стр. 223). Впервые — С, 1910, № 13, стр. 5. *Мурильевская Мадонна* — картина итальянского художника Бартоломе Эстебан Мурильо (1618—1662).

Мертвые минуты (стр. 224). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 1. Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 14.

Пять минут (стр. 225). Впервые — С, 1910, № 12, стр. 6

Колумбово яйцо (стр. 227). Впервые — С, 1911, № 14, стр. 3. Это — последнее произведение Саши Черного, напечатанное в С (см. вступ. статью, стр. 47).

В типографии (стр. 227). Впервые — С, 1910, № 41, стр. 6. *Метранпаж* — типографский рабочий-верстальщик. *Терпентин* — смолистая масса, получаемая из хвои. *Туше* — здесь прикосновение.

Бодрый смех (стр. 229). Впервые — С, 1910, № 17, стр. 5.

Человек в бумажном воротничке (стр. 230). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 41. *Амбре* — здесь сорт духов. *Кадеты* — члены буржуазной конституционно-демократической партии. *Эсдеки* — члены Российской социал-демократической рабочей партии (1898—1912). *Бальмонт* — см. стр. 546. *Дюма* Александр отец (1803—1870) и *Дюма* Александр сын (1824—1895) — популярные французские писатели; первый прославился авантюрно-историческими романами; второй — романами и пьесами на тему о разложении семьи; одного из них имеет в виду Саша Черный. *Андреев* — см. стр. 546. *Литейный* — проспект в Петербурге. *Фраже* — металл, имитирующий серебро. *Полендвица* — сорт колбасы.

Две басни (стр. 232). Впервые — сб. «Сатиры и лирика», стр. 21. *Ницше* Фридрих (1844—1900) — немецкий философ-идеалист; реакционные идеи Ницше, его индивидуалистическая теория «сверхчеловека» получили широкое распространение в среде русской буржуазной интеллигенции 1900-х годов. *Кандид* — герой философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759). *Ферт* — франт. *«В зобу дыханье сперло»* — стих из басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица».

Стилисты (стр. 233). Впервые — С, 1910, № 38, стр. 7. *Вазы этрусские* — сосуды своеобразной формы (обычно с гравировкой), характерные для прикладного искусства этрусков, одного из племен древней Италии (VIII—VI вв. до н. э.). *Ионический* и *дорийский* стили — классические стили древнегреческого искусства.

Во имя чего? (стр. 234). Впервые — С, 1911, № 6, стр. 2. В изданиях сб. «Сатиры и лирика» 1913—1917 гг. автор по цензурным соображениям вынужден был исключить стихи 24—35. Печ. по первой публикации. *Скиния* — святилище древних иудеев, упоминаемое в Библии. *Без белых штанов с позументом* — см. примечание к стихотворению «Бульвары», стр. 558. *Союзно-ничтожная падаль* — члены «Союза русского народа» (см. стр. 547). *Думбадзе* — см. стр. 557. *«Россия»* — см. стр. 551.

Утешение (стр. 235). Впервые — «Сатира и лирика», стр. 38. *Скуратов* — Малюта Скуратов (ум. 1573) — думный дворянин Ивана IV, глава царской опричнины. *Удивительная Дума* — III Государственная дума.

Бирюльки (стр. 236). Впервые — С, 1910, № 15, стр. 2. См. примечание к стихотворению «Бессмертие» (стр. 547). *Тенишевский зал* — зал Тенишевского училища, служивший местом собраний и публичных лекций. *«Скучно жить на белом свете!»* Ср. заключительные слова из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя: «Скучно на этом свете, господа!» *Соломон* — см. стр. 561.

В деревне (стр. 237). Впервые — С, 1910, № 18, стр. 2, под заглавием «Из деревни» (1). 16 апреля 1910 г. Саша Черный писал из деревни Заозерье К. Р. Миллю: «Приехал в деревню, пью молоко, собираю цветочки (анемоны и еще какие-то), и все кажется, что попал на выставку пейзажистов: вид из окна, вид на озера, вид на поля и прочее» (ПД, архив К. Р. Милля). *Сытинские сборники* — сборники русских народных песен, выходившие в издательстве И. Д. Сытина. *Па-д'эспань* — бальный танец. *Заозерье* — село в Ярославской губернии.

Северные сумерки (стр. 239). Впервые — С, 1910, № 19, стр. 5, под заглавием «Сумерки». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 53. См. примечание к стихотворению «В деревне». *Печенеги* — тюркские кочевники, в IX—XI вв. обитавшие в северном Причерноморье и часто нападавшие на Русь.

Пища (стр. 240). Впервые — С, 1910, № 21, стр. 6. Написано в Заозерье. Эпиграф — строка из стихотворения А. В. Кольцова «Песня пахаря». *Эзоп* (VI—V вв. до н. э.) — полулегендарный древнегреческий баснописец. *Струве* Петр Бернгардович (1870—1944) — буржуазный экономист, публицист и философ, «легальный» марксист, а затем — кадет; после Октябрьской революции белоэмигрант, один из активнейших деятелей контрреволюции.

Визит (стр. 242). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 41. Датируется 1911 г., лето которого Саша Черный провел в деревне Кривцово, описанной им впоследствии в рассказе «Первое знакомство» («Земля», сб. 8. М., 1912). В рассказе упоминается тот же самый учитель Ферапонт, что и в стихотворении. *Гнедич* Петр Петрович (1855—1927) — писатель, драматург, историк искусства, сотрудничавший в журнале «Нива».

Сообща (стр. 242). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 53.

Пряник (стр. 243). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 286.

В карцере (стр. 243). Впервые — С, 1911, № 5, стр. 2. Содержание стихотворения позволяет предположить, что А. М. Гликберг служил вольноопределяющимся. *Святцы* — список святых и религиозных праздников в календарном порядке. *Опойка* — кожа из шкуры телят.

Новая игра (стр. 246). Впервые — С, 1910, № 45, стр. 4. *Классный надзиратель* — здесь надзиратель при роте вольноопределяющихся.

Праздник (стр. 247). Впервые — «Речь», 1910, 18 апреля. *Буквы Х и В* — пасхальное приветствие «Христос воскресе!»

Рождение футуризма (стр. 248). Впервые — «Киевская мысль», 1912, № 122. *Ослиная кожа* — намек на группу футуристов «Ослиный хвост».

«Книжный клоп, давясь от злобы...» (стр. 248). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 49. Эпиграф — из книги «Афоризмы» немецкого философа, писателя-сатирика и публициста Георга-Кристофа *Лихтенберга* (1742—1799). *Моветон* — человек дурного тона. *Лазарь* — см. стр. 545.

Трагедия (стр. 249). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 50. *Микрокефал* — человек с ненормально маленькой головой.

Современный Петрарка (стр. 250). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 52. *Петрарка* Франческо (1304—1374) — итальянский поэт. *Шелли* Перси-Биши (1792—1822) — английский поэт и драматург. *Крез* — последний царь Лидии (ок. 560—546 до н. э.),

обладатель несметных богатств. *Царь Давид* — полулегендарный древнееврейский царь (конец XI — нач. X в. до н. э.).

«Безглазые глаза надменных дураков...» (стр. 251). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 54. Очевидно, написано между 1909 и 1912 гг., когда Сашу Черного остро волновала тема опошления искусства в буржуазную эпоху (см. цикл «Литературный цех»). *Дант* — см. стр. 553.

Русское (стр. 252). Впервые — С, 1911, № 7, стр. 3. Эпиграф — из «Повести временных лет», слова великого князя Владимира в ответ на предложение болгар принять их вероисповедание, запрещавшее употребление вин. *Витии* — ораторы. *Апаш* — деклассированный элемент, хулиган. *О наследственности шведа.* Имеется в виду легенла о призвании варягов, положивших будто бы начало русской государственности. *Вий* — чудовище, адское существо в повести Гоголя «Вий».

В детской (стр. 253). Впервые — С, 1908, № 7, стр. 5, под заглавием «Разговор». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 64, где текст был радикально переработан. В частности, в журнальной редакции стихотворение начиналось строками:

Недавно я случайно услыхал,
Как мальчуган другому объяснял:
«Ты знаешь, я прочел, не помню где...»

Фалес Милетский (конец VII — нач. VI в. до н. э.) — древнегреческий ученый и мыслитель.

Борьба (стр. 254). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 65. *«Чем хуже, тем лучше»* — крылатое выражение, заимствованное из французского языка («Pire ça va, mieux ça est»).

Бессменный (стр. 254). Впервые — С, 1910, № 47, стр. 4. *Нерон* (37—68) — римский император. *Кир* (ок. 558—529 до н. э.) — древнеперсидский царь. *Пандора* (греч. миф.) — женщина, которой верховный бог Зевс подарил ящик, содержащий в себе все человеческие несчастья и бедствия. *Вечный мир* — идея французского публициста аббата де Сен-Пьера (1658—1743), изложившего ее в книге «Проект непрерывного мира» (1713).

«Пред каждым дураком душа пылает гневом...» (стр. 255). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 60. Эпиграф — из библейской «Книги притчей» Соломона.

Анемоны (стр. 255). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 66. *Горгона* — см. стр. 554.

Несправедливость (стр. 256). Впервые — С, 1910, № 48, стр. 3.

Настроение (стр. 257). Впервые — «Киевская мысль», 1910, № 322. Эпиграф — из стихотворения «Landstreichers lobgesang» немецкого лирика Рихарда *Демеля* (1863—1920). *Гименей* — см. стр. 559. *«Кармен»* — опера французского композитора Жоржа Бизе (1875).

На расстоянии (стр. 259). Впервые — С, 1910, № 37, стр. 2, с подзаголовком «Из альбома резонера». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 73. В журнальном тексте стихи 17—18:

Иль, может быть, пронесся слух нечистый,
Что я вписался в стадо октябристов?

Этуаль — здесь красавица (от франц. étoile — звезда). *Santa Margherita* — селение на берегу Лигурийского моря в Италии (в заливе Рапалло).

Больному (стр. 260). Впервые — С, 1910, № 22, стр. 3. Написано по поводу участившихся в годы реакции самоубийств среди интеллигенции, в частности среди учащейся молодежи. *Григ* Эдвард (1843—1907) — норвежский композитор. *Голландская сажа* — краска, употреблявшаяся в живописи.

Признание (стр. 261). Впервые — С, 1910, № 25, стр. 8.

Горький мед

В изд. 1922 г. в этот цикл было перенесено стихотворение «Факт», которое во всех дореволюционных изданиях печаталось в цикле «У немцев».

«Любовь должна быть счастливой...» (стр. 262). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 81.

Так себе (стр. 262). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 82.

Амур и Психея (стр. 264). Впервые — С, 1910, № 39, стр. 6. *Психея* (греч. миф.) — прекрасная девушка, пленившая бога любви *Амура*. Психея нарушила запрет, попытавшись увидеть Амура, и тот исчез, но после долгих испытаний она вновь соединилась с ним (версия Апулея).

Страшная история (стр. 265). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 86. *Народный дом* — общедоступное место развлечений в Петербурге.

Наконец! (стр. 267). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 89.

Хлеб (стр. 270). Впервые — С, 1910, № 34, стр. 6, под заглавием «У Нарвских ворот» и без подзаголовка. Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 92. В журнальном тексте стихи 5—8:

Она с усами
И в рваном лифе,
А он с «власами»
И словно в тифе.

Ошибка (стр. 271). Впервые — «Одесские новости», 1910, № 8094, под заглавием: «Непоправимое» и с посвящением А. И. Куприну. Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 95.

Факт (стр. 272). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 212, с подзаголовком «Из цикла „У немцев"». *Фрау* — госпожа, дама. *Иерихонская труба.* Согласно библейской легенде, неприступные стены города Иерихона рухнули от оглушительного звучания труб израильских воинов, вторгшихся в Палестину во 2-й половине II тысячелетия до н. э. *Боннский студент* — студент университета в г. Бонне. *Фрейлейн* — барышня. *Герр* — господин.

Колыбельная (стр. 273). Впервые — С, 1910, № 46, стр. 2. *Бова* — королевич, герой русских народных сказок.

«Дурак» (стр. 274). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 99. *Эдем* — библейский рай.

Любовь не картошка (стр. 275). Впервые — С, 1910, № 40, стр. 4. Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 102. В журнальном тексте стихи 55—58:

Ждать ли, ждать ли диплома три года?
Роза цветет — Эпштейн не бревно.
Любовь — не картошка. И рвется природа
Радостно, буйно и смело в окно!

Бугай — племенной бык. *Гоните в дверь — ворвется в окно* — несколько измененный стих Н. М. Карамзина из его очерка «Чувствительный и холодный» (1803): «Гони природу в дверь: она влетит в окно»; этот стих взят Карамзиным из басни Лафонтена «Кошка, превращенная в женщину».

В башкирской деревне (стр. 277). Впервые — «Современный мир», 1910, № 12, стр. 119. Написано, по всей вероятности, одновременно с «Кумысными виршами», в 1909 г.

Прекрасный Иосиф (стр. 279). Впервые — альм. «Шиповник», кн. 13. СПб., 1910, стр. 125. Критик Д. Философов, не учтя пародийной установки Саши Черного, нашел в этом стихотворении искажение русского языка: «Из русского Гейне, ультрасовременного поэта Саши Черного:

Она целовала меня
И я ее тоже обратно.

До сих пор брали билеты «туда и обратно», но теперь можно «туда и обратно» целоваться». Саша Черный ответил ему: «Объясняю для маленьких детей и Д. Философова: «целоваться туда и обратно» нельзя ни в коем случае, хотя это и остроумно до чрезвычайности, а «целовать обратно» в смысле «вернуть поцелуй» — иногда можно. Например, в данном случае, когда это выражение

несерьезно, нарочито и вполне оправдано той внутренней гримасой (далеко не смешной!), которая скрывается за этими словами» (С, 1910, № 44, стр. 5). *Прекрасный Иосиф* — см. стр. 555.

Городской романс (стр. 281). Впервые — С, 1910, № 44, стр. 3, под заглавием: «Вечером» (1). Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 113.

В Александровском саду (стр. 282). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 114. *Александровский сад* — см. стр. 550. *Какаду* — здесь отделка на шляпке из перьев попугая какаду.

На Невском ночью (стр. 282). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 115.

У немцев

В основу цикла легли впечатления Саши Черного от поездки в Германию в 1907 г. В изд. 1922 г. кн. 2, состав цикла был существенно изменен: выброшены наиболее резкие сатиры: «В Берлине», «Бавария», «На Рейне», «Еще факт», и, напротив, введены пейзажные стихотворения из цикла «Иные струны»: «Остров», «Предместье», «Идиллия», «Узкий палисадник. . .», «В пути».

«Kinderbalsam» (стр. 283). Впервые — С, 1910, № 28, стр. 5, с пометой: Гейдельберг. *Kinderbalsam* — детское лекарство. *«Голубой крест»* — антиалкогольный клуб в Германии. *Вильгельм* — см. стр. 547.

Немецкий лес (стр. 285). Впервые — С, 1910, № 29, стр. 2, с пометой: Оденвальд.

Ins Grüne (стр. 286). Впервые — С, 1910, № 33, стр. 2, под заглавием «Как Францы гуляют». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 121. *Ферейн* — общество, кружок.

В немецкой Мекке

1. Дом Шиллера (стр. 287). Впервые — С, 1910, № 31, стр. 3. В дореволюционных изданиях ст. 14: «Немцам интересней шиллеровский храм». *Пьеро* — распространенное имя комедийного персонажа в театре-балагане.

2. Дом Гете (стр. 288). Впервые — там же. *Камергер* — придворное звание. *Дон Жуан* — герой ряда литературных произведений (Тирсо де Молины, Мольера, Байрона, Пушкина и др.). Здесь — волокита, обольститель женщин. *Патриций* — человек в древнем Риме, принадлежащий к высшим сословиям; здесь государственный человек, вельможа. *Антикварий* — любитель старых, редких вещей (книг, картин, безделушек и т. п. предметов). *Данте* — см. стр. 553. *Тарквиний* Гордый (VI в. до н. э.) — по преданию, последний царь в древнем Риме. *Самсон* — древнееврейский мифический герой, обладавший сверхъестественной силой. *«Больше света!»* — предсмертные слова Гете.

3. На могилах (стр. 289). Впервые — С, 1910, № 32, стр. 3. *Карл-Август* (1757—1828) — герцог Саксен-веймар-эйзенахский. *София-Луиза* — его жена. *Франц-Готтлиб-Фридрих-Вильгельм* (1620—1688) — курфюрст (владетельный князь) Бранденбургский.

В ожидании ночного поезда (стр. 290). Впервые — С, 1910, № 30, стр. 7. *Кронпринц* — наследник престола в немецких монархических государствах.

С приятелем (стр. 291). Впервые — С, 1910, № 35, стр. 3, с пометой: Гейдельберг.

Корпоранты (стр. 292). Впервые — С, 1911, № 4, стр. 9, под заглавием «Немецкие корпоранты» и с подзаголовком: «Посвящается гг. академистам». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 139. *Корпоранты* — см. стр. 562. *Бурш* — немецкий студент.

Философы (стр. 293). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 284, с подзаголовком: «Из цикла „У немцев"». *Кант* — см. стр. 552. *Виндельбанд* Вильгельм (1848—1915) — немецкий философ-идеалист, последователь Канта.

Дамоклов меч (стр. 294). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 42, без заглавия, с пометой: Гейдельберг. Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 141. *Дамоклов меч* — выражение, употребляемое для обозначения близкой и грозной опасности, нависшей над человеком. *Рудой* — красный. *Габерсуп* — овсяный суп.

Еще факт (стр. 295). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 145. *Вильгельм* — см. стр. 547. *Вакх* (греч. и римск. миф.) — бог вина и веселья.

Остров (стр. 295). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 100. *Оденвальд* — горный массив в Германии между долинами Рейна, Неккара и Майна.

Рынок (стр. 296). Впервые — «Солнце России», 1910, № 7, стр. 3.

Предместье (стр. 297). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 198. *Серафим* — в христианской религии ангел высшего чина; изображался на иконах шестикрылым.

Идиллия («Гигантские спички...») (стр. 298). Впервые — сб. «Вершины», кн. 1. СПб., 1909, стр. 168. Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 190. *Циклист* — велосипедист. *Шварцвальд* — горный массив в юго-западной Германии.

«Узкий палисадник...» (стр. 299). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 56, под заглавием: «Михель», с пометой: Гейдельберг. Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 209. *Андерсен* Ханс Кристиан (1805—1875) — датский писатель, автор сказок.

Кельнерша (стр. 300). Впервые — «Сполохи», 1922, № 3, стр. 8. *Корпоранты* — см. стр. 562.

В пути (стр. 300). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 133. *Цитра* — струнный инструмент. *Илия* — библейский пророк; когда нечестие царя Ахава и его жены Иезавели достигло предела, Илья, облаченный в простой плащ, босой и с посохом в руке, явился в царский дворец и возвестил, что страну Самарию постигнет трехлетний голод. *Митра* — головной убор епископов и заслуженных священников, надевается во время богослужения.

«В полдень тенью и миром полны переулки...» (стр. 302). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 135. *Корпорант* — см. стр. 562. *Валькирия* — в скандинавской мифологии дева-воительница; здесь — немка. *Неккар* — приток Рейна.

В Берлине (стр. 302). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 74 (I) и № 140 (II). *Крез* — см. стр. 566. *Кайзер* — германский император. *Цитра* — см. выше.

«Бавария» (стр. 304). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 149. Речь идет о гигантской безвкусной статуе в Мюнхене, изображающей Баварию; внутрь статуи можно было входить. *Валькирия* — см. выше.

На Рейне (стр. 306). Впервые — С, 1911, № 10, стр. 4. *Рейнвейн* — марка вина. *Лорелея* — в немецких народных легендах — жившая на Рейне волшебница-обольстительница; обладая чудесным голосом, она приманивала проплывавших мимо путешественников и рыбаков и губила их.

Хмель

В изд. 1922 г. цикл «Хмель» был, в сущности, заново сформирован автором. В него вошло 30 из 48 стихотворений цикла «Иные струны» (во всех дореволюционных изданиях) и стихотворения, вновь написанные или ранее опубликованные в различных периодических изданиях: «В Крыму», «Дождь», «У Нарвского залива», «Огород», «Силуэты», «Возвращение», «Еле тлеет погасший костер...», «Белая колыбель», «Сумерки», «На пруду», «Пьяная песня», «Описание одного путешествия», «Тифлисская песня», «Ленивая любовь», «В Тироле», «Прибой», «На веранде кромешная тьма...», «Там внизу синеет море...», «Над морем», «Лукавая серенада», «Человек». В изд. 1913 г., печатая цикл «Иные струны», Саша Черный указал период его написания: 1906—1911. Таким образом, над лирическими миниатюрами цикла «Хмель» он работал с 1906 по 1922 г. В настоящем издании воспроизводится цикл «Хмель», дополненный стихотворениями «Иных струн», не вошедшими в изд. 1922 г.: «Призраки», «Замираю у окна», «На кладбище», «У моей зеленой елки...», «Дождь» («Сквозь распластанные ветви...»), «У Балтийского моря», «Снегири», «Из Флоренции», «Если летом по бору кружить...», «Осень в горах» и «В пути».

(Остальные 7 стихотворений цикла «Иные струны» были включены Сашей Черным в предыдущий цикл и в книгу «Детский остров»).

На лыжах (стр. 308). Впервые — С, 1911, № 2, стр. 4, с пометой: Кавантсари. В изд. 1922 г., кн. 2, выброшены стихи 31—45. Печ. по первой публикации. *Удод* — птица. *Исакий каждый год опускается всё ниже.* Имеются в виду обывательские слухи о том, будто Исаакиевский собор в Петербурге постепенно оседает.

Нирвана (стр. 310). Впервые — С, 1911, № 8, стр. 5, с пометой: Кавантсари. *Нирвана* — см. стр. 561.

«В чужой толпе...» (стр. 310). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 171. *Марабу* — птица из семейства аистовых. *Табу* — см. стр. 552.

Уголок (стр. 311). Впервые — С, 1910, № 36, стр. 2, с посвящением В. В. Соболевой. Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 182. В журнальном тексте после ст. 13 была строфа, исключенная в издании 1913 г.:

Рой обросший скелетов.
Не нашел бы Джульетты
    Современный Ромео меж ними!
Да Ромео и сами —
Как болонки с усами,
    Как дантисты в фельдфебельском
                                                            гриме.

Медянка — зеленая краска.

Жара (стр. 312). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 167, под заглавием «Из солнечных воспоминаний». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 211. *Виктор-и-Эммануил* — памятник итальянскому королю Виктору-Эммануилу II (1810—1878). *Полента* — итальянское кушанье, приготовляемое из маисовой муки. *Киянти* — виноградное вино.

«Солнце жарит. Мол безлюден...» (стр. 313). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 148. Датируется 1911 г. — по времени пребывания Саши Черного в Крыму. *В позе Бонапарта* — со скрещенными на груди руками.

В море (стр. 314). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 188. Написано, по всей вероятности, в Крыму, в 1911 г.

В Крыму (стр. 314). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 151. О мотивах датировки см. выше примечание к стихотворению «Солнце жарит...» *Канифоль* — смола, добываемая из коры хвойных деревьев.

Дождь («Потемнели срубы от воды...») (стр. 315). Впервые — «Русское богатство», 1914, № 1, стр. 128.

«Почти перед домом...» (стр. 315). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 210.

Лунатик (стр. 316). Впервые — С, 1910, № 47, стр. 2.

У Нарвского залива (стр. 317). Впервые — «Солнце России», 1914, № 23, стр. 16.

Огород (стр. 318). Впервые — «Русское богатство», 1914, № 1, стр. 27.

Силуэты (стр. 318). Впервые — «Энергия», сб. 3. СПб., 1914, стр. 10.

Возвращение (стр. 319). Впервые — «Энергия», сб. 3. СПб., 1914, стр. 12. *Скифы* — племена, обитавшие в северном Причерноморье в VII до н. э. — III вв. н. э.

«Еле тлеет погасший костер...» (стр. 320). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 160. *Илия* — см. стр. 571.

Белая колыбель (стр. 320). Впервые — «Русская мысль», 1916, № 2, стр. 86.

Сумерки (стр. 321). Впервые — «Русская мысль», 1916, № 2, стр. 85.

На пруду (стр. 321). Впервые — «Русская мысль», 1916, № 2, стр. 85.

Радость (стр. 322). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 206. Очевидно, написано в 1911 г., судя по помете: Кривцово.

На пчельнике (стр. 323). Впервые — альм. «Шиповник», кн. 13. СПб., 1910, стр. 123. *Пепермент* — средство от кашля. *Веста* (римск. миф.) — божество домашнего очага и огня; в Риме был сооружен храм богини Весты, в котором поддерживался вечный огонь.

«Пуща-Водица» (стр. 325). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 168. *Пуща-Водица* — дачная местность под Киевом.

Декорация (стр. 326). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 200. *Фиакры* — наемные экипажи.

«Грохочет вода о пороги...» (стр. 327). Впервые — сб. «Вершины», кн. 1. СПб., 1909, стр. 157, под заглавием «Теплая ночь». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 202.

На замковой террасе (стр. 327). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 203. Печ. по изд. 1922 г., кн. 2, стр. 173. *Бюргеры* — горожане, обыватели.

«Месяц выбелил пол...» (стр. 328). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 228, под заглавием «Лунная соната». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 204.

«Цветы от солнца пьяны...» (стр. 329). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 206.

«Вся ограда...» (стр. 330). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 208, под заглавием «Хмель». Печ. по изд. 1922 г., кн. 2, стр. 177. *Нептун* — статуя бога морей Нептуна (римск. миф.) в фонтане. *Менестрель* — средневековый певец-поэт и музыкант.

На санках с гор (стр. 330). Впервые — С, 1910, № 10, стр. 5.

Разгул (стр. 331). Впервые — «Солнце России», 1910, № 39, стр. 8, с пометой: Гейдельберг.

На пароме (стр. 332). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 279.

В чаще (стр. 333). Впервые — «Современный мир», 1910, № 2, стр. 178. *Сатир* (греч. миф.) — лесное божество; сатиры составляли свиту бога вина и виноделия Диониса.

«Качаются томные листики...» (стр. 333). Впервые — С, 1910, № 30, стр. 3, где объединено со стихотворением «Неподвижно-ленивые кости» (см. ниже), под общим заглавием: «Общедоступное счастье».

Апельсин (стр. 334). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 227.

«Неподвижно-ленивые кости...» (стр. 335). Впервые — С, 1910, № 30, стр. 3, под № 1, вместе со стихотворением «Качаются томные листики...»

«Я конь, а колено — седельце...» (стр. 336). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 232.

Квартирантка (стр. 336). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 278. *Аграф* — нарядная пряжка или застежка. *«Лебедь»* — песня для голоса и фортепьяно композитора Эдварда Грига (см. стр. 567).

«Мы женили медвежонка...» (стр. 337). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 66, под заглавием «Элочка».

Зирэ (стр. 338). Впервые — приложение к «Киевской мысли», 1911, № 287. В ПД сохранился беловой автограф стихотворения, предназначенный для «Современного мира». Однако редакция журнала возвратила стихотворение под тем предлогом, что в нем

преобладал «личный элемент» (см. вступ. статью, стр. 49). *Фелука* (или фелюга) — небольшое парусное судно. *Мисхор* — курортное местечко на Южном берегу Крыма.

Пьяная песня (стр. 340). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 193.

Описание одного путешествия (стр. 340). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 194. *«Киевская мысль»* — газета, сотрудником которой Саша Черный был в 1911—1912 гг. *Сарданапал* — полулегендарный последний ассирийский царь. *Выдубецкий монастырь* — мужской монастырь неподалеку от Киева.

Утром (стр. 341). Впервые — С, 1910, № 44, стр. 3.

Тифлисская песня (стр. 342). Впервые — «Жар-птица», 1921, № 1, стр. 40, с подписью: Кинто. *Шайтан* — дух зла, дьявол у мусульман.

Ленивая любовь (стр. 343). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 198.

В Тироле (стр. 343). Впервые — «Энергия», сб. 3. СПб., 1914, стр. 7.

Прибой (стр. 344). Впервые — «Энергия», сб. 3. СПб., 1914, стр. 8, в цикле «Летние сны». Датируется по времени пребывания поэта на острове Капри в Италии: 1912 г. *Самсон* — см. стр. 569.

«На веранде кромешная тьма...» (стр. 345). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 204. О мотивах датировки см. предыдущее примечание. *Киянти* — см. стр. 572.

«Там внизу синеет море...» (стр. 346). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 206. О мотивах датировки см. выше примечание к стихотворению «Прибой».

Над морем (стр. 347). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 207. Очевидно, было написано одновременно со стихотворениями «Прибой», «На веранде кромешная тьма...» и «Лукавая серенада» — в 1912 г. *Portovenere* — поселение на побережье Лигурийского моря при заливе Специя.

Лукавая серенада (стр. 347). Впервые — изд. 1922 г., кн. 2, стр. 208. О мотивах датировки см. выше примечание к стихотворению «Прибой». *Месса* — см. стр. 551. *Катаракт* — глазное заболевание. *Шерри-бренди* — вишневый ликер.

Человек (стр. 348). Впервые — «Киевская мысль», 1912, № 69.

Призраки (стр. 349). Впервые — «Золотое руно», 1907, № 1, под заглавием «Предчувствие». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 157. Под псевдонимом «Агли» стихотворение было прислано на конкурс «Золотого руна» и получило премию.

«Замираю у окна...» (стр. 350). Впервые — «Современный мир», 1910, № 12, стр. 56, под заглавием «Томление» и с пометой: Гейдельберг. На этом основании датируется 1907 г.

На кладбище (стр. 351). Впервые — «Современный мир», 1910, № 5, стр. 181.

«У моей зеленой елки...» (стр. 351). Впервые — С, 1909, № 52, стр. 2, под заглавием: «Моя елка». Печ. по сб. «Сатиры и лирика», стр. 205.

Дождь («Сквозь распластанные ветки...») (стр. 352). Впервые — «Современный мир», 1910, № 2, стр. 179.

У Балтийского моря (стр. 353). Впервые — альм. «Огни». СПб., 1910, стр. 12.

Снегири (стр. 355). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 174. Датируется по времени пребывания Саши Черного в Кавантсари (см. стихотворения «На лыжах» и «Нирвана»).

Из Флоренции (стр. 356). Впервые — С, 1910, № 38, стр. 3, с подписью: С — а Ч — й. *Боттичелли* Сандро (1441—1510) — итальянский живописец. *«Давид» Микеланджело* — знаменитая скульптура Микеланджело Буонаротти.

«Если летом по бору кружить...» (стр. 356). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 189.

Осень в горах (стр. 357). Впервые — «Сатиры и лирика», стр. 192. Судя по помете «Оденвальд», написано, очевидно, в 1907 г. *Бёклин* — см. стр. 554.

В пути (стр. 358). Впервые — «Сатира и лирика», стр. 194. *Хрущ* — майский жук.

Из Гейне

Произведения Гейне Саша Черный начал переводить в 1911 г. Всего известно 14 переводов, опубликованных в «Сатириконе», «Киевской мысли» и «Современнике» или вошедших в книгу «Генрих Гейне. Книга песен». В настоящем издании публикуются лишь те из них, которые были включены автором в сб. «Сатиры и лирика».

«Печаль и боль в моем сердце...» (стр. 359). Перевод стихотворения «Mein Herz, mein Herz ist traurig...». Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 31.

«За чаем болтали в салоне...» (стр. 360). Перевод стихотворения «Sie saßen und tranken am Teetisch...». Впервые — С, 1911, № 9, стр. 3.

«В облаках висит луна...» (стр. 360). Перевод стихотворения «Auf den Wolken ruht der Mond...». Впервые — «Генрих Гейне. Книга песен», стр. 27.

«Этот юноша любезный...» (стр. 361). Перевод стихотворения «Diesen liebenswürd'gen Jüngling...». Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 29.

Штиль (стр. 362). Перевод стихотворения «Meersstille». Впервые — «Генрих Гейне. Книга песен», стр. 60.

ИЗ КНИГИ ТРЕТЬЕЙ „ЖАЖДА“

Война

Бóльшая часть стихотворений цикла «Война» не датирована автором, но безусловно относится к годам первой мировой войны. Журнальных публикаций их обнаружить не удалось. Очевидно, они впервые увидели свет в книге «Жажда» (Берлин, 1923).

Песня войны (стр. 365). Впервые — «Жажда», стр. 7.

Сборный пункт (стр. 366). Впервые — там же, стр. 9.

На фронт (стр. 367). Впервые — там же, стр. 10.

Репетиция (стр. 367). Впервые — там же, стр. 11.

Привал (стр. 368). Впервые — там же, стр. 16.

Письмо от сына (стр. 369). Впервые — там же, стр. 19. *Хорунжий* — офицерский чин в казачьих войсках.

В операционной (стр. 369). Впервые — там же, стр. 20.

Чужая квартира (стр. 371). Впервые — там же, стр. 24.

Отступление (стр. 371). Впервые — там же, стр. 30.

Сестра (стр. 372). Впервые — там же, стр. 38. *«Горбунок»* — стихотворная сказка П. П. Ершова (1815—1869) «Конек-горбунок». *Ломжа* — город в Польше; здесь во время первой мировой войны шли ожесточенные бои.

На поправке (стр. 373). Впервые — там же, стр. 40.

На Литве

Оазис (стр. 375). Впервые — «Жажда», стр. 51. *Коран* — священная религиозная книга мусульман, сочинение которой приписывается пророку Магомету. *Феб* (греч. миф.) — бог солнца и света Аполлон; здесь — солнце. *Наяда* (греч. миф.) — божество вод; согласно мифологии, наяды обитали в реках и ручьях. *Сага* — повествовательный жанр вроде рассказа или повести, часто включающий стихотворный текст, в древнескандинавском и древнеирландском фольклоре. *Шербет* — сладкий восточный напиток или лакомство из сахара и орехов. *Буттер* — масло. *Бальмонт* — см. стр. 546. *Глазенапы* — глаза. *Старик Руссо был прав* и т. д. Имеется в виду идеализация простой, «естественной» жизни, которую проповедовал Ж.-Ж. Руссо (см. стр. 555). *Земля! Да здравствует земля!* — восклицание матроса на корабле Колумба, первым увидевшего берег. *Серсо* — обруч, который играющие в серсо перекидывают на палочках. *Визави* — здесь сосед. *Тамара* (1184—1213) — царица Грузии. *Чингисхан* (ок. 1155—1227) — монгольский полководец, основатель громадной империи. *Нирвана* — см. стр. 572. *«Нива»* — см. стр. 556. *Морфей* (греч. миф.) — бог сновидений. *Торквато Тассо* (1544—1595) — итальянский поэт.

Яблоки (стр. 380). Впервые — «Зеленая палочка», 1921, № 1, стр. 5.

«На миг забыть — и вновь ты дома...» (стр. 380). Впервые — «Воля России», 1922, № 6, стр. 14, под заглавием: «В пути». Датируется по времени пребывания А. Черного в Литве: 1920 г.

Подарок (стр. 382). Впервые — «Воля России», 1922, № 6, стр. 17. Печ. по сб. «Жажда», стр. 78. О мотивах датировки см. примечание к предыдущему стихотворению.

Аисты (стр. 382). Впервые — «Воля России», 1922, № 6, стр. 17.

Могила в саду (стр. 383). Впервые — «Жажда», стр. 82. О мотивах датировки см. выше примечание к стихотворению «На миг забыть — и вновь ты дома...»

Чужое солнце

Стихотворения цикла «Чужое солнце» были написаны в Германии в 1921—1923 гг.

Из цикла «С приятелем» (стр. 385). Впервые — «Жажда», стр. 85. *Кузнец Вакула* — герой повести Гоголя «Ночь перед рождеством».

Солнце («На грязь вдоль панели...») (стр. 387). Впервые — «Сегодня», 1923, № 69. Печ. по сб. «Жажда», стр. 91

«На берлинском балконе...» (стр. 388). Впервые — альм. «Грани», вып. 2. Берлин, 1923, стр. 123. *Вишневый сегодняшний сад* — намек на пьесу А. П. Чехова «Вишневый сад».

Весна в Шарлоттенбурге (стр. 389). Впервые — «Сполохи», 1921, № 1, стр. 5. Печ. по сб. «Жажда», стр. 120. *Шарлоттенбург* — район Берлина.

«Когда, как бес...» (стр. 390). Впервые — альм. «Грани», вып. 2. Берлин, 1923, стр. 118.

Мираж (стр. 391). Впервые — альм. «Грани», вып. 2. Берлин, 1923, стр. 121. *«Немо»* — имя капитана подводной лодки «Наутилус» из романа Жюля Верна «80 000 км. под водой».

«Грубый грохот Северного моря...» (стр. 392). Впервые — «Сегодня», 1922, № 197. *Kölpinsee* — Kölpiner see, озеро в немецкой провинции Мекленбург.

«Здравствуй, Муза! Хочешь финик?..» (стр. 392). Впервые — «Жажда», стр. 126. *Марсала* — марка вина.

Мандола (стр. 393). Впервые — «Жажда», стр. 127. *Баркарола* — песня венецианских лодочников. *«Из-под дуба, из-под вяза»* и т. д. — русская народная песня.

«Тех, кто страдает гордо и угрюмо...» (стр. 394). Впервые — «Жажда», стр. 128.

Русская Помпея

«Прокуроров было слишком много...» (стр. 396). Впервые — «Жажда», стр. 131.

Игрушки (стр. 396). Впервые — «Жажда», стр. 132. *Тучков мост* — см. стр. 563. *Офорты* — оттиски с гравюр. *Леонардо* — Леонардо да Винчи. *«Из страны далекой»* — песня на слова Н. М. Языкова (1827); ее первая строка — «Из страны, страны далекой». *Валькирия* — см. стр. 571.

Невский (стр. 399). Впервые — «Сегодня», 1922, № 256. *Жуковский... на узком постаменте.* В Александровском саду установлены памятники поэту В. А. Жуковскому и путешественнику *Н. М. Пржевальскому;* под бюстом Пржевальского — бронзовый верблюд. *«Александр»* — известный в свое время магазин модных вещей. *Веселый рев полдневной пушки* — традиционный выстрел пушки из Петропавловской крепости в Петербурге-Ленинграде, раздающийся ежедневно в полдень. *Всё те же кони и атлеты* — четыре скульптурные группы работы П. К. Клодта, украшающие Аничков мост через р. Фонтанку.

Весна на Крестовском (стр. 401). Впервые — «Жар-птица», 1921, № 2, стр. 18. *Крестовский* — остров в Петербурге-Ленинграде; Саша Черный жил там. *Крестовка* — приток Малой

Невки. *Стрелка* — выдающаяся в Финский залив часть Елагина острова, традиционное место гулянья светской публики в дореволюционном Петербурге.

Гостиный двор (стр. 402). Впервые — «Жажда», стр. 146.

Пруд (стр. 403). Впервые — «Зеленая палочка», 1921, № 1, стр. 5.

Зима (стр. 403). Впервые — «Жажда», стр. 161. *Нирвана* — см. стр. 572.

Бал в женской гимназии (стр. 406). Впервые — «Жар-птица», 1922, № 6, стр. 33. *Иконостас* — здесь украшенная орденами грудь. *Монблан* — самая высокая вершина в Альпах. *Усмешкой Заратустры.* Здесь Саша Черный мимоходом намекает на характерную черту философских взглядов Ф. Ницше (см. стр. 564), изложенных в его книге «Так говорил Заратустра», — презрение к народным массам и культ сильной, независимой личности. *Падишах* — титул монархов в некоторых восточных странах. *«Классик»* — ученик классической гимназии; в классических гимназиях большое внимание уделялось преподаванию древних мертвых языков (греческого и латинского). *Дант* — Данте. *Пепиньерка* — девушка, оставленная после окончания женского института для педагогической практики.

Пожарный (стр. 410). Впервые — сб. «Радуга». Берлин, 1922, стр. 360. Печ. по этому тексту.

Репетитор (стр. 412). Впервые — «Жажда», стр. 117.

О чем поет самовар (стр. 413). Впервые — «Зеленая палочка», 1920, № 2, стр. 8.

Змей (стр. 414). Впервые — «Жажда», стр. 180.

«Ах, зачем нет Чехова на свете!..» (стр. 415). Впервые — «Сегодня», 1922, № 233. *Осаждало в Ялте милый дом.* С 1898 г. А. П. Чехов по состоянию здоровья жил на окраине Ялты.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1905—1913 гг., НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ САТИР И ЛИРИКИ

В настоящем разделе помещены избранные стихотворения из первого сборника стихотворений Саши Черного «Разные мотивы» (СПб., 1906), а также из числа опубликованных в различных периодических изданиях 1905—1913 гг., но не вошедших в книги сатир и лирики.

«От русского флота остались одни адмиралы...» (стр. 419). Впервые — «Разные мотивы», стр. 6. Знаменательна дата создания стихотворения: 8 декабря — день, когда

всеобщая политическая стачка переросла в вооруженное восстание. *Флот старый потоплен, а новый ушел по карманам.* Во время русско-японской войны в сражениях при Порт-Артуре и под Цусимой погиб почти весь русский флот. Идея создания нового флота сорвалась из-за хищений и спекулятивных махинаций в Военном министерстве. *Чухнин* Григорий Павлович (1848—1906) — вице-адмирал, с 1904 г. — командующий Черноморским флотом; во время революционных волнений во флоте осенью 1905 г. руководил активными карательными действиями против восставших потемкинцев и очаковцев. *Бирилев* Алексей Алексеевич (род. 1884) — в период русско-японской войны морской министр царского правительства. *Дубасов* Федор Васильевич (1845—1912) — адмирал, генерал-адъютант, в 1905 г. — московский генерал-губернатор, жестоко подавивший декабрьское вооруженное восстание. *Димитрием Ложным из пушки палила.* Труп Лжедимитрия I был сожжен, а пепел праха рассеян по ветру пушечным выстрелом. *Сергей, миротворец Портсмутский* — С. Ю. Витте (см. стр. 558); участвовал в переговорах с Японией в Портсмуте о заключении мирного договора.

Чепуха («Трепов — мягче сатаны...») (стр. 420). Впервые — «Зритель», 1905, № 23, стр. 7. Первое из опубликованных произведений А. М. Гликберга, подписанное псевдонимом Саша Черный. См. вступ. статью, стр. 26. *Трепов* Дмитрий Федорович (1855—1906) — петербургский генерал-губернатор, в годы первой революции фактически был военным диктатором России, облеченным неограниченной властью. *Дурново* Петр Николаевич (1844—1915) — министр внутренних дел, крайний реакционер. *Нейдгарт* Алексей Борисович (1863—?) — одесский градоначальник, расправлявшийся с революционерами в 1905 г. *Курлов* Павел Григорьевич (1860—1923) — минский губернатор, один из активных душителей революции 1905 г.; в 1910 г. был назначен товарищем министра внутренних дел и начальником корпуса жандармов. *Алексеев* Евгений Иванович (1843—1909) — адмирал; в 1903—1904 гг. — наместник царя на Дальнем Востоке. *Крушеван* Павел Александрович (1860—1909) — журналист, организатор антисемитской бессарабской черной сотни; открыто призывал к еврейским погромам, даже с трибуны I Государственной думы. *Линевич* Николай Петрович (1838—1908) — генерал, бездарно командовавший войсками во время русско-японской войны. *Витте* — см. стр. 558. *Разорвался апельсин* — см. вступ. статью, стр. 26—27. *Из Маньчжурии калек и т. д.* — имеются в виду инвалиды русско-японской войны. *Фролов* — корнет Семеновского полка; участвуя в разгоне митинга около Технологического института 17 октября 1905 г., он тяжело ранил палашом в голову доцента Петербургского университета Е. В. Тарле. *Хомутов* — казанский губернатор. *Безобразов* Александр Михайлович (род. 1855) — член Особого комитета по делам Дальнего Востока; темный делец, в 1896—1904 гг. был проводником авантюристической политики царизма, приведшей к войне. Благодаря биржевым махинациям приобрел большое состояние. *Стессель* Анатолий Михайлович (1848—1915) — генерал-лейтенант, во время русско-японской войны — начальник Квантунского укрепленного района; безответственность и трусость Стесселя

привели к капитуляции; за сдачу Порт-Артура был судим. *Иоанн Кронштадтский* (Иван Ильич Сергиев) (1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, черносотенный церковный деятель, прослывший «чудотворцем» и «святым»; его почитатели образовали секту «иоаннитов». *Суворин* — см. стр. 552. *«Начало»* — журнал, издававшийся с 1899 г. группой «легальных» марксистов. *Серафим* (1760—1833) — известный своей «святостью» монах Саровской пустыни (см. вступ. статью, стр. 27). *Появились дети* — см. вступ. статью, стр. 27. *Папа* — Николай II. *В ложе у Неметти* — в петербургском театре Неметти. *Синод* — высшее церковное учреждение в России. *Святцы* — см. стр. 565. *Витте-граф пошел в народ.* Имеется в виду телеграмма, которую Витте разослал всем управляющим фабрик и заводов. Обращаясь к рабочим с призывом прекратить восстание и встать на работу, Витте начинал свое послание словами: «Братцы рабочие!», за что был жестоко осмеян в пролетарских органах печати. *Высшей милостью труха хочет общей драки.* Намек на империалистическую политику царского правительства.

«Пусть злое насилье царит над землей...» (стр. 423). Впервые — «Журнал», 1905, пробный номер, стр. 3, под заглавием «Песня на улицах», с подписью: А. Гликберг. Печ. по сб. «Разные мотивы», стр. 5, где текст дополнен третьей строфой, а последняя строка исправлена. Пробный номер «Журнала» («Великая Москва») посвящен декабрьским событиям 1905 г. в Москве. Стихотворение было помещено под рисунком, изображающим убитого дружинника, и звучало действительно как «песня на улице», гимн восставших. Оно, как и стихотворение «1906», явилось одной из причин ареста книги А. М. Гликберга «Разные мотивы». В докладе цензора было особенно отмечено, что в стихотворениях «1906» (3—4 стр.) и «Пусть злое насилье...» (стр. 5) автор призывает читателя к победной борьбе за «братство, равенство, свободу» и на бой «с злым насилием» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 11, ед. хр. 141).

Новогодние предсказания (стр. 424). Впервые — «Журнал», 1906, № 1, стр. 3. *Флигель-адъютант* — придворное военное звание. *Будешь графом и премьером* — намек на С. Ю. Витте (см. стр. 558 и примечание к стихотворению «Чепуха», стр. 581). *Пажеский* — см. стр. 548. *Если ты рожден дурашкой* — очевидно, намек на Николая II, на шаткость его политики в 1905—1906 гг. *Меньшиков* — см. стр. 552. *Остальных, коль не убьют, в Думу членами пошлют.* I Государственная дума открылась 27 апреля 1906 г.

К празднику (стр. 425). Впервые — «Журнал», 1906, № 1, стр. 7. Написано по поводу крупного скандала, вспыхнувшего в конце 1905 г., когда орловский предводитель дворянства А. Стахович вскрыл грязную спекуляцию министра внутренних дел П. Н. Дурново казенным овсом.

Сон (стр. 425). Впервые — сб. «Вольница». СПб., 1906, вып. 1, стр. 71. По постановлению петербургского Комитета по делам пе-

чати на № 1 сб. «Вольница» был наложен арест, после чего он был уничтожен (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 7, № 396). В стихотворении сопоставляется внутренняя политика реакционера В. К. Плеве, бывшего министром внутренних дел с 1902 г. и убитого осенью 1904 г., и нового премьер-министра — графа С. Ю. Витте, занявшего этот пост после царского манифеста 17 октября и назначенного царем для расправы с революционным движением 1905 г. *Портсмутский граф* — С. Ю. Витте. *Жан Кронштадтский* — Иоанн Кронштадтский (см. стр. 582).

Жалобы обывателя (стр. 427). Впервые — «Леший», 1906, № 3, стр. 9.

До реакции (стр. 428). Впервые — «Маски», 1906, № 3, стр. 9. Перепев стихотворения Козьмы Пруткова «Юнкер Шмидт».

Словесность (стр. 428). Впервые — «Молот», 1906, № 2, стр. 7. Резкая критика армейских порядков, содержащаяся в этом стихотворении, в значительной степени послужила основанием для конфискации журнала «Молот» и ареста его редактора К. И. Диксона. Позднее, в 1908 г., рассматривая в петербургском Комитете по делам печати сб. А. М. Гликберга «Разные мотивы», автора обвинили в том, что он «в стихотворениях, описывающих военный быт и „военные круги“, употребляет оскорбительные для армии выражения».

Балбес (стр. 429). Впервые — «Альманах», 1906, № 1, стр. 50. В цензурном комитете это стихотворение охарактеризовали как «жестокое оскорбление мундира» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 9, ед. хр. 45).

«Слишком много разговоров...» (стр. 430). Впервые — сб. «Вольница». СПб., 1906, вып. 2, стр. 43. Второй сб. «Вольница», как и первый, был арестован петербургским Комитетом по делам печати. В докладе цензора о нем говорилось следующее: «Подбор статей и стихотворений, помещенных в настоящем сборнике, характеризуя саму книгу, в то же время с несомненностью свидетельствует о намерении составителей вызвать в читателе революционное настроение и оскорбить русскую верховную власть и русскую армию и призвать к ниспровержению существующего государственного строя» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 16, № 364).

Чепуха («От российской чепухи...») (стр. 431). Впервые — «Маски», 1906, № 1, стр. 8. *Скалон* — варшавский генерал-губернатор, жестоко подавивший восстание в Варшаве в 1905 г. *Граф портсмутский награжден Званием лакейским.* В 1906 г. за заключение Портсмутского договора и договора с Францией о миллионном займе С. Ю. Витте получил графский титул. *Дали франкам мы в заем* и т. д. После первой русской революции усилилась финансовая зависимость России от Франции. Французское золото было использовано для подавления революции. Саша Черный «перевернул факты», как и положено в «Чепухе». *Предваритель,*

ный дом — тюрьма, «дом предварительного заключения». *Бросили мамашу*. Мамаша — очевидно, мать Николая II, Мария Федоровна. *«Молва»* — правительственная информационная газета. *«Зритель»* — сатирический журнал, выходивший с 1905 г. в Петербурге (см. вступ. статью, стр. 26—27). *Менелик II* (1844—1913) — негус (император) Эфиопии. *Сиятельный сифон* — вероятно, С. Ю. Витте.

Две думы (стр. 433). Впервые — «Маски», 1906, № 2, стр. 7. Написано по поводу открытия в Петербурге 27 апреля 1906 г. I Государственной думы. *Две думы* — «булыгинская» дума, указ о которой был издан в августе 1905 г., но которая так и не была созвана, и I Государственная дума. I Дума была реакционной по своему составу: большевиков в Думе не было в связи с тактикой активного бойкота, а рабочие и крестьяне составляли незначительное меньшинство. *Черная сотня* — см. стр. 547. *Резолюцию выносят* и т. д. Съезд промышленников и торговцев, июльский земско-городской съезд и др. вынесли резолюцию о созыве законодательной, а не законосовещательной (как было намечено царем) Думы. *Фараон* — здесь кличка полицейского. *Шлиссельбург для радикалов* и т. д. Перед самыми выборами 20 февраля 1906 г. был опубликован «высочайший манифест», сильно урезавший права Думы. Вслед за опубликованием манифеста всем земским начальникам была разослана секретная инструкция, предписывающая начать борьбу со свободой выборов. Результатом ее были многочисленные аресты и высылки рабочих, интеллигентов и крестьян, могущих быть кандидатами в уполномоченные. Шлиссельбург — тюрьма для политических заключенных. *Генерала ль погребенье, ведьму ль замуж отдают*. Перепев строк из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы». *Народный дом* — см. стр. 567.

Кому живется весело? (стр. 435). Впервые — «Альманах», 1906, № 1, стр. 42. Использованы мотивы некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо». *Меньшиков* — см. стр. 552. *Отшельник Кронштадтский* — см. стр. 582. *Суворин* — см. стр. 552. *Премьер — граф новый* — С. Ю. Витте (см. стр. 558).

Пастырь добрый (стр. 436). Впервые — «Леший», 1906, № 4, стр. 10. По сведениям В. Ф. Боцяновского, № 4 журнала «Леший» отбирался у газетчиков полицией («Русская сатира первой революции». Л., 1925). В образе «пастыря доброго» Саша Черный разоблачил реакционнейшего представителя русского духовенства архиепископа Антония Волынского. В апреле 1906 г., в разгар жестокой расправы с участниками революции, в русском обществе со всех сторон раздавались требования амнистии. Против в Государственном совете выступил лишь митрополит Антоний. По воспоминаниям современников, в своей речи Антоний «требование амнистии назвал сентиментом, могущим быть косвенной обидой любвеобильному сердцу монарха» («Вестник знания», 1906, № 3, стр. 105). *Виссон* — дорогая материя, из которой высшее духовенство шило рясы. *Мироносицы* — здесь поклонницы религиозного руководителя. *Ренан* Эрнест (1823—1892) — французский буржуазный

историк религии и философ. *Осанна* — молитвенный возглас. *Из самаринского стана.* Самарин А. Д. (род. 1869) — крупный помещик; в 1908—1915 гг. московский губернский предводитель дворянства, затем обер-прокурор Синода.

О, tempora... (стр. 437). Впервые — «Зритель», 1908, № 1, стр. 10. Стихотворение направлено против партии октябристов, ставших после 1905 г. столь же открыто реакционными, как и крайне правые. *«O, tempora!»* — начало знаменитого восклицания Цицерона в его речи против Катилины. *Мезальянс* — неравный брак. *Гучков* — см. стр. 547.

Безвременье (стр. 438). Впервые — «Зритель», 1908, № 2, стр. 5. *Северная Пальмира* — Петербург. *Буренин* Виктор Петрович (1841—1926) — продажный реакционный публицист, поэт и драматург. *«Новое время»* — см. стр. 552. *Меньшиков* — см. стр. 552. *Столыпин А. А.* — журналист-публицист, постоянный сотрудник «Нового времени», брат премьер-министра П. А. Столыпина. *Пуришкевич* Владимир Митрофанович (1870—1920) — богатый бессарабский помещик, бывший сотрудником министерства внутренних дел, активный представитель крайних правых в черносотенной III Думе. *Дорошевич* Влас Михайлович (1864—1922) — фельетонист, писатель и критик. *«Сахалин»* — книга В. М. Дорошевича, 2-й том которой назывался «Преступники».

«Четыре нравственных урода...» (стр. 439). Впервые — «Зритель», 1908, № 5, стр. 4, подпись: Г. *«Союз русского народа»* — бандитская черносотенная организация, созданная в октябре 1905 г. для борьбы с революцией.

Устарелый (стр. 440). Впервые — С, 1908, № 3, стр. 9, с подписью: С. Ч. В стихотворении названы писатели, произведения которых зачастую носили откровенно порнографический характер. *Кузмин* — см. стр. 554. *Каменский* Анатолий Павлович (род. 1877) — автор нашумевшей повести «Леда». *Арцыбашев* Михаил Петрович (1878—1927) — автор порнографического романа «Санин».

«Пьяный» вопрос (стр. 440). Впервые — «Зритель», 1908, № 5, стр. 4. В течение 1908—1910 гг. в Думе обсуждался вопрос о вреде пьянства (см. «Журналы Государственной думы», № 30, XIII и 31, XX). См. вступ. статью, стр. 33. *Сам префект винокурений* — по-видимому, глава комиссии «О мерах борьбы с пьянством», епископ Митрофан.

«Толчками турецкой военщины...» (стр. 442). Впервые — С, 1908, № 18, стр. 2. В стихотворении имеется в виду «младотурецкая» революция 1908 г., положившая начало буржуазному строю в Турции. Переворот был произведен чрезвычайно быстро: 3 июля в крепости Ресна произошло восстание гарнизона, организованное офицерами-младотурками, а 24 июля султан уже был вынужден принять конституцию. *Гучков* — см. стр. 547. *Кру-*

пенский Павел Николаевич (1863—?) один из видных черносотенцев, грубые выходки которого в Государственной думе приводили к многочисленным скандалам. *Марков* — см. стр. 553. *Володя* — очевидно, имеется в виду Пуришкевич, см. стр. 585.

«Не думайте, что Босния...» (стр. 443). Впервые — С, 1908, № 26, стр. 2. Написано по поводу «Боснийского кризиса» 1908 г., когда Австро-Венгрия, по предварительному сговору с Германией, незаконно аннексировала населенные сербами провинции Боснию и Герцеговину. *Франц-Иосиф* (1830—1916) — австрийский император.

Герой нашего времени (стр. 443). Впервые — С, 1909, № 8, стр. 2. *Азеф* Евно Фишелевич (1870—1918) — один из лидеров партии эсеров; в 1908 г. был разоблачен как крупнейший провокатор: являясь руководителем террористической организации эсеров, он был одновременно агентом царской охранки и выдал полиции многих революционеров. *Буренин* — см. стр. 585. *Суворин* — см. стр. 552. *Меньшиков* — см. стр. 552. *Пуришкевич* — см. стр. 585. *Дубровин* Александр Иванович (1855—1918) — один из организаторов и руководителей черносотенного «Союза русского народа». *Передонов* — герой романа Ф. К. Сологуба «Мелкий бес», тупоумный обыватель, пошляк и доносчик. *Нат Пинкертон* — нью-йоркский сыщик, главное действующее лицо целой серии примитивных детективных рассказов, получивших широкое распространение в дореволюционной России в годы реакции после 1905 года.

Странный обычай (стр. 444). Впервые — «Новый день», 1909, № 15. *Бросали под доски захваченных русских.* Имеется в виду казнь, которая применялась в эпоху монгольского ига. Стихотворение направлено против жестоких преследований, которым подвергалась передовая русская печать в годы столыпинской реакции.

Развязное поздравление с Новым годом (стр. 445). Впервые — С, 1910, № 1, стр. 5, за подписью: Иван Чижик. *Теплой веры в миф бараний Политической весны.* Саша Черный высмеивает многочисленные хвастливые заявления кадетов и октябристов о том, что столыпинская политика и деятельность Думы знаменуют расцвет политической жизни и улучшение народного благосостояния.

Книги (стр. 445). Впервые — С, 1910, № 23, стр. 3. *Антропофаги* — людоеды. *Митрофан* — персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», невежда и глупец. *Рукавишников* Иван Сергеевич (1877—1930) — плодовитый и сумбурный поэт и прозаик, символист; книги его выходили под нумерацией: «Книга первая», «Книга вторая» и т. д.

Размышление современного интеллигента (стр. 446). Впервые — С, 1911, № 5, стр. 7, с подписью: Лирический бродяга. *Канкан* — см. стр. 552. *Кража Джиоконды.* 21 августа

1911 г. из Луврского музея в Париже была похищена знаменитая картина Леонардо да Винчи «Монна Лиза» (Джиоконда). Обнаружена она была лишь через два года (в декабре 1913 г.) во Флоренции. *Марьяжиться* — здесь заигрывать. *«Казенка»* — водка, на этикетках которой была надпись «казенное вино» и изображение царского герба.

Мороз (стр. 448). Впервые — «Одесские новости», 1911, № 8605.

«Эпохе черной нашей нужен...» (стр. 449). Впервые — «Киевская мысль», 1912, № 39. *Словарь Венгерова* — многотомный «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» С. А. Венгерова.

На Елагином (стр. 450). Впервые — «Киевская мысль», 1912, № 97. *Елагин остров* — район в Петербурге-Ленинграде, на котором расположен парк. *Стрелка* — см. стр. 579.

Дежурное блюдо (стр. 450). Впервые — «Современник», 1913, № 1, стр. 327. Повод для написания стихотворения — увеличившееся в 1913 г. число самоубийств в русском обществе (по сравнению с 1904 г. число самоубийств возросло в 6—7 раз). Из этого глубоко трагичного факта бульварная печать сделала очередное «дежурное блюдо». *Далай-лама* — глава духовной и светской власти в Тибете.

Новый «изм» (стр. 452). Впервые — «Современник», 1913, № 1, стр. 328. *Этна* — действующий вулкан на острове Сицилия. *Герострат* (IV в. до н. э.) — честолюбец, поджегший храм Артемиды в Эфесе, чтобы стать знаменитым. *Тициан* Вечеллио (1477—1576) — итальянский живописец. *Врубель* Михаил Андреевич (1856—1910) — художник, подвергавшийся нападкам художников-консерваторов.

Воробьиная элегия (стр. 453). Впервые — «Современник», 1913, № 4, стр. 313. *Метрика* — выписка из метрической книги, удостоверяющая факт рождения. *Не сравняли бы вас с хулиганами* — см. ниже примечание к стихотворению «Приказ».

Правила для родителей (стр. 454). Впервые — «Русская молва», 1913, № 139.

Приказ (стр. 455). Впервые — «Русская молва», 1913, № 185. Летом 1913 г. для борьбы с возросшим стачечным движением царское правительство разработало проект нового, еще более сурового, уголовного законодательства против участников политических союзов и забастовок. *«Синие»* — имеются в виду издания бульварного пошиба, вроде «Синего журнала». *Одры* — см. стр. 560.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1926—1932 гг.

Пасха в Гатчине (стр. 459). Впервые — «Перезвоны». Рига, 1926, № 19, стр. 5. А. И. Куприна и Сашу Черного связывала многолетняя дружба, особенно упрочившаяся после переезда Черного в Париж, в 1925 г. По свидетельству дочери Куприна, Саша Черный был постоянным гостем в их доме. О своих неоднократных посещениях гатчинской дачи Куприна Саша Черный не раз писал друзьям. См., например, в письме к К. Р. Миллю от 17 апреля 1911 г.: «Как-то ездил к Куприну в Гатчино... провел целый день и было прекрасно» (ПД, архив Милля К. Р.). *Гатчина* — город неподалеку от Петербурга. *Сарабанда* — испанский танец.

Мистраль (стр. 461). Впервые — «Последние новости», 1927, № 2391. *Мистраль* — северо-западный ветер, дующий на юге Франции. *Дриады* (греч. миф.) — лесные божества. *Лаванда* — пахучее растение с темно-синими цветами. *Ла-Фавьер* — местечко в Провансе, на юге Франции.

Мой роман (стр. 463). Впервые — «Последние новости», 1927, № 2447. *Консьержка* — привратница, швейцар. *Короленко* Владимир Галактионович (1853—1921) — писатель и общественный деятель демократического лагеря. *Фуга* — род музыкального произведения.

Из римской тетради (стр. 464). Впервые — «Последние новости», 1928, № 2498. См. вступ. статью, стр. 58. *По форуму Траяна гуляют вяло кошки.* Форум Траяна — площадь в Риме, сооруженная императором Траяном (98—117). Здесь возвышается огромная мраморная колонна, воздвигнутая Траяном, на вершине которой изображение апостола Петра (при Траяне она была увенчана фигурой орла). На форум Траяна, сохранившийся до наших дней, жители Рима сбрасывали беспризорных или надоевших кошек, живших там целой «колонией». Использовав этот факт, Саша Черный в 1925 г. написал рассказ для детей «Кошачья санатория», опубликованный в №№ 5 и 6 журнала «Перезвоны» (вышел отдельным изданием в 1928 г. в Париже). *Колизей* — остатки древнего огромного амфитеатра; предназначался для боев гладиаторов и цирковых зрелищ.

Городок (стр. 466). Впервые — «Последние новости», 1928, № 2690. *Менестрель* — см. стр. 574. *Дервиш* — нищенствующий мусульманский монах. *Бистро* — небольшое кафе, закусочная.

В Марселе (стр. 467). Впервые — «Последние новости», 1928, № 2734.

Солнце («Угрюмый делец почтенных лет...») (стр. 468). Впервые — «Последние новости», 1928, № 2594.

Из летней тетради (стр. 469). Впервые — «Последние новости», 1928, № 2683. Написано в Провансе, где с 1928 г. Саша Черный проводил каждое лето. *Гафиз* (1300—1389) — персидский поэт.

На току (стр. 471). Впервые — «Последние новости», 1928, № 2742. Одно из стихотворений цикла «Русский Прованс». *Левитановский месяц.* Левитан Исаак Ильич (1861—1900) — художник-пейзажист. *Пюжет* — городок в южной Франции.

Ошибка (стр. 472). Впервые — «Последние новости», 1929, № 2929. *Булонский лес* — парк в Париже. *Кринолин* — широкая юбка.

Черника (стр. 474). Впервые — «Последние новости», 1929, № 2978.

Городские чудеса (стр. 475). Впервые — «Последние новости», 1929, № 2947.

В Булонском лесу (стр. 477). Впервые — «Последние новости», 1930, № 3327. *Булонский лес* — см. выше.

На крыльце (стр. 478). Впервые — «Последние новости», 1930, № 3346.

Собачий парикмахер (стр. 479). Впервые — «Последние новости», 1930, № 3374. *«Старосветские помещики»* — повесть Н. В. Гоголя.

Парижские будни (стр. 481). Впервые — «Последние новости», 1930, № 3510.

У Сены (стр. 483). Впервые — «Последние новости», 1930, № 3542.

Ночные ламентации (стр. 484). Впервые — «Последние новости», 1931, № 3571. *Ламентации* — см. стр. 545.

Любовь (стр. 485). Впервые — «Последние новости», 1932, № 4031.

В угловом бистро (стр. 486). Впервые — «Последние новости», 1932, № 4070. *Бистро* — см. стр. 588.

Меланхолическое (стр. 487). Впервые — «Последние новости», 1932, № 4091. *Цирцея* — волшебница необыкновенной красоты в «Одиссее» Гомера. *Тем житомирским балбесом.* Юность Саши Черного прошла в Житомире (см. вступ. статью, стр. 23). *Сантим* — французская мелкая монета.

Пластика (стр. 489). Впервые — «Последние новости», 1932, № 4126.

С холма (стр. 490). Впервые — «Последние новости», 1932, № 4154. Последнее произведение Саши Черного, помещенное вме-

сте с известием о его смерти. *Я принес большую доску* и т. д. В статье «Похороны А. М. Черного» А. Ладинский вспоминал: «Еще вчера он хлопотал по хозяйству, суетился около своего домика на горке, где он посадил десяток маленьких деревьев и сделал две скамейки» («Последние новости», 1932, № 4157).

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Из книги «Детский остров»

Детям (стр. 495). Впервые — ДО, стр. 3.

ИЗ ЦИКЛА «ВЕСЕЛЫЕ ГЛАЗКИ»

Приготовишка (стр. 496). Впервые — ДО, стр. 12.

Костер (стр. 497). Впервые — «Киевская мысль», 1911, № 238. Печ. по сб. «Сатиры и лирика», где включено в цикл «Иные струны».

Трубочист (стр. 498). Впервые — ДО, стр. 16.

Поезд (стр. 499). Впервые — сб. «Жар-птица». СПб., 1912, стр. 40. Печ. по ДО, стр. 20.

Про Катюшу (стр. 500). Впервые — ДО, стр. 22.

На вербе (стр. 502). Впервые — Саша Черный. «Тук-тук!», М., 1913, стр. 10. С разночтениями опубликовано в детском сб. «Радуга». Берлин, 1922, стр. 80. Печ. по ДО, стр. 25. Приводим целиком редакцию сб. «Тук-тук!»:

В небе солнышко сверкает.
Небо словно василек,
Сквозь березки продувает
Первый теплый ветерок.

А внизу всё будки, будки
И людей, как летом мух!
Каждый всунул в рот по дудке
И пищит во весь свой дух...

В будках клоуны и санки,
Куклы, чижики, цветы...
Золотые рыбки в банке
Раскрывают важно рты.

Мотыльки и обезьянки
Приседают на щитках.
«Мериканский» житель в склянке
Утром ходит на руках!

Вот она какая верба!
А для маленьких ребят —
На прилавочке у серба
Вафли сладкие лежат.

Летом (стр. 503). Впервые — «Современник», 1912, № 12, стр. 66. Печ. по ДО, стр. 29, где текст был существенно изменен; стихи 13—20 в журнальном тексте:

Дружно выплыли утята.
Впереди толстуха-мать.
Облака плывут куда-то,
Пахнет мятой. Благодать!

Вот и берег... Сухо в глотке,
В теле жаркий сонный зуд.
Эх, разденусь в старой лодке,
Руки вытяну — и в пруд!

В рукописном отделе ГПБ хранится чистовой автограф этого стихотворения, предназначенный, по-видимому, для журнала «Колос ржи». В письме к П. И. Карпову Саша Черный писал: «Получите, Пимен Иванович, стихотворение. Больше не написалось. Желаю всякого успеха и Вам, и «Колосу ржи» — и благодарю Вас, что Вы не забыли меня, когда собирали материал. И еще желаю, чтобы не было опечаток — по крайней мере в стихах» (ГПБ. Собр. П. Л. Вакселя).

Цирк (стр. 503). Впервые — «Для детей», 1917, № 9, стр. 5. Печ. по ДО, стр. 33. В первопечатном тексте стихи 4—6:

По Катиной программе.
Бум-бум! С девчонок семь рублей,
С мальчишек — по копейке!

Стихи 33—40:

А это мальчик — длинный Флит,
Моряк-чревовещатель,
Он тоже страшно знаменит
И мой большой приятель.
   Сейчас он будет говорить
   С тарелочкою белой:
   Прошу вас Флита не смешить,
   А то — пропало дело!

См. вступ. статью, стр. 17.

Про девочку, которая нашла своего Мишку (стр. 505). Впервые — «Для детей», 1917, № 1, стр. 3.

Плакса (стр. 506). Впервые — ДО, стр. 43.

Имя (стр. 507). Впервые — ДО, стр. 46.

Приставалка (стр. 507). Впервые — сб. «Жар-птица», кн. 1, 1912, стр. 13, с авторским примечанием к последним стро-

кам: «Или: Оттого, что у тебя, дочка, Рот без замочка». Печ. по ДО, стр. 50.

На коньках (стр. 508). Впервые — Саша Черный. Тук-тук! М., 1913, стр. 7. Печ. по тексту ДО, стр. 52. В первопечатном тексте стихи 1—2: «Я катаюсь на коньках, Разгорелись ушки»; ст. 9: «Ветер дует в глазки»; ст. 11: «Обгоняй салазки!».

Перед сном (стр. 508). Впервые — ДО, стр. 53.

В огороде (стр. 509). Впервые — ДО, стр. 55.

ИЗ ЦИКЛА «ЗВЕРЮШКИ»

Хрюшка (стр. 510). Впервые — ДО, стр. 65.

Галчата (стр. 511). Впервые — ДО, стр. 73, без заглавия. Печ. по сб. «Радуга». Берлин, 1922, стр. 53.

Как кот сметану поел (стр. 511). Впервые — Саша Черный. Тук-тук! М., 1913, стр. 22. Печ. по ДО, стр. 77. Сюжет стихотворения ранее был разработан Сашей Черным в сказке «Красный камешек» («Голубая книжка». СПб., 1912).

Что кому нравится (стр. 512). Впервые — ДО, стр. 79.

Слон (стр. 513). Впервые — ДО, стр. 84.

Два утенка (стр. 513). Впервые — ДО, стр. 86.

Воробей (стр. 514). Впервые — ДО, стр. 87.

Про кота (стр. 515). Впервые — Саша Черный. Тук-тук! М., 1913, стр. 4. Печ. по ДО, стр. 89.

Уговор (стр. 516). Впервые — ДО, стр. 92.

Индюк (стр. 517). Впервые — ДО, стр. 97, под заглавием «Индюк важничает». Под заглавием «Индюк» — альм. «Радуга». Берлин, 1922. Печ. по этому тексту.

Жеребенок (стр. 517). Впервые — ДО, стр. 100.

Мартышка (стр. 518). Впервые — ДО, стр. 101.

Попка (стр. 519). Впервые — ДО, стр. 104.

Теленок сосет (стр. 520). Впервые — ДО, стр. 105.

Кто? (стр. 520). Впервые — ДО, стр. 107.

ИЗ ЦИКЛА «ПЕСЕНКИ»

Колыбельная (стр. 521). Впервые — ДО, стр. 121.

Карточный домик (стр. 522). Впервые — ДО, стр. 124.

Человечек в часах (стр. 523). Впервые — ДО, стр. 130.

Песня ветра (стр. 524). Впервые — ДО, стр. 141.

Когда никого нет дома (стр. 525). Впервые — ДО, стр. 143.

Зеленые стихи (стр. 526). Впервые — ДО, стр. 151.

Дети (стр. 526). Впервые — ДО, стр. 153, без заглавия.

Разные стихотворения

Гиена (стр. 528). Впервые — «Последние новости», 1928, № 2813.

Мальчик не спит (стр. 528). Впервые — «Последние новости», 1929, № 2999.

Больная кукла (стр. 530). Впервые — «Последние новости», 1930, № 3224.

Лавочка (стр. 530). Впервые — «Последние новости», 1930, № 3224.

Сирень (стр. 531). Впервые — «Последние новости», 1930, № 3350.

Палатка (стр. 532). Впервые — «Последние новости», 1930, № 3450. *Богомол* — жук.

Осленок (стр. 535). Впервые — «Последние новости», 1931, № 3808.

Волшебник (стр. 536). Впервые — «Последние новости», 1932, № 4026. *Стило* — вечное перо.

Фокс (стр. 537). Впервые — «Последние новости», 1932, № 4120. *Фокс* — фокс Микки, излюбленный «персонаж» произведений Саши Черного для детей (см. стихотворение «Щенок», рассказ «Фокс-воришка» и др.). В 1928 г. поэт написал о нем книгу «Дневник фокса Микки», вышедшую в Париже. Книга была переведена на французский язык (см. французский детский журнал «Les enfants de France», 1929, № 24).

КНИГИ САШИ ЧЕРНОГО

1. Разные мотивы. Электропечатня Я. Кровицкого. СПб., 1906 (под фамилией: А. М. Гликберг).
2. Сатиры. Изд. М. Г. Кронфельда. СПб., 1910.
3. Сатиры. 2-е изд. «Шиповник». СПб., <1911>.
4. Сатиры и лирика. Кн. 2. «Шиповник». СПб., 1913.
5. Сатиры. 3-е изд. Кн. 1—2 (в одном томе). «Шиповник». СПб., 1913.
6. Генрих Гейне. Книга песен. Избранные стихотворения под ред. Саши Черного. Учебное пособие по иностранной литературе. СПб., 1911.
7. Сафир Мориц-Готлиб. Избранные рассказы. Перевод под ред. Саши Черного. «Шиповник». СПб., <1912>.
8. Живая азбука. «Шиповник». СПб., <1913>.
9. Тук-тук! С рис. В. Фалилеева. М., <1913>.
10. Живая азбука. С рис. Фалилеева. «Шиповник». СПб., 1914.
11. Сатиры. Кн. 1. 4-е изд. «Шиповник». Пг., 1917.
12. Сатиры и лирика. Кн. 2. 3-е изд. «Шиповник». Пг., 1917.
13. Сатиры. Кн. 1. 5-е изд. «Шиповник». Пг., <1917>.
14. Детский остров. С рис. Б. Григорьева. «Слово». Данциг, 1921.
15. Тургенев И. С. Избранные произведения для детей. Под ред. Саши Черного. «Слово». Берлин, 1921.
16. Чехов А. П. Избранные произведения. Под ред. А. Черного. «Слово». Берлин, 1922.
17. Жуковский В. А. Избранные произведения. Редакция и вступ. статья Саши Черного. «Слово». Берлин, 1922.
18. Сатиры. Кн. 1. «Грани». Берлин, 1922.
19. Сатиры и лирика. Кн. 2. «Грани». Берлин, 1922.
20. «Радуга». Русские поэты для детей. Составил А. Черный. «Слово». Берлин, 1922.
21. Возвращение Робинзона. Пьеса для детей. «Грани». Берлин, 1922.
22. Вспомни (Стихи для детей). «Геликон». Берлин, 1922.
23. Живая азбука. «Огоньки». Берлин, 1922.

24. Жажда. Изд. автора. Берлин, 1923.
25. Волшебный соловей. Сказка Рихарда Демеля, перевод Саши Черного. «Волга». Берлин, 1923.
26. Гелокандр. Волшебная сказка В. Руланда. Перевод Саши Черного. «Волга». Берлин, 1923.
27. Маленький король. Сказка Г. Пеллара, текст Ф. Остини, перевод Саши Черного. «Волга». Берлин, 1923.
28. Приключения Боба. Книжка-картинка. Перевод с нем. Саши Черного. «Волга», Берлин, 1923.
29. Библейские сказки. «Грани». Берлин, 1923.
30. Первое знакомство. Изд. автора. Берлин, 1923.
31. Сон профессора Патрашкина. Стихи. Изд. Ладыжникова. Берлин, 1924.
32. Первое знакомство. «Орион». Берлин, 1926.
33. Катюша. Ростов-на-Дону. 1926.
34. Живая азбука. 3-е изд. Изд. Карбасникова. Париж, 1927.
35. Дневник фокса Микки. Изд. Карбасникова. Париж. 1927.
36. Кошачья санатория. Изд. Карбасникова. Париж, 1928.
37. Детский остров. Госиздат. М.—Л., 1928.
38. Крокодил. Как кот сметаны поел (Стишки для детей дошкольного возраста). «Культура». Киев, 1928.
39. Мартышка (Хрюшка, Жеребенок). Стишки для детей дошкольного возраста. «Культура». Киев, 1928.
40. Несерьезные рассказы. Изд. Карбасникова. Париж, 1928.
41. Румяная книжка. Белград, 1929.
42. Серебряная елка. Белград, 1929.
43. Чудесное лето. «Москва». Берлин, 1929.
44. Дождик. Стихотворение для детей дошкольного возраста. «Культура». Киев, 1929.
45. Дети. Стихотворение для детей дошкольного возраста. «Культура». Киев, 1929.
46. Индейский петух (Стихи для детей). Госиздат. М.—Л., 1930.
47. Трубочист. Стихи. Госиздат. М.—Л., 1930.
48. Рассказы для детей, т. 1 (Приложение к журналу «Иллюстрированная Россия»). Париж, 1933.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Саша Черный (А. М. Гликберг). Фото, воспроизведенное в издании: Саша Черный. Сатиры. Кн. 1. Берлин, 1922.

2. *Стр. 245.* Беловой автограф стихотворения Саши Черного «Какая кротость умиранья!..» (из цикла «Осенний день»), хранящийся в Институте русской литературы АН СССР.

3. *Стр. 339.* Беловой автограф стихотворения Саши Черного «Зирэ» (1911), хранящийся в Институте русской литературы АН СССР.

4. *Стр. 421.* Текст стихотворения Саши Черного «Чепуха» («Трепов — мягче сатаны...») в сатирическом журнале «Зритель» (1905, № 23).

5. *Между стр. 512 и 513.* Рисунки Бориса Григорьева в сборнике стихотворений Саши Черного «Детский остров» (Данциг, 1921).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Содержание[1]

---

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

Быт

Литературный цех

Невольная дань

Послания

Провинция

Лирические сатиры

КНИГА ВТОРАЯ „САТИРЫ И ЛИРИКА"

Бурьян

Горький мед

У немцев

Хмель

Из Гейне

ИЗ КНИГИ ТРЕТЬЕЙ „ЖАЖДА“

Война

На Литве

Чужое солнце

Русская Помпея

СТИХОТВОРЕНИЯ 1905—1913 гг., НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ САТИР И ЛИРИКИ

СТИХОТВОРЕНИЯ 1926—1932 гг.

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Из книги „Детский остров"

Из цикла «Веселые глазки»

Из цикла «Зверюшки»

Из цикла «Песенки»

Разные стихотворения

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
47	2 св.	«естественного	«естественного»
64	4 св.	Так же	Также
135	10 св.	Наточал	Натачал
167	12 св.	не трудно	нетрудно
194	4 сн.	«Лобызаться-с	«Лобзаться-с
251	1 сн.	*<1922>*	*Между 1909 и 1912 (?)*
254	2 св.	Сползаются тучи.	Сползаются тучи всё гуще.
323	11 сн.	копюшоном	капюшоном
443	11 сн.	Герои	Герой
557	10 св.	«Meerstille».	«Meeresstille».
606	12 сн.	сумахоте. . .»	суматохе. . .»

Датой написания сатиры «Корней Белинский» (стр. 139—140) следует считать 1910 год, так как она явилась откликом на статью К. И. Чуковского о творчестве Саши Черного «Юмор обреченных», опубликованную в 1910 году.

Саша Черный

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *В. С. Киселев*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Т. П. Калецкая*

Сдано в набор 17/VIII 1959 г. Подписано в печать 29/II 1960 г. М 27018. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$. Печ. л. $19^7/_8$ (32,59). Уч.-изд. л. 30,32. Тираж 20 000 экз. Заказ № 932.
Цена 10 р. 80 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

«БИБЛИОТЕКА ПОЭТА»

БОЛЬШАЯ СЕРИЯ

Второе издание

Вышли из печати

«Поэты-сатирики конца XVIII —
начала XIX в.»
А. А. Дельвиг
Аполлон Григорьев
А. А. Фет
«Вольная русская поэзия
второй половины XIX в.»
Иннокентий Анненский
«Пролетарские поэты
первых лет советской эпохи»

Готовятся к изданию

«Русская народная сатира»
В. А. Озеров
П. Ф. Якубович
«Русская стихотворная пародия»
Иван Франко

«БИБЛИОТЕКА ПОЭТА»

МАЛАЯ СЕРИЯ

Третье издание

Вышли из печати

К. Н. Батюшков
Денис Давыдов
В. К. Кюхельбекер
И. С. Никитин
В. Я. Брюсов
«Революционная поэзия
(1890—1917)»
В. Хлебников
Сергей Есенин
Коста Хетагуров
Ян Райнис

Готовятся к изданию

«Поэты начала XIX в.»
«Поэты-декабристы»
А. И. Полежаев
Д. Д. Минаев
Александр Блок

